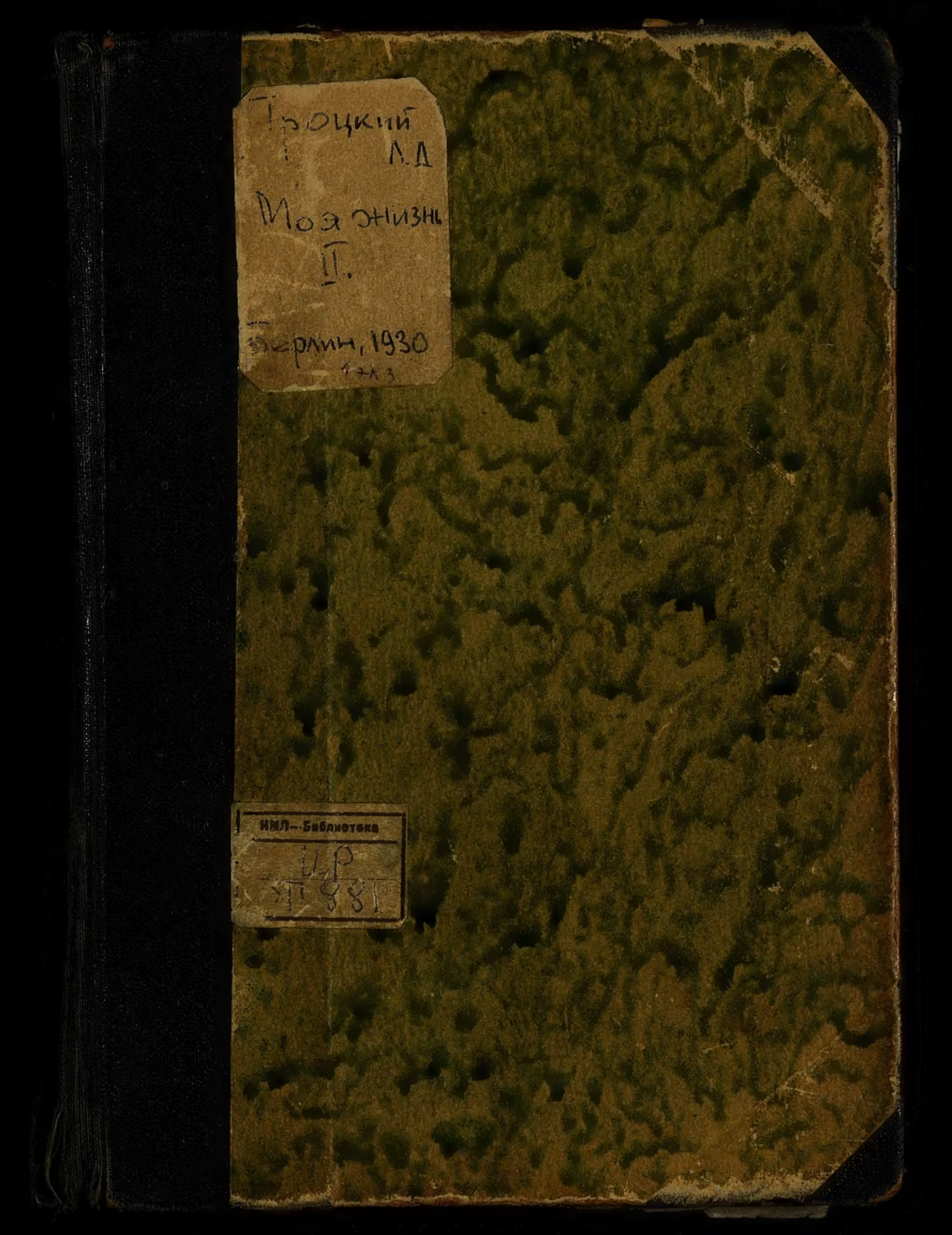
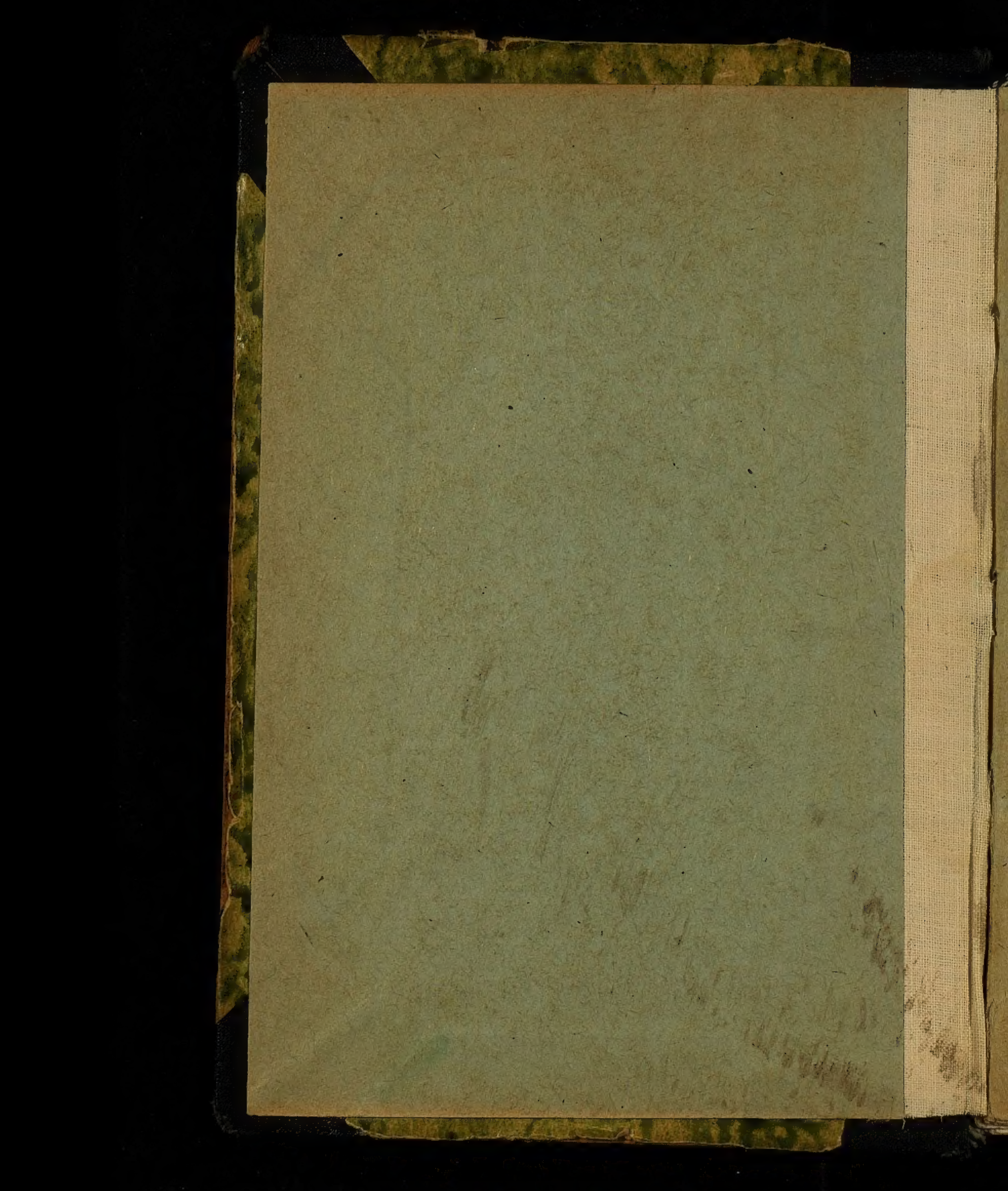

Троцкий
Л.Д
Моя жизнь
II.
Берлин, 1930
ИМЛ—Библиотека
ЦР



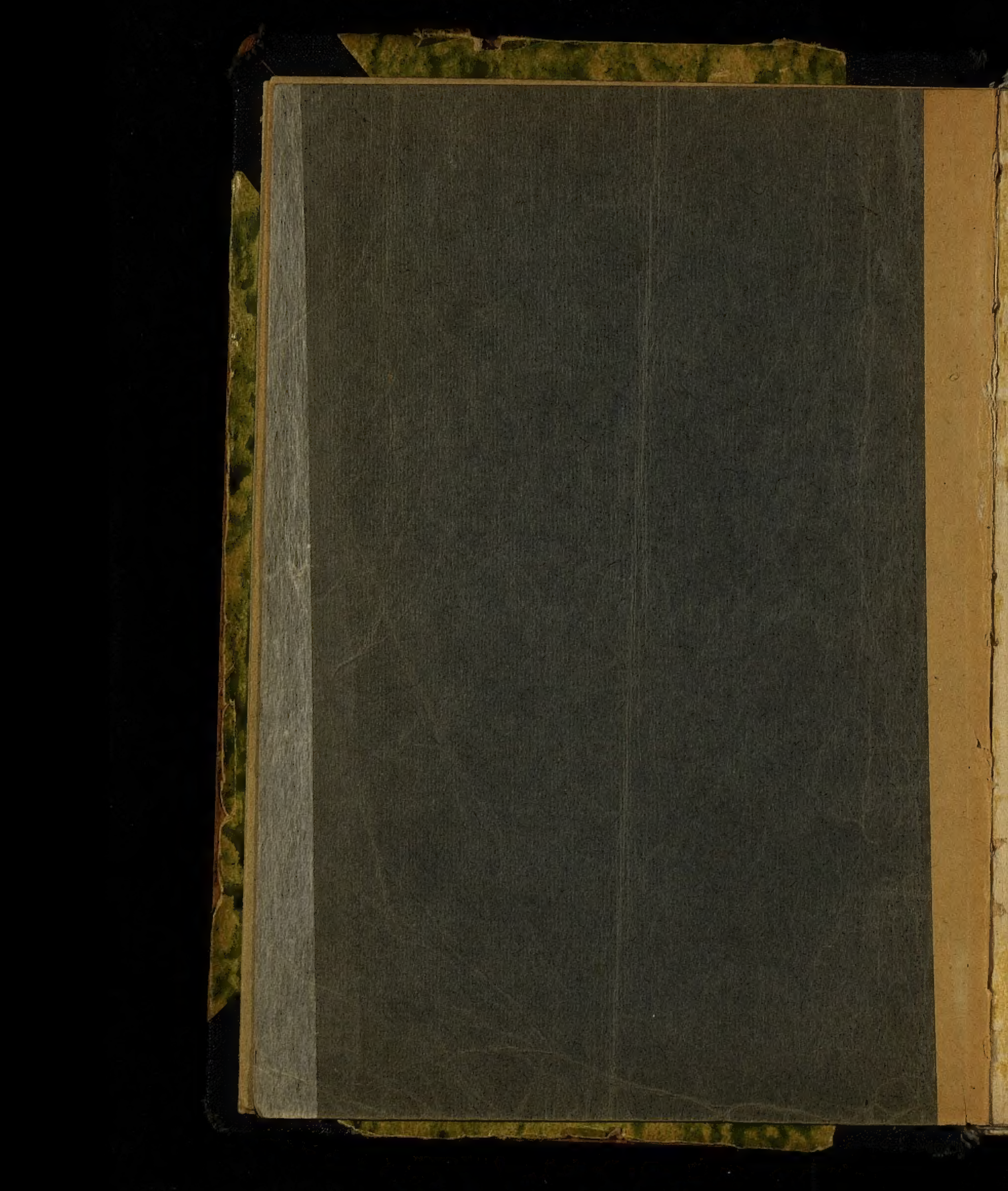
3

Л. ТРОЦКИЙ

МОЯ ЖИЗНЬ

II

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“
БЕРЛИН



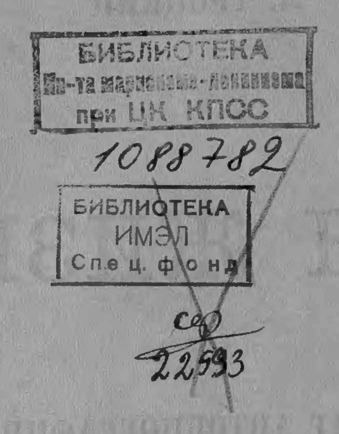
Л. ТРОЦКИЙ

МОЯ ЖИЗНЬ

ОПЫТ АВТОБИОГРАФИИ

II

ИЗ-ВО „ГРАНИТ“ • БЕРЛИН 1930



«Energiadruck», Berlin SW 61, Gitschiner Str. 91

ГЛАВА XXIV

В Петрограде

Дорога от Галифакса до Петрограда прошла незаметно, как туннель. Это и был туннель — в революцию. В Швеции запомнились только карточки на хлеб: это я видел тогда впервые. В Финляндии я столкнулся в вагоне лицом к лицу с Вандервельде и Де Манном, которые ехали в Петроград. Вы узнаете? спросил Де Манн. — О, да, ответил я, хотя люди сильно меняются во время войны. — На этом не очень учтивом намеке, наш диалог прекратился. Де Манн в молодости пытался быть марксистом и даже недурно атаковал Вандервельде. Во время войны он ликвидировал невинные увлечения своей молодости политически, после войны — теоретически. Он стал агентом своего правительства и только. Что касается Вандервельде, то в руководящей группе Интернационала он представлял собою наименее значительную фигуру. Председателем он был только потому, что нельзя было выбирать ни немца, ни француза. Теоретически Вандервельде был только компилятором. В отношении идейных течений социализма он маневрировал точно так же, как правительство его страны — в отношении великих держав. Среди русских марксистов он никогда не пользовался авторитетом. Как оратор, Вандервельде не поднимался выше блестящей посредственности. Во время войны он сменил пост председателя Интернационала на должность королевского министра. Я вел против него непримиримую

войну в своей парижской газете. Вандервельде, в ответ, призывал русских революционеров мириться с царизмом. Теперь он ехал приглашать русскую революцию занять место царизма в колоне союзников. Нам не о чем было разговаривать.

В Белоостров навстречу нам выехала делегация от объединенных интернационалистов и Ц. К. большевиков. От меньшевиков, даже «интернационалистов» (Мартов и пр.), не было никого. Я обнял своего старого друга Урицкого, с которым впервые встретился в Сибири, в самом начале столетия. Урицкий был постоянным сотрудником парижского «Нашего Слова» из Скандинавии и связывал нас с Россией во время войны. Через год после этой встречи Урицкий был убит молодым социалистом-революционером. Впервые в этой делегации я встретился с Караханом, приобревшим впоследствии известность в качестве советского дипломата. От большевиков при был Федоров, металлист, ставший вскоре председателем рабочей секции Петроградского Совета. Еще до Белоострова я узнал из свежей русской газеты, что Чернов, Церетели и Скобелев вошли в состав коалиционного Временного Правительства. Диспозиция политических групп приобрела сразу полную ясность. С первого дня предстояла совместная с большевиками непримиримая борьба против меньшевиков и народников.

На финляндском вокзале в Петрограде ожидала нас большая встреча. Урицкий и Федоров говорили речи. Я отвечал на тему о подготовке второй революции, которая будет нашей. Когда меня внезапно подхватили на руки, мне сразу вспомнился Галифакс, где я оказался в таком же положении. Но на этот раз руки были дружеские. Вокруг было много знамен. Я увидел взволнованное лицо жены, бледные и встревоженные лица мальчиков, которые не знали хорошо это или плохо: революция уже однажды обманула их. Сзади, в конце вокзального перрона, я заметил Вандервельде и Де-Манна. Они нарочно отстали, ви-

димо, не рискуя смешаться с толпой. Новые министры-социалисты не приготовили своему бельгийскому коллеге никакой встречи. Слишком еще у всех в памяти была вчерашняя роль Вандервельде.

Сразу после вокзала начался для меня круговорот, в котором люди и эпизоды мелькают, как щепки в потоке. Самые большие наиболее бедны личными воспоминаниями: этим память ограждает себя от слишком высокой нагрузки. Я кажется сразу отправился на заседание Исполнительного Комитета. Чхеидзе, неизменный председатель того времени, сухо приветствовал меня. Большевики внесли предложение о включении меня в Исполнительный Комитет, как бывшего председателя Совета 1905 года. Наступило замешательство. Меньшевики пошушукались с народниками. Они составляли в этот период еще подавляющее большинство во всех учреждениях революции. Решено было включить меня с совещательным голосом. Я получил свой членский билет и свой стакан чаю с черным хлебом.

Не только мальчики, но и мы с женой удивлялись на улицах Петрограда русской речи и русским вывескам на стенах. Мы покинули столицу десять лет тому назад, старшему было тогда немногим больше года, младший родился в Вене.

В Петрограде был огромный, но уже совсем рыхлый гарнизон. Солдаты проходили с революционными песнями и красными ленточками на груди. Это казалось невероятным, как во сне. Трамваи были набиты солдатами. На широких проспектах еще шло ученье. Стрелки залегали, перебегали цепью, залегали снова. За спиною революции еще стояло гигантское чудовище войны и бросало тень на революцию. Но массы уже не верили в войну и казалось, ученье продолжается только потому, что его забыли отменить. Война уже стала невозможностью. Этого не умели понять не только кадеты, но и вожди так называемой «революционной демократии». Они смертельно боялись оторваться от юбки Антанты.

Церетели я знал мало, Керенского не знал совсем, Чхеидзе знал ближе, Скобелев был моим учеником, с Черновым я не раз сражался на заграничных докладах, Гоца видел впервые. Это была правящая советская группа демократии.

Церетели был несомненно головою выше других. Я впервые встретился с ним на лондонском съезде 1907 года, где он представлял социалдемократическую фракцию второй думы. Уже в те молодые годы он был хороший оратор, с подкупающей нравственной подоплекой. Годы каторги подняли его политический авторитет. Он вернулся на арену революции зрелым человеком и сразу занял первое место в ряду своих единомышленников и союзников. Среди противников он был единственный, которого можно было брать в серьез. Но, как нередко бывало в истории, понадобилась революция, чтобы показать, что Церетели не революционер. Чтобы не запутаться в ее переплете, нужно было к русской революции подойти не с русской точки зрения, а с мировой. Церетели же подошел с точки зрения опыта Грузии, дополненного опытом второй государственной Думы. Его политический кругозор оказался убийственно узок, его образование — поверхностно литературным. Он чувствовал глубокую почтительность перед либерализмом. На неотвратимую динамику революции он глядел глазами полуобразованного буржуа, испуганного за культуру. Пробужденная масса все больше казалась ему восставшей чернью. С первых слов стало ясно, что это враг. Ленин назвал его «тупицей». Это было жестокое название, но меткое. Церетели был даровитой и честной ограниченностью.

Керенского Ленин назвал хвастунишкой. К этому немногое можно прибавить и сейчас. Керенский был и остался случайной фигурой, временщиком исторической минуты. Каждая новая могучая волна революции, вовлекающая девственные, еще не разборчивые массы, неизбежно поднимает наверх таких героев на час, которые сейчас же слепнут от собственного

блеска. Керенский вел свою преемственность от Гапона и Хрусталева. Он персонифицировал случайное в закономерном. Его лучшие речи были лишь пышним толчением воды в ступе. В 1917 году эта вода кипела, и от нее шел пар. Волны пара казались ореолом.

Скобелев входил в политику в Вене, где он был студентом, под моим руководством. От редакции венской «Правды» он уезжал к себе на Кавказ, чтоб попробовать пройти в IV Думу. Это удалось. В Думе Скобелев попал под влияние меньшевиков и вместе с ними вошел впоследствии в февральскую революцию. Наша связь давно оборвалась. Я застал его в Петрограде свежеиспеченным министром труда. Он размашисто подошел ко мне в Исполкоме с вопросом, что я об «этом» думаю. Я ответил: «Думаю, что мы скоро с вами справимся». Не так давно Скобелев смеясь напоминал мне об этом дружеском прогнозе, который осуществился шесть месяцев спустя. Довольно скоро после октябрьской победы Скобелев объявил себя большевиком. Мы с Лениным были против его принятия в партию. Сейчас он, конечно, сталинец. По этой части все в порядке.

Мы поселились с женой и детьми в каких-то «Киевских Номерах», в одной комнате, да и той добились не сразу. На второй день к нам явился офицер во всем великолепии. — Не узнаете? — Я не узнавал. — Логинов. — Тогда из под нарядного офицера выступил в памяти молодой слесарь 1905 года. Он состоял в боевой дружине, сражался из-за тумб с городовыми и был ко мне привязан горячей молодой привязанностью. После 1905 года я потерял его из виду. Только теперь я узнал от него, что на самом деле он был не пролетарием Логиновым, а студентом-технологом Серебровским из богатой семьи, но в годы молодости хорошо ассимилировался в рабочей среде. В период реакции он стал инженером, давно отошел от революции и во время войны был правительственным директором двух крупнейших заводов в Петро-

граде. Февральская революция слегка встряхнула его, он вспомнил прошлое. О моем возвращении он узнал из газет. Теперь он стоял предо мною и горячо требовал, чтоб я поселился с семьей у него на квартире, и притом сейчас, немедленно. Поколебавшись, мы согласились. Это была огромная и богатая квартира директора, в которой Серебровский жил со своей молодой женой. Детей не было. Все было готовое. В полуголодном разваливавшемся городе мы почувствовали себя, как в раю. Но дело сразу ухудшилось, когда разговор перешел на политику. Серебровский был патриот. Как обнаружилось позже, он питал злобную ненависть к большевикам и считал Ленина немецким агентом. Натолкнувшись с первых слов на отпор, он, правда, сразу стал осторожнее. Но совместная жизнь с ним была для нас невозможна. Мы покинули квартиру гостеприимных, но чуждых нам людей и вернулись в комнату «Киевских Номеров». Серебровский после того еще раз залучил мальчиков к себе в гости. Он угощал их чаем с вареньем, и мальчики благодарно рассказывали ему о выступлении Ленина на митинге. Их лица раскраснелись, они были довольны беседой и вареньем. «Да ведь Ленин немецкий шпион», заявил им хозяин. Что такое? Неужели эти слова были произнесены? Мальчики бросили чай с вареньем. Они вскочили на ноги. «Ну, уж это свинство», заявил старший. Он не нашел в своем словаре другого слова, которое достаточно отвечало бы обстановке. Тут наступила очередь хозяина удариться в обиду. На этом знакомство прекратилось. После нашей победы в Октябре, я привлек Серебровского к советской работе. Как многие другие, он через советскую службу вошел в партию. Сейчас это член сталинского Ц. К. партии, одна из опор режима. Если в 1905 году он сходил за пролетария, то теперь несравненно легче сходит за большевика.

После «июльских дней», о которых еще речь впереди, клевета против большевиков заливала улицы

столицы. Я был арестовал правительством Керенского и через два месяца после возвращения из эмиграции снова оказался в хорошо знакомых «Крестах». Полковник Моррис из Амхерста с удовольствием прочитал об этом в своей утренней газете и он был в этом чувстве не одинок. Но мальчики были недовольны. Что это за революция, упрекали они мать, если папу сажают то в концентрационный лагерь, то в тюрьму? Мать соглашалась с ними, что это еще не настоящая революция. Но горькие капельки скептицизма заползали к ним в душу.

После выхода из тюрьмы «революционной демократии» мы поселились в маленькой квартире, которую сдавала вдова либерального журналиста, в большом буржуазном доме. Подготовка к октябрьскому перевороту шла полным ходом. Я стал председателем Петроградского Совета. Имя мое склонялось печатью на все лады. В доме нас все больше окружала стена вражды и ненависти. Наша кухарка Анна Осиповна подвергалась аттаке хозяек, когда являлась в домовой комитет за хлебом. Сына моего травили в школе, называя его, по отцу, «председателем». Когда жена возвращалась со службы из профессионального союза деревообделочников, старший дворник провожал ее ненавидящими глазами. Подниматься по лестнице было пыткой. Хозяйка квартиры все чаще справлялась по телефону, не разгромлена ли ее мебель. Мы хотели переехать, но куда? Квартир в городе не было. Положение становилось все более невыносимым. Но вот в один, поистине прекрасный день, квартирная блокада прекратилась, точно кто-нибудь снял ее всемогущей рукой. Старший дворник при встрече с моей женой поклонился ей тем поклоном, на который имели право только самые влиятельные жильцы. В домовом комитете стали выдавать хлеб без задержки и угроз. Перед нашим носом никто не захлопывал больше с грохотом дверь. Кто сделал все это, какой чародей? Это сделал Николай Маркин. О нем надо сказать, потому что через него —

через коллективного Маркина — победила Октябрьская революция.

Маркин был матрос балтийского флота, артиллерист и большевик. Он не сразу обнаружился. Высовываться вперед было совсем не в его характере. Маркин не был оратором, слово давалось ему с трудом. Кроме того он был застенчив и угрюм — угрюмостью загнанной внутрь силы. Маркин был сделан из одного куска и притом из настоящего материала. Я не знал о его существовании, когда он уже взял на себя заботу о моей семье. Он познакомился с мальчиками, угощал их в буфете Смольного чаем и бутербродами и вообще доставлял им маленькие радости, на которые было так скупо то суровое время. Он приходил незаметно справляться, все ли в порядке. Я не подозревал о его существовании. От мальчиков, от Анны Осиповны он узнал, что мы живем во вражьем стане. Маркин заглянул к старшему дворнику и в домовой комитет, притом, кажется, не один, а с группой матросов. Он должно быть нашел какие то очень убедительные слова, потому что все вокруг нас сразу изменилось. Еще до октябрьского переворота в нашем буржуазном доме установилась так сказать диктатура пролетариата. Только позже мы узнали, что это сделал приятель наших детей, матрос-балтиец.

Враждебный нам ЦИК, опираясь на собственников типографий, отнял у петроградского Совета газету, как только Совет стал большевистским. Нужна была новая газета. Я привлек Маркина. Он исчез, потонул, побывал, где нужно, сказал, что нужно типографам, и в несколько дней у нас возникла газета. Мы назвали ее «Рабочий и Солдат». Маркин сидел день и ночь в редакции, налаживая дело. В октябрьские дни крепко сколоченная фигура Маркина со смуглой угрюмой головой всегда обнаруживалась в самых опасных местах и в самые нужные часы. У меня Маркин появлялся только для того, чтоб сообщить, что все в порядке и — не нужно ли чего.

Маркин расширял свой опыт, — он устанавливал диктатуру пролетариата в Петрограде.

Начались нападения уличных отбросов на богатые винные склады столицы и дворцов. Кто-то руководил этим опасным движением, пытаясь алкогольным пламенем поджечь революцию. Маркин сразу почуял опасность и вступил в бой. Он охранял, а где невозможно было, разрушал склады. В высоких сапогах он бродил по колени в дорогом вине, вперемежку с осколками стекла. Вино стекало по канавам в Неву, пропитывая снег. Пропойцы лакали прямо из канав. Маркин с революьвером в руках боролся за трезвый Октябрь. Промокший насквозь и пропахший букетом лучших вин возвращался он домой, где его с замиранием сердца ждали два мальчика. Маркин отбил алкогольный приступ контр-революции.

Когда на меня легло министерство иностранных дел, невозможно было, казалось, подступиться к делу. Начиная с товарищей министра, кончая переписчицами, все участвовали в саботаже. Шкафы были заперты. Ключей не было. Я обратился к Маркину, который знал секрет прямого действия. Два-три дипломата посидели сутки в заперти, и на другой день Маркин принес ключи и пригласил меня в министерство. Но я был занят в Смольном общими задачами революции. Тогда Маркин стал на время негласным министром иностранных дел. Он сразу разобрался по своему в механизме комиссариата, производил твердой рукой чистку родовитых и вороватых дипломатов, устраивал по-новому канцелярию, конфисковал в пользу беспризорных контрабанду, продолжавшую поступать в дипломатических вализах из заграницы, отбирал наиболее поучительные тайные документы и издавал их за своей ответственностью и со своими примечаниями отдельными брошюрами. Маркин не имел академического значка и даже писал не без ошибок. Его примечания поражали иногда неожиданностью мысли. Но в общем Маркин крепко забивал свои дипломатические гвозди и как

раз там, где следовало. Барон Кюльман и граф Чернин с жадностью набрасывались в Брест-Литовске на желтые книжки Маркина.

Потом началась гражданская война. Маркин затыкал бреши, которых было много. Теперь он устанавливал диктатуру далеко на Востоке. Маркин командовал флотилией на Волге и гнал врага. Когда я узнавал, что в опасном месте Маркин, на душе становилось спокойнее и теплее. Но пробил час. На Каме вражеская пуля догнала Николая Георгиевича Маркина и свалила его с крепких морских ног. Точно гранитная колонна обрушилась предо мною, когда пришла телеграмма о его гибели. На столике детей стояла его карточка, в матросской фуражке с ленточками. — Мальчики, мальчики, Маркин убит! И сейчас помню два бледных лица, сведенных судорогой неожиданной боли. С мальчиками угрюмый Николай был на равной ноге. Он посвящал их в свои замыслы и в свою жизнь. Девятилетнему Сереже он рассказывал со слезами, что женщина, которую он давно и крепко любил, покинула его, и что поэтому у него бывает черно и мрачно на душе. Сережа испуганным шопотом и со слезами поверял эту тайну матери. И этот нежный друг, который, как ровня, открывал им свою душу, был в то же время старый морской волк и революционер, насквозь герой, как в самой чудесной сказке. Неужели же погиб тот самый Маркин, который учил их в подвале министерства стрелять из бульдога и карабина? Два маленьких тела содрогались под одеялами в тиши ночи, после того, как пришла черная весть. Только мать слышала безутешные слезы.

Жизнь кружилась в вихре митингов. Я застал в Петербурге всех ораторов революции с осипшими голосами или совсем без голоса. Революция 1905 года научила меня осторожному обращению с собственным горлом. Благодаря этому я почти не выходил из строя. Митинги шли на заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, на улицах и на пло-

щадях. Я возвращался обессиленный за полночь, открывал в тревожном полусне самые лучшие доводы против политических противников, а часов в семь утра, иногда раньше, меня вырывал из сна ненавистный, навыносимый стук в дверь: меня вызывали на митинг в Петергоф, или кронштадцы присылали за мной катер. Каждый раз казалось, что этого нового митинга мне уже не поднять. Но открывался какой-го нервный резерв, я говорил час, иногда два, а во время речи меня уже окружало плотное кольцо делегаций с других заводов или районов. Оказывалось, что в трех или пяти местах ждут тысячи рабочих, ждут час, два, три. Как терпеливо ждала в те дни нового слова пробужденная масса.

Особое место занимали митинги в цирке Модерн. К этим митинагм не только у меня, но и у противников было особое отношение. Они считали цирк моей твердыней и никогда не пытались выступать в нем. Зато когда я атаковал в Совете соглашателей, меня нередко прерывали злобные крики: «здесь вам не цирк Модерн!» Это стало в своем роде припевом. Я выступал в цирке обычно по вечерам, иногда совсем ночью. Слушателями были рабочие, солдаты, труженицы-матери, подростки улицы, угнетенные низы столицы. Каждый квадратный вершок бывал занят, каждое человеческое тело уплотнено. Мальчики сидели на спине отцов. Младенцы сосали материнскую грудь. Никто не курил. Галереи каждую минуту грозили обрушиться под непосильной человеческой тяжести. Я попадал на трибуну через узкую траншею тел, иногда на руках. Воздух, напряженный от дыханья, взрывался криками, особыми страстными воплями цирка Модерн. Вокруг меня и надо мною были плотно прижатые локти, груди, головы. Я говорил как бы из теплой пещеры человеческих тел. Когда я делал широкий жест, я непременно задевал кого-нибудь, и ответное благодарное движение давало мне понять, чтоб я не огорчался, не отрывался, а продолжал. Никакая усталость не могла устоять перед

электрическим напряжением этого страстного человеческого скопища. Оно хотело знать, понять, найти свой путь. Моментами, казалось, что ощущаешь губами требовательную пытливость этой слившейся воедино толпы. Тогда намеченные заранее доводы и слова поддавались, отступали под повелительным нажимом сочувствия, а из подспуда выходили во всеоружии другие слова, другие доводы, неожиданные для оратора, но нужные массе. И тогда чудилось, будто сам слушаешь оратора чуть чуть со стороны, не поспеваешь за ним мыслью и тревожишься только, чтоб он, как сомнамбул, не сорвался с карниза от голоса твоего резонерства. Таков был цирк Модерн. У него было свое лицо, пламенное, нежное и неистовое. Младенцы мирно сосали груди, из которых исходили крики привета или угрозы. Сама толпа еще походила на младенца, который прилип пересохшими губами к соскам революции. Но этот младенец быстро мужал. Уйти из цирка Модерн было еще труднее, чем войти в него. Толпа не хотела нарушать своей слитности. Она не расходилась. В полузабытьи истощения сил приходилось плыть к выходу на бесчисленных руках над головами толпы. Иногда я узнавал в ней лица своих двух девочек. Они жили по соседству со своей матерью. Старшей шел шестнадцатый год, младшей пятнадцатый. Я едва успевал кивнуть навстречу их взволнованным глазам или сжать на ходу нежную горячую руку. И толпа уже снова разрывала нас. Когда я оказывался за воротами, цирк трогался вслед. Ночная улица оживала криками и топотом шагов. Какие то ворота открываются, поглощают меня и захлопываются снова. Это друзья втолкнули меня во дворец балерины Кшесинской, построенный ей Николаем II. Здесь укрепился центральный штаб большевиков, и на шелковой мебели заседают серые шинели, попирая тяжелыми сапогами давно не лощенный пол. Здесь можно переждать, покуда разойдется толпа, и тронуться дальше.

Проходя после митинга по пустынным улицам, я

улавливаю за собою шаги. Вчера было то же, и, кажется, третьего дня. С рукою на браунинге я делаю крутой поворот и несколько шагов назад. Что вам нужно? — спрашиваю я грозно. Предо мною молодое преданное лицо. — Позвольте охранять вас, в цирк приходят и враги. — Это был студент Познанский. С того времени он не разлучался со мною. Познанский все годы революции состоял при мне для поручений, самых разнообразных, но всегда ответственных. Он заботился о личной охране, создавал походный секретариат, разыскивал забытые военные склады, добывал нужные книги, строил из ничего маршевые эскадроны, сражался на фронте, а потом в рядах оппозиции. Сейчас он в ссылке. Надеюсь, что будущее еще сведет нас.

3 декабря я делал в цирке Модерн доклад о деятельности советского правительства. Я объяснял значение опубликования дипломатической переписки царизма и Керенского. Я рассказывал своим верным слушателям, как в ответ на мои слова о том, что не может народ проливать свою кровь за договоры, которых он не заключал, не читал и не видал, соглашатели в Совете кричали мне: не говорите с нами таким языком, здесь вам не цирк Модерн. И я повторяю свой ответ соглашателям: у меня есть одна речь, один язык революционера, им я говорю на митингах с народом и буду говорить с союзниками и с германцами. Тут газетный отчет отмечает шумные аплодисменты. Связь моя с цирком Модерн порвалась только в феврале, когда я переехал в Москву.

ГЛАВА XXV

О клеветниках

В начале мая 1917 г., когда я прибыл в Петроград, кампания по поводу «пломбированного» вагона, в котором приехал Ленин, была в полном ходу. Но-

венькие с иголочки министры-социалисты находились в союзе с Ллойд-Джорджем, который не пускал Ленина в Россию. И те же господа травили Ленина за то, что он проехал через Германию. Опыт моего путешествия дополнял опыт Ленина, в качестве доказательства от обратного. Это не помешало мне стать объектом той же клеветы. Первым пустил ее в оборот Бьюкенен. В форме открытого письма министру иностранных дел — в мае это был уже Терещенко, а не Милюков — я опубликовал описание моей атлантической одиссеи. Вывод имел форму такого вопроса:

«Считаете ли вы, г. министр, в порядке вещей тот факт, что Англия представлена лицом, запятнавшим себя столь бесстыдной клеветой и не ударившим после того пальцем о палец для собственной реабилитации?»

Ответа не последовало. Я его и не ждал. Но за союзного посла вступилась газета Милюкова, повторившая обвинение уже за собственный счет. Я решил пригвоздить клеветников как можно торжественнее. Шел первый всероссийский съезд советов. 5-го июня зал был переполнен свыше всякой меры. Я взял в конце заседания слово по личному вопросу. Вот как изображала на другой день газета Горького, враждебная большевикам, мои заключительные слова и весь вообще эпизод:

«Милюков обвиняет нас в том, что мы — агенты-наемники германского правительства. С этой трибуны революционной демократии я обращаюсь к честной русской печати (Троцкий поворачивается к столу журналистов) с просьбой, чтобы мои слова были воспроизведены: до тех пор, пока Милюков не снимет этого обвинения, на его лбу останется печать бесчестного клеветника».

«Произнесенное с силой и достоинством заявление Троцкого встречает единодушную ова-

цию всего зала. Весь съезд, без различия фракций бурно апплодирует в течение нескольких минут».

Не нужно забывать, что съезд на девять десятых состоял из наших противников. Но этот успех, как показали дальнейшие события, имел мимолетный характер. Это был своего рода парадокс парламентаризма.

«Речь» попыталась поднять перчатку, сообщив на другой день, что я от германского патриотического ферейна получил 10.000 долларов для ликвидации Временного Правительства. Это было, по крайней мере, ясно. Дело в том, что за два дня до моего отъезда в Европу немецкие рабочие, которым я не раз читал доклады, совместно с американскими, русскими, латышскими, еврейскими, литовскими и финскими друзьями и сторонниками устроили мне прощальный митинг, на котором производился сбор на русскую революцию. Сбор дал 310 долларов. В счет этой суммы немецкие рабочие внесли через своего председателя 100 долларов. Переданные в мое распоряжение 310 долларов я на другой же день, с согласия организаторов митинга, распределил между пятью возвращавшимися в Россию эмигрантами, которым не хватало денег на проезд. Такова была история «10.000 долларов». Я рассказал ее тогда же в газете Горького «Новая Жизнь» (27 июня), закончив таким нравоучением:

> «Для того, чтобы на будущие времена ввести необходимый поправочный коэффициент в измышления обо мне г. г. лжецов, клеветников, кадетских газетчиков и негодяев вообще, считаю полезным заявить, что за всю свою жизнь я не имел единовременно в своем распоряжении не только 10.000 долларов, но и одной десятой части этой суммы. Подобное признание, может, правда, гораздо основательнее погубить мою репутацию в глазах кадетской аудитории, чем все

инсинуации г. Милюкова. Но я давно примирился с мыслью прожить свою жизнь без знаков одобрения со стороны либеральных буржуа».

После этого кляуза притихла. Я подвел итоги всей кампании в брошюре «Клеветникам!» и сдал ее в печать. Через неделю разразились июльские дни, а 23 июля я был заключен временным правительством в тюрьму по обвинению в службе германскому кайзеру. Следствие вели испытанные судебные деятели царского режима. Они не привыкли церемониться ни с фактами, ни с доводами., Да и время было слишком горячее. Когда я ознакомился со следственным материалом, возмущение, вызванное подлостью обвинения, смягчалось только смехом, вызывавшимся его беспомощной глупостью. Вот что я написал в протоколе предварительного следствия от 1-го сентября:

«Ввиду того, что первый же оглашенный документ (показание прапорщика Ермоленко), который играл до сих пор главную роль в предпринятой при содействии некоторых членов судебного ведомства травле против моей партии и меня лично, является несомненным плодом сознательной фабрикации, рассчитанной не на выяснение обстоятельств дела, а на его злостное затемнение; ввиду того, что в этом документе г. следователем Александровым с явной преднамеренностью обойдены те важнейшие вопросы и обстоятельства, выяснение которых должно было бы неминуемо вскрыть всю фальшь показаний неизвестного мне Ермоленко; ввиду всего этого я считал бы политически и нравственно унизительным для себя участвовать в следственном процессе, сохраняя за собой тем большее право раскрыть подлинную сущность обвинения перед общественным мнением страны всеми теми средствами, какие будут в моем распоряжении».

Обвинение скоро потонуло в больших событиях, которые поглотили не только следователей, но и всю старую Россию с его «новыми» героями типа Керенского.

* * *

Я не думал, что мне придется возвращаться к этой теме. Но нашелся писатель, который поднял и поддержал старую клевету в 1928-м году. Имя писателя — Керенский. В 1928-м году, т. е. через 11 лет после неожиданно поднявших и закономерно смывших его революционных событий, Керенский уверяет, что Ленин и другие большевики являлись агентами немецкого правительства, находились в связи с немецким штабом, получали от него денежные суммы и выполняли его тайные поручения в целях поражения русской армии и расчленения русского государства. Все это изложено на десятках страниц этой смехотворной книги, особенно же на страницах 290—310. Я достаточно ясно представлял себе умственный и нравственный рост Керенского по событиям 1917 года, и тем не менее я ни за что не поверил бы, что он способен ныне, после всего, что произошло, отважиться на такое «обвинение». Однако, факт на лицо.

Керенский пишет: «Измена Ленина России, совершенная в момент высшего напряжения войны, является безупречно установленным, неоспоримым историческим фактом» (стр. 293). Кто же и где доставил эти безупречные доказательства? Керенский начинает с широковещательного рассказа о том, что немецкий штаб подбирал в среде русских пленных кандидатов в шпионы и подбрасывал их в состав русских армий. Один из таких шпионов, действительных или мнимых (нередко они сами не знали этого), явился непосредственно к Керенскому, чтобы раскрыть ему всю технику немецкого шпионажа. Но, замечает меланхолически Керенский,

эти «разоблачения» не имели какого-либо особенного значения» (стр. 295). Вот именно! Даже из изложения Керенского ясно, что какой-то мелкий авантюрист попытался поводить его за нос. Имел ли этот эпизод какое-либо отношение к Ленину и большевикам вообще? Никакого. Зачем же он нам о нем рассказывает? Чтобы раздуть свое повествование и придать важности дальнейшим своим разоблачениям.

Да, говорит он, первый случай не имел значения, но зато из другого источника мы получили информацию «высокой ценности», и эта информация «окончательно доказала, что между большевиками и немецким штабом существовала связь» (295). Заметьте: окончательно доказала. Дальше следует: «Также и средства, и пути, при помощи которых поддерживались эти связи, могли быть установлены» (295). Могли быть установлены? — Это звучит двусмысленно. Были ли они установлены? Мы все это сейчас узнаем. Немножко терпения: одиннадцать лет вызревало это разоблачение в духовных глубинах творца.

«В апреле явился в ставку к генералу Алексееву украинский офицер, по имени Ярмоленко». Мы уже слышали выше это имя. Перед нами — решающая фигура во всем деле. Не мешает тут же отметить, что Керенский не умеет быть точным даже там, где он даже не заинтересован в неточности. Фамилия того мелкого плута, которого он выводит на сцену, не Ярмоленко, а Ермоленко: по крайней мере под этим именем он значился у следователей господина Керенского. Итак, прапорщик Ермоленко (Керенский говорит с сознательной неопределенностью: «офицер») явился в ставку, в качестве мнимого немецкого агента, чтобы разоблачить действительных немецких агентов. Показания этого великого патриота, которого даже архи-враждебная большевикам буржуазная печать оказалась вынуждена вскоре характеризовать, как темного и подозрительного субъекта, неоспоримо и окончательно доказали, что Ленин был

не одной из величайших исторических фигур, а просто наемным агентом Людендорфа. Каким, однако, образом прапорщик Ермоленко узнал об этой тайне, и какие привел он доказательства, чтобы пленить Керенского? Ермоленко получил, по его словам, поручение немецкого штаба вести на Украине пропаганду в пользу сепаратистского движения. «Ему были даны, рассказывает Керенский, все (!) необходимые сведения относительно путей и средств, при помощи которых надлежит поддерживать связь с руководящими (!) немецкими деятелями, относительно банков (!), через которые были переведены необходимые фонды, и относительно имен наиболее значительных агентов, среди которых находились многие украинские сепаратисты и Ленин». Все это буквально напечатано на страницах 295—296 великого труда. Теперь мы, по крайней мере, знаем, как поступал немецкий генеральный штаб в отношении шпионов. Когда он находил безвестного и малограмотного прапорщика в качестве кандидата в шпионы, он, вместо того, чтоб поручить его наблюдению поручика из немецкой разведки, связывал его с «руководящими немецкими деятелями», тут же сообщал ему всю систему германской агентуры, и перечислял ему даже банки — не один банк, нет, а все банки, через которые идут тайные немецкие фонды. Как угодно, но нельзя отделаться от впечатления, что немецкий штаб действовал до последней степени глупо. Впечатление это получается, однако, лишь вследствие того, что мы видим здесь немецкий штаб не таким, каким он был в действительности, а таким, каким он рисуется Максу и Морицу — двум прапорщикам: военному прапорщику Ермоленко и политическому прапорщику Керенскому.

Но может быть, несмотря на свою безвестность, темноту и малый чин, Ермоленко занимал какой-нибудь видный пост в системе немецкого шпионажа? Керенский хотел бы заставить нас думать так. Однако, мы знаем ведь не только книгу Керенского, но и его первоисточники. Сам Ермоленко проще Керен-

ского. В своих показаниях, изложенных в тоне мелкого и глупого авантюриста, Ермоленко сам называет себе цену: немецкий штаб дал ему ровным счетом 1500 рублей, тогдашних, весьма обесцененных рублей, на все расходы по отторжению Украины и по низвержению Керенского. Ермоленко откровенно рассказывает в своих показаниях — они ныне напечатаны, — что он горько, но бесплодно жаловался на немецкую прижимистость. «Почему так мало?» протестовал Ермоленко. Но «руководящие личности» были неумолимы. Впрочем, Ермоленко не говорит нам, вел ли он переговоры непосредственно с Людендорфом, с Гинденбургом, с кронпринцем или с бывшим кайзером. Ермоленко упорно не называет тех «руководящих» деятелей, которые дали ему 1500 рублей на разгром России, на дорожные расходы, на табак и на выпивку. Мы решаемся высказать ту гипотезу, что деньги ушли главным образом на выпивку, и что после того, как немецкие «фонды» растаяли в карманах прапорщика, он, не обращаясь к указанным ему в Берлине банкам, доблестно явился в русский штаб искать патриотического подкрепления.

Каких же это «многих украинских сепаратистов» разоблачил Ермоленко Керенскому? Об этом в книге последнего не сказано ничего. Чтобы придать вес жалкому вранью Ермоленки Керенский просто добавляет вранье от себя. Из сепаратистов Ермоленко, как известно из его подлинных показаний, назвал Скоропись-Иолтуховского. Керенский об этом имени молчит, потому что, если б он его назвал, то вынужден был бы признать, что никаких разоблачений у Ермоленки нет. Имя Иолтуховского ни для кого не составляло тайны. Оно десятки раз называлось в газетах во время войны. Иолтуховский не скрывал своей связи с немецким штабом. В парижской газете «Наше Слово» я еще в конце 1914-го года клеймил небольшую группу украинских сепаратистов, вступивших в связь с немецкими военными властями. Всех их, в том числе и Иолтуховского я назвал по именам.

Мы уже слышали, однако, что Ермоленке назвали в Берлине не только «многих украинских сепаратистов», но и — Ленина. Зачем ему назвали сепаратистов, можно еще понять: Ермоленко сам направлялся для сепаратистской пропаганды. Но для какой цели ему назвали Ленина? На этот вопрос Керенский не отвечает. И не случайно. Дело в том, что Ермоленко без связи и смысла вплетает в свои путанные показания имя Ленина. Вдохновитель Керенского рассказывает, как он был завербован, в качестве немецкого шпиона с «патриотическими» целями; как он требовал повышения своих «секретных фондов» (1500 военных рублей!), как ему объясняли его будущие обязанности: шпионаж, взрыв мостов и пр. Вне всякой связи со всей этой историей, ему, по его словам, сообщили (кто?), что он будет работать в России «не один», что «в том же (!) направлении в России работает Ленин со своими единомышленниками». Таков дословный текст его показаний. Выходит, что мелкому агенту, предназначенному для взрыва мостов, сообщают без всякой практической надобности такую тайну, как связь Ленина с Людендорфом... Под конец своих показаний, опять-таки вне всякой связи со всем повествованием, явно под чью-то грубую подсказку, Ермоленко неожиданно добавляет: «мне сообщили (кто?), что Ленин участвовал на совещаниях в Берлине (с представителями штаба) и останавливался у Скоропись-Иолтуховского, в чем я и сам потом убедился». Точка. Как он убедился, об этом ни слова. По отношению к этому единственному «фактическому» указанию Ермоленки следователь Александров совершенно не проявил любознательности. Он не задал простейшего вопроса о том, как убедился прапорщик в том, что Ленин был во время войны в Берлние и останавливался у Скоропись-Иолтуховского. Или же может быть Александров такой вопрос задал (не мог не задать!), но получил в ответ только нечленораздельное мычание, и потому решил совсем не заносить этого эпи-

зода в протокол. Очень вероятно! Не вправе ли мы по поводу всей этой стряпни спросить: какой дурак этому поверит? Но есть, оказывается, «государственные люди», которые притворяются, что верят, и приглашают верить своих читателей.

И это все? — Да, у военного прапорщика больше нет ничего. У политического прапорщика есть еще гипотезы и догадки. Последуем за ним.

«Временное правительство — повествует Керенский, — видело себя перед лицом трудной задачи, состоявшей в том, чтобы расследовать далее указанные Ермоленкой нити, преследовать по пятам агентов, которые ездили между Лениным и Людендорфом взад и вперед, и захватить их на месте преступления с возможно более убийственным обвинительным материалом» (стр. 296).

Эта пышная фраза сплетена из двух нитей: лживости и трусости. Здесь впервые введен в рассказ Людендорф. У Ермоленки ни одного немецкого имени нет: голова прапорщика отличалась слишком малой емкостью. Об агентах, которые ездили между Лениным и Людендорфом взад и вперед, Керенский говорит с преднамеренной двусмысленностью. С одной стороны, можно подумать, что речь идет об определенных, уже известных агентах, которых оставалось только поймать с уликами в руках. С другой стороны, похоже на то, что в голове Керенского имелась только платоновская идея агентов. Если он собирался их «преследовать по пятам», то дело шло пока что о неизвестных, анонимных, трансендентальных пятах. Своими словесными ухищрениями клеветник лишь обнажает свою собственную... ахиллесову пяту, или, говоря менее классически, ослиное копыто.

Расследование дела велось, по Керенскому, столь секретно, что об нем знали только четыре министра. Даже несчастный министр юстиции Переверзев не был поставлен в известность. Вот что значит истинно государственный подход! В то время, как немец-

кий штаб каждому встречному-поперечному выдавал не только имена своих доверенных банков, но и всю связь с вождями величайшей революционной партии, Керенский поступает наоборот: кроме себя, он находит еще только трех министров, обладающих достаточным закалом, чтобы не отставать от пят агентов Людендорфа.

«Задача была в высшей степени трудной, запутанной и длительной» (стр. 297), жалуется Керенский. Охотно верим ему на этот раз. Зато успех полностью короновал патриотические усилия. Керенский так и говорит: «Успех, во всяком случае, был прямо таки уничтожающим для Ленина. Связи Ленина с Германией были безупречно установлены» (стр. 297). Просим твердо запомнить: «безупречно установлены».

Кем и как? На этом месте Керенский вводит в свой уголовный роман двух довольно известных польских революционеров, Ганецкого и Козловского, и некую госпожу Суменсон, о которой никто никогда не мог ничего сообщить и самое существование которой ничем не доказано. Эти трое как будто и были агентами связи. На каком основании Керенский зачисляет покойного ныне Козловского и здравствующего Ганецкого в посредники между Людендорфом и Лениным? Неизвестно. Ермоленко этих лиц не называл. Они появляются на страницах Керенского, как они в свое время появились на страницах газет в июльские дни 1917 года, совершенно неожиданно, как боги из машины, причем роль машины явно исполняла царская контр-разведка. Вот что рассказывает Керенский: «Большевистский немецкий агент из Стокгольма, который вез с собой документы, неопровержимо доказывавшие связь между Лениным и немецким командованием, должен был быть арестован на русско-шведской границе. Документы нам были точно известны» (стр. 298). Этим агентом, как оказывается, был Ганецкий. Мы видим, что четыре министра,самым мудрым из которых был конечно

министр-президент, трудились недаром: агент большевиков вез из Стокгольма известные заранее («точно известные!») Керенскому документы, неопровержимо доказывавшие, что Ленин — агент Людендорфа. Но почему же Керенский не поделится с нами своим секретом насчет этих документов? Почему хоть вкратце не осветит их содержания? Почему не скажет, хотя бы намеком, как он узнал содержание этих документов? Почему не объяснит, зачем собственно немецкий агент большевиков вез документы, доказывавшие, что большевики суть немецкие агенты? Обо всем этом Керенский не говорит ни слова. Нельзя не спросить вторично: какой же дурак ему поверит?

Однако, стокгольмский агент, как оказывается, вовсе не был арестован. Замечательные документы, которые были в 1917-м году «точно известны» Керенскому, но в 1928-м году остаются неизвестны его читателям, не были захвачены. Агент большевиков ехал, но не доехал до шведской границы. Почему? Только потому, что министр юстиции Переверзев, неспособный следовать по пятам, слишком рано разболтал газетам великую тайну прапорщика Ермоленко. А счастье было так возможно, так близко...

«Двухмесячная работа временного правительства (главным образом Терещенки) в отношении открытия большевистских происков закончилась н е у д а ч е й» (стр. 298). Да, так у Керенского и сказано: «закончилась неудачей». На 297-й странице говорится, что «успех этой работы оказался прямо-таки уничтожающим для Ленина»; связи его с Людендорфом были «безупречно установлены», — а на странице 298-й мы читаем, что «двухмесячная работа окончилась «н е у д а ч е й»... Не похоже ли все это на совсем не забавное шутовство?

Но это еще не конец. Ярче всего, пожалуй, и лживость и трусливость Керенского обнаруживается на вопросе обо мне. В заключение своего списка не-

мецких агентов, которые подлежали аресту по его распоряжению, Керенский скромно замечает: «Через несколько дней были арестованы также Троцкий и Луначарский» (стр. 309). Это единственное место, где Керенский включает меня в систему немецкого шпионажа. Он делает это глухо, без цветов красноречия и не расходуя своих «честных слов». На это есть достаточные основания. Керенский не может меня обойти совсем, потому что как-никак его правительство арестовало меня и предъявило мне то же самое обвинение, что и Ленину. Но он не хочет и не может распространяться об уликах против меня, потому что его правительство особенно ярко обнаружило на вопросе обо мне вышеупомянутое ослиное копыто. Единственной против меня уликой выставлено было судебным следователем Александровым то, что я вместе с Лениным проехал через Германию в пломбированном вагоне. Старый цепной пес царской юстиции понятия не имел, что вместе с Лениным проехал в пломбированном вагоне через Германию не я, а вождь меньшевиков Мартов. Я же приехал спустя месяц после Ленина, из Нью-Иорка через канадский концентрационный лагерь и Скандинавию. Обвинение против большевиков строилось такими жалкими и презренными фальсификаторами, что эти господа не считали даже нужным хотя бы справиться по газетам, когда и каким путем Троцкий приехал в Россию. Я тогда же уличил следователя на месте. Я швырнул ему в лицо его грязные бумажонки и повернул ему спину, не желая с ним больше разговаривать. Тогда же я обратился с протестом к временному правительству. Виновность Керенского, его уголовное преступление по отношению к читателю, в этом пункте наиболее грубо торчит наружу. Керенский знает, как постыдно провалилась его юстиция в обвинении против меня. Вот почему, включая меня мимоходом в систему немецкого шпионажа, он ни словом не упоминает о том, как он и три других его министра преследовали меня по пятам через Гер-

манию в то время, как я пребывал в канадском концентрационном лагере.

«Если бы у Ленина не было опоры в виде всей материальной и технической мощи немецкого аппарата пропаганды и немецкого шпионажа — обобщает свои мысли клеветник, — ему никогда не удалось бы разрушение России» (стр. 299). Керенскому хочется думать, что старый строй (и он сам вместе с ним) был опрокинут не революционным народом, а немецкими шпионами. Как утешительна историческая философия, согласно которой жизнь великой страны представляет собою игрушку в руках шпионской организации соседа. Но если военное и техническое могущество Германии могло опрокинуть в течение нескольких месяцев демократию Керенского и искусственно насадить большевизм, то почему материальный и технический аппарат всех стран Антанты не мог в течение 12-ти лет опрокинуть этот искусственно возникший большевизм? Но не станем вдаваться в область исторической философии. Останемся в области фактов. — В чем выражалась техническая и финансовая помощь Германии? Керенский не говорит об этом ни слова.

Керенский ссылается, правда, на мемуары Людендорфа. Но из этих мемуаров явствует лишь одно: Людендорф надеялся, что революция в России приведет к разложению царской армии, — сперва февральская революция, затем октябрьская. Чтобы разоблачить этот план Людендорфа не нужны были его мемуары. Достаточно было того факта, что группа русских революционеров пропущена была через Германию. Со стороны Людендорфа это была авантюра, вытекавшая из тяжкого военного положения Германии. Ленин воспользовался расчетами Людендорфа, имея при этом свой расчет. Людендорф говорил себе: Ленин опрокинет патриотов, а потом я задушу Ленина и его друзей. Ленин говорил себе: я проеду в вагоне Людендорфа, а за услугу расплачусь с ним по своему.

Что два противоположных плана пересеклись в одной точке, и что этой точкой был «пломбированный» вагон, для доказательства этого не нужно сыскных талантов Керенского. Это исторический факт. После того история уже успела проверить оба расчета. 7-го ноября 1917-го года большевики овладели властью. Ровно через год под могущественным влиянием русской революции, немецкие революционные массы опрокинули Людендорфа и его хозяев. А еще через десять лет обиженный историей демократический Нарцисс попытался освежить глупую клевету — не на Ленина, а на великий народ и его революцию.

ГЛАВА XXVI

От июля к октябрю

4 июня большевистская фракция огласила на съезде советов внесенную мною декларацию по поводу готовившегося Керенским наступления на фронте. Мы указывали, что наступление есть авантюра, грозящая самому существованию армии. Но временное правительство опьяняло себя празднословием. Солдатскую массу, потрясенную революцией до дна, министры считали глиной, из которой можно сделать все, что угодно. Керенский разъезжал по фронту, заклинал, угрожал, становился на колени, целовал землю, словом, паясничал на все лады, не давая солдатам ответа ни на один мучивший их вопрос. Обманув себя дешевыми эффектами и заручившись поддержкой съезда советов, он скомандовал наступление. Когда несчастье, предсказанное большевиками, разразилось, обвинили большевиков. Травля бешенно возросла. Реакция, прикрытая кадетской партией, напирала со всех сторон и требовала наших голов.

Доверие к временному правительству в массах было безнадежно подорвано. Петроград оказался и на втором этапе революции ушедшим далеко вперед

авангардом. В июльские дни этот авангард открыто сшибся с правительством Керенского. Это не было еще восстание, лишь глубокая разведка. Но уже в июльском столкновении обнаружилось, что за Керенским нет никакой «демократической» армии; что те силы, которые поддерживают его против нас, являются силами контр-революции.

О выступлении пулеметного полка и об его призыве к другим войсковым частям и заводам, я узнал в здании Таврического Дворца, 3 июля во время заседания. Это известие явилось для меня неожиданностью. Демонстрация возникла самопроизвольно, по безыменной инициативе снизу. На другой день демонстрация развернулась еще шире, и уже с участием нашей партии. Таврический дворец был залит народом. Лозунг был один: «власть советам!». Перед дворцом какая-то подозрительная кучка, державшаяся особняком в толпе, задержала министра земледелия Чернова и усадила его в автомобиль. Толпа отнеслась к судьбе министра безучастно, ее сочувствие было во всяком случае не на его стороне. Весть об аресте Чернова и о грозящей ему расправе проникла во дворец. Народники решили для спасения своего вождя пустить в ход пулеметные броневики. Упадок популярности делал их нервными: они хотели показать твердую руку. Я решил попытаться выехать вместе с Черновым на автомобиле из толпы, чтобы затем освободить его. Но большевик Раскольников, лейтенант балтийского флота, приведший на демонстрацию кронштадтских матросов, крайне взволнованно настаивал на том, чтоб освободить Чернова сейчас же, иначе скажут, что его арестовали кронштадтцы. Я решил попытаться пойти Раскольникову на встречу. Дальше я предоставляю слово ему самому: «Трудно сказать, сколько времени продолжалось бы бурливое волнение массы, — говорит экспансивный лейтенант в своих воспоминаниях, — если бы делу не помог тов. Троцкий. Он сделал резкий прыжок на передний кузов автомобиля и широким энер-

гичным взмахом руки человека, которому надоело ждать, подал сигнал к молчанию. В одно мгновение все стихло, воцарилась мертвая тишина. Громким, отчетливым металлическим голосом... Лев Давыдович произнес короткую речь (закончив ее вопросом: «кто за насилие над Черновым, пусть поднимет руку?») ... «Никто даже не приоткрыл рта, — продолжает Раскольников, — никто не вымолвил ни слова возражения. — Гражданин Чернов, вы свободны, — торжественно произнес Троцкий, оборачиваясь всем корпусом к министру земледелия и жестом руки приглашая его выйти из автомобиля. Чернов был ни жив, ни мертв. Я помог ему сойти с автомобиля, и с вялым, измученным видом, нетвердой нерешительной походкой он поднялся по ступенькам и скрылся в вестибюле дворца. Удовлетворенный победой, Лев Давыдович ушел вместе с ним».

Если отбросить излишне патетическую окраску, то сцена передана правильно. Это не помешало враждебной печати утверждать, что я арестовал Чернова, чтоб учинить над ним самосуд. Сам Чернов застенчиво молчал: неудобно же «народному» министру признаваться, что сохранностью головы он обязан был не своей популярности, а заступничеству большевика.

Депутация за депутацией требовали от имени демонстрантов, чтоб Исполнительный Комитет взял власть. Чхеидзе, Церетели, Дан, Гоц восседали в президуме, как истуканы. Они не отвечали депутациям, они глядели в пространство или переглядывались тревожно и таинственно друг с другом. Большевики брали слово, поддерживая делегации рабочих и солдат. Члены президиума молчали. Они выжидали. Чего? ... Так проходили часы. Глубокой ночью своды дворца огласились победными звуками медных труб. Президиум вокрес, точно под действием электрического тока. Кто-то торжественно доложил, что Волынский полк прибыл с фронта в распоряжение Центрального Исполнительного Комитета. Оказалось,

что во всем огромном петроградском гарнизоне у «демократии» не было ни одной надежной части. Пришлось дожидаться, пока вооруженная сила не пришла с фронта. Теперь вся обстановка сразу переменилась. Делегации были изгнаны, большевикам больше не давали слова. Вожди демократии решили отомстить нам за тот страх, который нагнала на них масса. С трибуны Исполнительного Комитета раздались речи о вооруженном мятеже, который ныне подавлен верными войсками. Большевики были объявлены контрреволюционной партией. Все это благодаря приходу одного Волынского полка. Через три с половиной месяца этот полк единодушно участвовал в низвержении правительства Керенского.

5-го утром я виделся с Лениным. Наступление масс было уже отбито. «Теперь они нас перестреляют, — говорил Ленин. — Самый для них подходящий момент». Но Ленин переоценил противника — не его злобу, а его решимость и его способность к действию. Они нас не перестреляли, хотя были не так далеки от этого. На улицах избивали и убивали большевиков. Юнкера громили дворец Кшесинской и типографию «Правды». Вся улица перед типографией была усыпана рукописями. Погиб в числе прочего мой памфлет «Клеветникам». Глубокая июльская разведка превратилась в одностороннее сражение. Противник оказался победителем без труда, ибо мы не вступали в борьбу. Партия жестоко расплачивалась. Ленин и Зиновьев скрылись. Шли многочисленные аресты, сопровождавшиеся избиениями. Казаки и юнкера отбирали у арестуемых деньги на том основании, что это деньги «немецкие». Многие попутчики и полудрузья показывали нам спину. В Таврическом дворце мы были провозглашены контр-революционерами и по существу поставлены вне закона.

На верхах партии положение было неблагополучно. Ленина не было. Крыло Каменева подняло голову. Многие, и в том числе Сталин, просто отсиживались от событий, чтоб предъявить свою мудрость

на другой день. Большевистская фракция ЦИК чувствовала себя сиротливо в здании Таврического дворца. Она послала за мной делегацию с просьбой сделать доклад о создавшемся положении, несмотря на то, что я все еще не был членом партии: формальный акт объединения был отложен до предстоявшего вскоре партийного съезда. Я, разумеется, охотно согласился. Моя беседа с большевистской фракцией установила такие нравственные связи, которые создаются только под тяжкими ударами врага. Я говорил, что за этим кризисом нас ожидает быстрый подъем, что масса вдвое привяжется к нам, когда проверит нашу верность на деле; что надо в эти дни зорко глядеть за всяким революционером, ибо в подобные моменты люди взвешиваются на безошибочных весах. И сейчас я с радостью вспоминаю, как тепло и благодарно меня провожала фракция. «Ленина нет, — говорил Муралов, — а из остальных один Троцкий не растерялся». Если-б я писал эти мемуары в других условиях, — вряд ли, впрочем, в других условиях я их писал бы вообще, — я бы затруднился передавать многое из того, что передаю на этих страницах. Но я не могу сейчас отвлечься от той широко организованной фальсификации прошлого, которая составляет одну из главных забот эпигонов. Мои друзья — в тюрьмах или в ссылке. Я вынужден говорить о себе то, о чем при других условиях говорить не стал бы. Дело идет для меня не только об исторической правде, но и о политической борьбе, которая продолжается.

С этого времени ведет свое начало неразрывная боевая и политическая дружба моя с Мураловым. Об этом человеке надо сказать здесь хоть несколько слов. Муралов — старый большевик, проделавший в Москве революцию 1905 года. В Серпухове Муралов попал в 1906 г. под черносотенный погром, совершавшийся, как всегда, под охраной полиции. Муралов — великолепный гигант, бесстрашие которого уравновешивается великодушной добротою. Он ока-

зался вместе с несколькими другими левыми в кольце врагов, окружавших здание земской управы. Муралов вышел из здания с револьвером в руке и ровным шагом пошел на толпу. Она подавалась. Но ударная группа черносотенцев перерезала ему дорогу, извозщики стали улюлюкать. Разойдись! приказал гигант не останавливаясь и поднял руку с револьвером. На него наскочили. Он уложил одного на месте и ранил другого. Толпа шарахнулась. Не прибавляя шагу, разрезая толпу, как ледокол, Муралов пошел пешком на Москву. Его процесс тянулся больше двух лет и, несмотря на свирепствовавшую реакцию, закончился оправданием. Агроном по образованию, солдат автомобильной роты во время империалистской войны, руководитель октябрьских боев в Москве, Муралов стал первым командующим московского военного округа после победы. Он был бесстрашным маршалом революционной войны, всегда ровным, простым, без позы. На походах вел неутомимую пропаганду делом: давал агрономические советы, косил хлеб и лечил между делом людей и коров. В самых трудных условиях от него излучались спокойствие, уверенность и теплота. После окончания войны мы старались с Мураловым вместе проводить свободные дни. Нас объединяла и охотничья страсть. Мы исколесили вместе север и юг, то за медведями и волками, то за фазанами и дрофами. Сейчас Муралов охотится в Сибири в качестве ссыльного оппозиционера...

В июльские дни 17-го года Муралов не дрогнул и многих поддержал. А тогда каждому из нас нужно было много самообладания, чтоб проходить по коридорам и залам Таврического дворца, не согнувшись и не опустив головы, сквозь строй бешенных взглядов, злобного шопота, демонстративного подталкивания друг друга локтем («смотри, смотри!») и прямого скрежета зубов. Нет ничего неистовее чванного и напыщенного «революционного» филистера, когда он начинает замечать, что революция, неожиданно поднявшая его вверх, начинает угрожать его временному

великолепию. Путь в буфет Исполнительного Комитета был в эти дни маленькой Голгофой. Там раздавали чай и черные бутерброды с сыром или красной зернистой икрой: ее было много в Смольном и позже в Кремле. В обед давали щи и кусок мяса. Буфетчиком Исполнительного Комитета был солдат Графов. В самый разгар травли против нас, когда Ленин, объявленный немецким шпионом, скрывался в шалаше, я заметил, что Графов подсовывал мне стакан чаю погорячее и бутерброд получше, глядя при этом мимо меня. Ясно: Графов сочувствовал большевикам и скрывал это от начальства. Я стал присматриваться. Графов был не одинок. Весь низший персонал Смольного — сторожа, курьеры, караульные, — явно тяготели к большевикам. Тогда я сказал себе, что наше дело уже на половину выиграно. Но пока только наполовину.

Печать вела против большевиков единственную в своем роде по злобности и бесчестию кампанию, которая лишь несколько лет спустя была превзойдена кампанией Сталина против оппозиции. Луначарский сделал в июле несколько двусмысленных заявлений, которые пресса не без основания истолковала, как отречение от большевиков. Некоторые газеты приписали такие же заявления и мне. 10-го июля я обратился к Временному правительству с письмом, в котором заявлял о полной моей солидарности с Лениным и заключил: «у вас не может быть никаких оснований в пользу изъятия меня из-под действия декрета, силою которого подлежат аресту Ленин, Зиновьев и Каменев . . . у вас не может быть оснований сомневаться в том, что я являюсь столь же непримиримым противником общей политики Временного Правительства, как и названные товарищи». Господа министры сделали из этого письма надлежащий вывод: они меня арестовали, как немецкого агента.

В мае, когда Церетели травил матросов и разоружал пулеметчиков, я предсказал ему, что недалек может быть день, когда ему придется искать у матро-

сов помощи против генерала, который станет намыливать веревку для революции. В августе такой генерал нашелся в лице Корнилова. Церетели обратился за помощью к кронштадтским матросам. Они не отказали. В воды Невы вошел крейсер «Аврора». Столь быстрое осуществление моего предсказания мне пришлось наблюдать уже из «Крестов». Матросы с «Авроры» присылали ко мне на свидание делегацию за советом: охранять ли Зимний дворец или взять его приступом? Я посоветовал им отложить подведение счетов с Керенским, пока не разделаются с Корниловым. — Наше от нас не уйдет. — Не уйдет? — Не уйдет!

В тюрьме на свидание ко мне приходила жена с мальчиками. У них к этому времени был уже собственный политический опыт. Лето мальчики проводили на даче, в знакомой семье отставного полковника В. Там собирались гости, больше всего офицеры, и за водкой ругали большевиков. В июльские дни ругательства достигли высшего напряжения. Кое-кто из этих офицеров вскоре уехали на юг, где собирались будущие белые кадры. Некий молодой патриот назвал за столом Ленина и Троцкого немецкими шпионами. Мой старший мальчик бросился на него со стулом, младший — на помощь со столовым ножом. Взрослые разняли их. Мальчики истерически рыдали, запершись у себя в комнате. Они собирались тайно бежать пешком в Петроград, чтоб узнать, что там делают с большевиками. На счастье приехала мать, успокоила и увезла с собою. Но и в городе было не очень хорошо. Газеты громили большевиков. Отец сидел в тюрьме. Революция решительно не оправдала надежд. Это не мешало мальчикам с восторгом глядеть, как жена украдкой просовывала мне сквозь решетку в камере свиданий перочинный нож. Я попрежнему утешал их тем, что настоящая революция еще впереди.

Дочери мои уже более серьезно втягивались в политическую жизнь. Они посещали митинги в цирке

Модерн и участвовали в демонстрациях. В июльские дни они попали в переделку, были смяты толпой, одна потеряла очки, обе потеряли шляпы, обе боялись потерять отца, который едва успел появиться на их горизонте.

В дни корниловского похода на столицу тюремный режим повис на тонкой ниточке. Все понимали, что, если Корнилов вступит в город, то первым делом зарежет арестованных Керенским большевиков. ЦИК опасался, кроме того, налета на тюрьму со стороны белогвардейских элементов столицы. Для охраны «Крестов» прислан был большой военный наряд. Он оказался, разумеется, не «демократическим», а большевистским и готов был в любую минуту освободить нас. Но такой акт был бы сигналом к немедленному восстанию, а для него еще не наступил час. Тем временем правительство само начало освобождать нас — по той же причине, по которой позвало большевиков-матросов для охраны Зимнего дворца. Прямо из «Крестов» я отправился в недавно созданный комитет по обороне революции, где заседал с теми самыми господами, которые посадили меня в тюрьму, как гогенцоллернского агента, и еще не успели снять с меня обвинения. Народники и меньшевики, признаюсь чистосердечно, одним видом своим вызвали пожелание, чтоб Корнилов взял их за шиворот и потряс ими в воздухе. Но это желание было не только неблагочестиво, но и неполитично. Большевики впряглись в оборону и везде были на первом месте. Опыт корниловского восстания дополнил опыт июльских дней. Снова обнаружилось, что за Керенским и Ко нет никаких самостоятельных сил. Та армия, которая поднялась против Корнилова, была будущей армией октябрьского переворота. Мы использовали опасность, чтоб вооружить рабочих, которых Церетели перед тем все время усердно разоружал.

Город в те дни затих. Ждали Корнилова, одни с надеждой, другие с ужасом. Мальчики слышали: «может придти завтра». На утро, еще не одевшись,

они глядели изо всех глаз в окно: пришел или не пришел? Но Корнилов не пришел. Революционный подъем масс был так могуществен, что корниловский мятеж просто растаял, испарился. Но не бесследно: он пошел целиком на пользу большевикам.

«Возмездие не медлит, — писал я в корниловские дни. — Гонимая, преследуемая, оклеветанная, наша партия никогда не росла так быстро, как в последнее время. И этот процесс не замедлит перекинуться из столиц на провинцию, из городов на деревни и армию... Ни на минуту не переставая быть классовой организацией пролетариата, наша партия превратится в огне репрессий в истинную руководительницу всех угнетенных, придавленных, обманутых и затравленных масс»...

Мы еле поспевали за приливом. Число большевиков в петроградском совете росло со дня на день. Мы уже достигали половины. Между тем в президиуме все еще не было ни одного большевика. Встал вопрос о переизбрании президиума совета. Мы предложили меньшевикам и народникам коалиционный президиум. Ленин, как мы позже узнали, был этим недоволен, опасаясь, что за этим скрываются примиренческие тенденции. Но никакого компромиса не получилось. Несмотря на недавнюю совместную борьбу против Корнилова, Церетели отклонил коалиционный президиум. Этого нам только и надо было. Оставалось голосовать по спискам. Я поставил вопрос: входит ли в список наших противников Керенский или нет? Формально он числился в президиуме, но в совете не бывал и всячески демонстрировал свое к нему пренебрежение. Вопрос застиг президиум врасплох. Керенского не любили и не уважали. Но невозможно было дезавуировать своего министра-президента. Пошептавшись, члены президиума ответили: «Конечно, входит». Этого нам только и надо было. Вот отрывок протокола: «Мы были убеждены, что Керенского нет больше в составе совета (бурные аплодисменты). Но мы, оказывается, заблуждались.

Между Чхеидзе и Завадье витает тень Керенского. Когда вам предлагают одобрить политическую линию президиума, так помните, — не забывайте, — что вам предлагают тем самым одобрить политику Керенского. (Бурные аплодисменты)». Это отбросило в нашу сторону сотню, другую колеблющихся делегатов. Совет насчитывал далеко за тысячу членов. Голосование шло выходом в двери. В зале царило чрезвычайное волнение. Дело шло не о президиуме. Дело шло о революции. Я прогуливался в кулуарах с кучкой друзей. Мы полагали, что нам до половины не хватит сотни голосов и готовы были видеть в этом успех. Оказалось, что мы получили на сотню с лишним голосов больше, чем коалиция эсеров и меньшевиков. Мы были победителями. Я занял место председателя. Церетели на прощанье пожелал нам продержаться в совете хоть половину того срока, в течение которого они вели революцию. Другими словами противники открывали нам кредит не более, как на три месяца. Они жестоко ошиблись. Мы уверенно шли к власти.

ГЛАВА XXVII

Ночь, которая решает

Близился двенадцатый час революции. Смольный превращался в крепость. На чердаке его, как наследство от старого Исполнительного Комитета, имелось десятка два пулеметов. Комендант Смольного, капитан Греков, был заведомый враг. Зато начальник пулеметной команды явился ко мне, чтобы сказать: пулеметчики за большевиков. Я поручил кому-то — не Маркину ли? — проверить пулеметы. Они оказались в плохом состоянии: за ними не было никакого ухода. Солдаты обленились именно потому, что не собирались защищать Керенского. Я вызвал в Смольный свежий и надежный пулеметный отряд.

Стояло ранее серое утро 24-го октября *). Я переходил из этажа в этаж, отчасти, чтобы не сидеть на месте, отчасти, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и чтобы ободрить тех, которые могли нуждаться в ободрении. По каменным полам бесконечных и еще полутемных корридоров Смольного солдаты с бодрым грохотом и топотом катили свои пулеметы. Это был вызванный мною новый отряд. Из дверей высовывались полусонные испуганные лица остававшихся еще в Смольном немногочисленных эсеров и меньшевиков. Эта музыка не предвещала ничего хорошего. Они спешно покидали Смольный, один за другим. Мы оставались полными хозяевами здания, которое готовилось поднять свою большевистскую голову над городом и страной.

Рано утром я столкнулся на лестнице с рабочим и работницей, которые запыхавшись прибежали из партийной типографии. Правительство закрыло центральный орган партии и газету петроградского Совета. Типография опечатана какими-то агентами правительства, явившимися в сопровождении юнкеров. В первый момент эта весть производит впечатление: такова власть формального над умами! — А нельзя разве содрать печать? спрашивает работница. — Сдирайте, отвечаю я, а чтоб чего не вышло, мы вам дадим надежную охрану. — У нас саперный батальон рядом, солдаты поддержат, — уверенно говорит печатница. Военно-Революционный Комитет тут же вынес постановление: «1. Типографии революционных газет открыть. 2. Предложить редакциям и наборщикам продолжать выпуск газет. 3. Почетная обязанность охранения революционных типографий от контр-революционных покушений возлагается на доблестных солдат Литовского полка и 6 запасного саперного батальона». Типография работала после

*) По старому стилю, который тогда еще был официальным стилем в России. По западному календарю — 6 ноября. Этим объясняется тот факт, что революцию называют то октябрьской, то ноябрьской.

этого без перерыва, и обе газеты продолжали выходить.

На телефонной станции 24-го возникли затруднения: там укрепились юнкера и под их прикрытием телефонистки стали в оппозицию к Совету. Они вовсе перестали нас соединять. Это было первое еще эпизодическое проявление саботажа. Военно-Революционный Комитет послал на телефонную станцию отряд матросов, которые установили у входа две небольшие пушки. Телефоны заработали. Так началось завладение органами управления.

На третьем этаже Смольного, в небольшой угловой комнате, непрерывно заседал Комитет. Там сосредоточивались все сведения о передвижении войск, о настроении солдат и рабочих, об агитации в казармах, о замыслах погромщиков, о происках буржуазных политиков и иностранных посольств, о жизни Зимнего дворца, о совещаниях прежних советских партий. Осведомители являлись со всех сторон. Приходили рабочие, солдаты, офицеры, дворники, социалистические юнкера, прислуга, жены мелких чиновников. Многие приносили чистейший вздор, некоторые давали серьезные и ценные указания. В течение последней недели я уже почти не покидал Смольного, ночевал не раздеваясь на кожаном диване, спал урывками, пробуждаемый курьерами, разведчиками, самокатчиками, телеграфистами и непрерывными телефонными звонками. Надвигалась решительная минута. Было ясно, что назад возврата нет.

К ночи 24-го члены Революционного Комитета разошлись по районам. Я остался один. Позже пришел Каменев. Он был противником восстанья. Но эту решающую ночь он пришел провести со мною, и мы оставались вдвоем в маленькой угловой комнате третьего этажа, которая походила на капитанский мостик в решающую ночь революции. В соседней большой и пустынной комнате была телефонная будка. Звонили непрерывно, о важном и о пустяках. Звонки еще резче подчеркивали настороженную тишину.

Легко было себе представить пустынный, ночной, слабо освещенный, пронизанный осенними морскими ветрами Петербург. Буржуазный и чиновничий люд жмется в своих постелях, стараясь разгадать, что творится на загадочных и опасных улицах. Напряженным сном боевого бивуака спят рабочие кварталы. Комиссии и совещания правительственных партий исходят бессилием в царских дворцах, где живые призраки демократии натыкаются на еще не рассеявшиеся призраки монархии. Моментами шелк и позолота зал погружается во тьму: не хватает угля. По районам бодрствует отряды рабочих, матросов, солдат. У молодых пролетариев винтовки и пулеметные ленты через плечо. Греются у костров уличные пикеты. У двух десятков телефонов сосредоточивается духовная жизнь столицы, которая осенней ночью протискивает свою голову из одной эпохи в другую.

В комнате третьего этажа сходятся вести из всех районов, пригородов и подступов к столице. Как будто все предусмотрено, руководители на местах, связи обеспечены, кажется, ничто не забыто. Проверим мысленно еще раз. Эта ночь решает. Накануне я с полным убеждением говорил в своем докладе делегатам второго съезда Советов: «Если вы не дрогнете — гражданской войны не будет, наши враги сразу капитулируют, и вы займете место, которое вам по праву принадлежит». В победе не может быть сомнения. Она обеспечена настолько, насколько вообще можно обеспечить победу восстания. И все же эти часы глубокой и напряженной тревоги, ибо наступающая ночь решает.

Мобилизуя юнкеров, правительство дало накануне крейсеру «Аврора» приказ удалиться из Невы. Речь шла о тех самых матросах-большевиках, к которым в августе являлся Скобелев со шляпой в руках просить, чтобы они охраняли Зимний дворец от корниловцев. Моряки справились у Военно-Революционного Комитета, как быть. И «Аврора» стоит этой ночью там, где стояла вчера. Мне звонят из Павловска, что пра-

вительство вызывает оттуда артиллеристов, из Царского Села — батальон ударников, из Петергофа — школу прапорщиков. В Зимний дворец Керенским стянуты юнкера, офицеры и ударницы. Я отдаю комиссарам распоряжение выставить на путях к Петрограду надежные военные заслоны и послать агитаторов навстречу вызванным правительством частям. Все переговоры ведутся по телефону и полностью доступны агентам правительства. Способны ли они, однако, еще контролировать наши переговоры? «Если не удержите словами, пускайте в ход оружие. Вы отвечаете за это головой». Я повторяю эту фразу несколько раз. Но я сам еще не верю полностью в силу своего приказания. Революция еще слишком доверчива, великодушна, оптимистична и легкомысленна. Она больше грозит оружием, чем применяет его. Она все еще надеется, что все вопросы можно разрешить словом. Пока это удается ей. Скопления враждебных элементов испаряются от одного ее горячего дыхания. Еще днем 24-го был отдан приказ при первой попытке уличных погромов пускать в ход оружие и действовать беспощадно. Но враги и думать не смеют об улице. Они попрятались. Улица наша. На всех подступах к Петрограду бодрствуют наши комиссары. Школа прапорщиков и артиллеристы не откликнулись на зов правительства. Только часть ораниенбаумских юнкеров пробралась ночью через наш заслон, и я следил по телефону за их дальнейшим движением. Они кончили тем, что послали в Смольный парламентеров. Тщетно временное правительство искало опоры. Почва ползла под его ногами.

Наружный караул Смольного усилен новой пулеметной командой. Связь со всеми частями гарнизона остается непрерывной. Дежурные роты бодрствуют во всех полках. Комиссары на месте. Делегаты от каждой воинской части находятся в Смольном, в распоряжении Военно-Революционного Комитета, на случай перерыва связи. Из районов движутся по улицам вооруженные отряды, звонят у ворот или открывают

их без звонка, и занимают одно учреждение за другим. Эти отряды почти везде встречают друзей, которые ждут их с нетерпением. На вокзалах особо назначенные комиссары зорко следят за прибывающими и уходящими поездами, особенно за передвижением солдат. Ничего тревожного. Все важнейшие пункты города переходят в наши руки почти без сопротивления, боз боя, без жертв. Телефон звонит: «мы здесь».

Все хорошо. Лучше нельзя. Можно отойти от телефона. Я сажусь на диван. Напряжение нервов ослабевает. Именно поэтому ударяет в голову глухая волна усталости. «Дайте папиросу!», говорю я Каменеву. В те годы я еще курил, хотя и не регулярно. Я затягиваюсь раза два и едва мысленно успеваю сказать себе: «этого еще не достаточно», как теряю сознание. Склонность к обморокам при физической боли или недомогании я унаследовал от матери. Это и дало повод одному американскому врачу приписать мне падучую болезнь. Очнувшись я вижу над собою испуганное лицо Каменева. «Может быть достать какого-нибудь лекарства?» спрашивает он. — Гораздо лучше было бы, — отвечаю я, подумав, — достать какой-нибудь пищи. — Я стараюсь припомнить, когда я в последней раз ел, и не могу. Во всяком случае это было не вчера.

Утром я набрасываюсь на буржуазную и соглашательскую печать. О начавшемся восстании ни слова. Газеты так много и исступленно вопили о предстоящем выступлении вооруженных солдат, о разгромах, о неизбежных реках крови, о перевороте, что теперь они просто не заметили того восстания, которое происходило на деле. Печать принимала наши переговоры со штабом за чистую монету и наши дипломатические заявления — за нерешительность. Тем временем без хаоса, без уличных столкновений, почти без стрельбы и кровопролития одно учреждение за другим захватывалось отрядами солдат, матросов и красногвардейцев по распоряжениям, исходившим из Смольного Института.

Обыватель протирал испуганные глаза под новым режимом. Неужели, неужели большевики взяли власть? Ко мне явилась делегация городской Думы и поставила мне несколько неподражаемых вопросов: предполагаем ли мы выступления, какие, когда? Думе необходимо об этом знать «не менее, чем за 24 часа». Какие меры приняты Советом для охранения безопасности и порядка? И пр. и пр. Я ответил изложением диалектического взгляда на революцию и предложил Думе участвовать через одного делегата в работах Военно-Революционного Комитета. Это их испугало больше, чем самый переворот. Закончил я, как всегда, в духе вооруженной обороны: «если правительство пустит в ход железо, ему ответит сталь». — Будете ли вы разгонять нас за то, что мы против перехода власти к Советам? — Я ответил: «Нынешняя Дума отражает вчерашний день; если возникнет конфликт, мы предложим населению перевыборы Думы по вопросу о власти». Делегация ушла с тем, с чем пришла. Но оставила после себя уверенное чувство победы. Кое-что изменилось за эту ночь. Три недели тому назад мы приобрели большинство в петроградском Совете. Мы были почти только знаменем — без типографии, без кассы, без отделов. Этой ночью еще правительство постановило арестовать Военно-Революционный Комитет и собирало наши адреса. А теперь депутация городской Думы является к «арестованному» Военно-Революционному Комитету справляться о своей судьбе.

Правительство попрежнему заседало в Зимнем дворце, но оно уже стало только тенью самого себя. Политически оно уже не существовало. Зимний дворец в течение 25 октября постепенно оцеплялся нашими войсками со всех сторон. В час дня я докладывал петроградскому Совету о положении вещей. Вот как изображает этот доклад газетный отчет: «От имени Военно-Революционного Комитета объявляю, что временного правительства больше не существует (Аплодисменты). Отдельные министры подвергнуты

аресту. («Браво!»). Другие будут арестованы в ближайшие дни или часы. (Аплодисменты). Революционный гарнизон, состоящий в распоряжении Военно-Революционного Комитета, распустил собрание Предпарламента. (Шумные аплодисменты). Мы здесь бодрствовали ночью и по телефонной проволоке следили, как отряды революционных солдат и рабочей гвардии бесшумно исполняли свое дело. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменяется другой. Вокзалы, почта, телеграф, Петроградское Телеграфное Агенство, Государственный банк, — заняты. (Шумные аплодисменты). Зимний дворец еще не взят, но судьба его решится в течение ближайших минут. (Аплодисменты)».

Этот голый отчет способен дать неправильное представление о настроении собрания. Вот что подсказывает мне моя память. Когда я доложил о совершившейся ночью смене власти, воцарилось на несколько секунд напряженное молчание. Потом пришли аплодисменты, но не бурные, а раздумчивые. Зал переживал и выжидал. Готовясь к борьбе, рабочий класс был охвачен неописуемым энтузиазмом. Когда же мы шагнули через порог власти, нерассуждающий энтузиазм сменился тревожным раздумьем. И в этом сказался правильный исторический инстинкт. Ведь впереди еще может быть величайшее сопротивление старого мира, борьба, голод, холод, разрушение, кровь и смерть. Осилим ли? мысленно спрашивали себя многие. Отсюда минута тревожного раздумья. Осилим, ответили все. Новые опасности маячили в далекой перспективе. А сейчас было чувство великой победы, и это чувство пело в крови. Оно нашло свой выход в бурной встрече, устроенной Ленину, который впервые появился на этом заседании после почти четырехмесячного отсутствия.

Поздно вечером, в ожидании открытия заседания съезда Советов, мы отдыхали с Лениным по соседству с залом заседаний, в пустой комнате, где не

было ничего, кроме стульев. Кто-то постлал нам на полу одеяло, кто-то — кажется сестра Ленина — достал нам подушки. Мы лежали рядом, тело и душа отходили, как слишком натянутая пружина. Это был заслуженный отдых. Спать мы не могли. Мы в полголоса беседовали. Ленин теперь только окончательно примирился с оттяжкой восстания. Его опасения рассеялись. В его голосе были ноты редкой задушевности. Он расспрашивал меня про выставленные везде смешанные пикеты из красногвардейцев, матросов и солдат. «Какая это великолепная картина: рабочий с ружьем рядом с солдатом у костра!», повторял он с глубоким чувством. «Свели, наконец, солдата с рабочим! «Затем он внезапно спохватывался: «А Зимний? Ведь до сих пор не взят? Не вышло бы чего?» Я привстал, чтобы справиться по телефону о ходе операции, но он меня удерживал. «Лежите, я сейчас кому-нибудь поручу». Но лежать долго не пришлось. По соседству в зале открылось заседание съезда советов. За мной прибежала Ульянова, сестра Ленина. «Дан выступает, вас зовут». Срывающимся голосом Дан отчитывал заговорщиков и предрекал неизбежный крах восстания. Он требовал, чтоб мы заключили с эсерами и меньшевиками коалицию. Партии, которые еще вчера, стоя у власти, травили и сажали нас в тюрьмы, требовали от нас соглашения, когда мы их опрокинули. Я отвечал Дану и, в его лице, вчерашнему дню революции: «То, что произошло, это восстание, а не заговор. Восстание народных масс не нуждается в оправдании. Мы закаляли революционную энергию рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю масс на восстание. Наше восстание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от победы, заключите соглашение. С кем? Вы — жалкие единицы, вы — банкроты, ваша роль сыграна, отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории». Это была последняя реплика в том большом диалоге, который начался 3-го апреля, в день и час приезда Ленина в Петроград.

ГЛАВА XXVIII

Троцкизм в 1917 году

С 1904 года я стоял вне обеих социалдемократических фракций. Революцию 1905—7 годов я провел рука об руку с большевиками. В годы реакции я отстаивал методы революции против меньшевиков в международной марксистской печати. Я не терял, однако, надежды на полевение меньшевиков и делал ряд объединительных попыток. Только во время войны я окончательно убедился в их безнадежности. В Нью-Йорке, в начале марта, я написал серию статей, посвященных классовым силам и перспективам русской революции. В те же самые дни Ленин посылал из Женевы в Петроград свои «Письма издалека». Писавшиеся в двух пунктах, отделенных океаном, эти статьи дают одинаковый анализ и одинаковый прогноз. Все основные формулировки — отношение к крестьянству, к буржуазии, к Временному Правительству, к войне, к международной революции, — совершенно тождественны. На оселке истории здесь была сделана проверка отношения «троцкизма» к ленинизму. Эта проверка была обставлена условиями химически чистого опыта. Я не знал о ленинской установке. Я исходил из своих предпосылок и своего революционного опыта. И я давал ту же перспективу, ту же стратегическую линию, что Ленин.

Или, может быть, вопрос был в это время уже ясным для всех и столь же общим для всех было решение? Нет, наоборот. Ленинская установка была в тот период — до 4 апреля 1917 года, т. е. до момента его появления на петроградской арене, — его личной, его единоличной установкой. Никто из руководителей партии, находившихся в России, — ни один! — и в мыслях не имел курса на диктатуру пролетариата, на социалистическую революцию. Партийное совещание, собравшее накануне приезда Ленина несколько десятков большевиков, показало, что

никто не шел дальше демократии. Не даром протоколы этого совещания скрываются до сих пор. Сталин держал курс на поддержку Временного Правительства Гучкова-Милюкова и на слияние большевиков с меньшевиками. На такой же или еще более оппортунистической позиции стояли: Рыков, Каменев, Молотов, Томский, Калинин и все остальные нынешние руководители и полуруководители. Ярославский, Орджоникидзе, председатель украинского ЦИК Петровский и др. издавали во время февральской революции в Якутске совместно с меньшевиками газету «Социалдемократ», в которой развивали взгляды пошлейшего провинциального оппортунизма. Перепечатать сейчас статьи иркутского «Социалдемократа», редактировавшегося Ярославским, значило бы идейно убить этого человека, если б для него возможна была идейная смерть. Такова нынешняя гвардия «ленинизма». Что они в разное время своей жизни повторяли за Лениным его слова или жесты, это я знаю. Но в начале 1917 года они были предоставлены самим себе. Обстановка была трудная. Тут и нужно было показать, чему они научились в школе Ленина и на что они способны — без Ленина. Пусть же назовут хоть одного из своих рядов, одного единственного, кто самостоятельно подошел бы к той позиции, которая была одинаково формулирована Лениным в Женеве и мною в Нью-Иорке. Не назовут. Петроградская «Правда», редактировавшаяся до приезда Ленина Сталиным и Каменевым, навсегда осталась документом ограниченности, слепоты и оппортунизма. А между тем партия в массе своей, как и рабочий класс в целом, стихийно шли в сторону борьбы за власть. Другого пути вообще не было — ни для партии, ни для страны.

Для того, чтобы в годы реакции отстаивать перспективу перманентной революции, нужно было теоретическое предвиденье. Для того, чтобы в марте 1917 года выдвинуть лозунг борьбы за власть, достаточно было, пожалуй, политического чутья. Не

только способности предвиденья, но и чутья не обнаружил ни один — ни один! — из нынешних руководителей. Ни один из них в марте 1917 года не пошел дальше позиции левого мелкобуржуазного демократа. Ни один не выдержал исторического экзамена.

Я приехал в Петербург на месяц позже Ленина. Ровно на этот срок задержал меня в Канаде Ллойд-Джордж. Я застал уже обстановку в партии существенно изменившейся. Ленин аппелировал к партийной массе против горе-вождей. Он повел систематическую борьбу против тех «старых большевиков, которые, — как он писал в те дни — не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученную формулу, вместо изучения своеобразия новой живой действительности». Каменев и Рыков пытались сопротивляться. Сталин молча отошел в сторону. Нет ни одной статьи того времени, где Сталин сделал бы попытку оценить свою вчерашнюю политику и проложить себе путь к ленинской позиции. Он просто замолчал. Он был слишком скомпрометирован своим злосчастным руководством в течение первого месяца революции. Он предпочел отойти в тень. Он нигде не выступал в защиту ленинских взглядов. Он уклонялся и выжидал. В самые ответственные месяцы теоретической и политической подготовки к перевороту Сталин политически просто не существовал.

Ко времени моего приезда в стране было еще много социалдемократических организаций, объединявших большевиков с меньшевиками. Это был естественный вывод из той позиции, которую Сталин, Каменев и другие занимали не только в начале революции, но и во время войны, хотя, надо признать, что позиция Сталина во время войны никому не известна: этому немаловажному вопросу он не посвятил ни одной строки. Сейчас коминтерновские учебники всего мира, — комсомольцы Скандинавии и пионеры Австралии — повторяют и заучивают, что Троцкий

в августе 1912 г. сделал попытку объединить большевиков с меньшевиками. Но зато нигде ни единым словом не упоминается, что Сталин в марте 1917 года проповедывал объединение с партией Церетели, и что фактически до середины 1917 года Ленину не удалось еще высвободить окончательно партию из того болота, куда ее втащили тогдашние временные руководители, нынешние эпигоны. То обстоятельство, что ни один из них не понимал в начале революции ее смысла и направления, изображается теперь, как особая диалектическая глубина, в противовес ереси троцкизма, который осмелился не только понять вчерашний день, но и предвидеть завтрашний.

Когда, по приезде в Петербург, я сказал Каменеву, что меня ничто не отделяет от знаменитых «апрельских тезисов» Ленина, определивших новый курс партии, Каменев ответил только: «Еще бы!» Прежде чем я формально вошел в партию, я участвовал в выработке важнейших документов большевизма. Никому не приходило в голову спрашивать, отказался ли я от «троцкизма», как тысячи раз спрашивали в период эпигонского упадка Кашены, Тельманы и прочие прихвостни октябрьской революции. Если в то время и можно было наткнуться на противопоставление троцкизма ленинизму, то только в том смысле, что на верхушке партии в течение апреля месяца обвиняли Ленина в троцкизме. Каменев это делал открыто и настойчиво. Другие — более осторожно и закулисно. Десятки «старых большевиков» говорили мне после моего приезда в Россию: «Теперь на вашей улице праздник». Я вынужден был доказывать им, что Ленин не «переходил» на мою позицию, а развивал свою собственную, и что ход развития, заменив алгебру арифметикой, обнаружил тождество наших взглядов. Так оно и было на деле.

В те первые наши свидания, а еще более после июльских дней, Ленин производил впечатление высшей сосредоточенности, страшной внутренней собранности — под покровом спокойствия и «прозаической»

простоты. Керенщина казалась в те дни всемогущей. Большевизм представлялся «ничтожной кучкой». Так его официально третировали. Партия сама еще не сознавала своей завтрашней силы. И в то же время Ленин уверенно вел ее к величайшим задачам. Я впрягся в работу и помогал ему.

За два месяца до октябрьского переворота я писал: «Интернационализм для нас не отвлеченная идея, существующая только для того, чтобы при каждом подходящем случае изменять ей (как для Церетели или Чернова), а непосредственно руководящий, глубоко-практический принцип. Прочный, решающий успех немыслим для нас вне европейской революции». Рядом с именами Церетели и Чернова я не мог тогда еще поставить имя Сталина, философа социализма в отдельной стране. Я заканчивал свою статью словами: «Перманентная революция против перманентной бойни! Такова борьба, в которой ставкой является судьба человечества». Это было напечатано в центральном органе нашей партии 7 сентября и затем переиздано отдельной брошюрой. Почему молчали мои нынешние критики по поводу еретического лозунга перманентной революции? Где они были? Одни осторожно выжидали, оглядываясь по сторонам, как Сталин, другие спрятались под стол, как Зиновьев. Но важнее другой вопрос: как мог молча терпеть мою еретическую пропаганду Ленин? В вопросах теории он не знал ни попустительства, ни снисхождения. Как же он сносил проповедь «троцкизма» в центральном органе партии?

1-го ноября 1917 года на заседании петроградского комитета — протокол во всех отношениях исторического заседания скрывается до сих пор — Ленин сказал, что после того, как Троцкий убедился в невозможности единства с меньшевиками, «не было лучшего большевика». Он этим ясно показал, притом не в первый раз, что не теория перманентной революции отделяла нас, а более узкий, хотя и очень важный вопрос об отношении к меньшевизму.

Оглядываясь через два года после переворота назад, Ленин писал: «в момент завоевания власти и создания советской республики, большевизм привлек к себе все лучшее из близких ему течений социалистической мысли». Может ли быть хоть тень сомнения в том, что, говоря столь подчеркнуто о лучших представителях наиболее близких большевизму течений, Ленин в первую голову имел в виду то самое, что теперь именуют «историческим троцкизмом». Ибо какое же другое течение было ближе большевизму, чем то, которое я представлял? И кого другого имел Ленин в виду? Может быть Марселя Кашена? Или Тельмана? Для Ленина, когда он обозревал прошлое развитие партии в целом, троцкизм был не враждебным и чуждым, а, наоборот, наиболее близким большевизму течением социалистической мысли.

Действительный ход идейного развития не имел, как видим, ничего общего с той лживой каррикатуводители, нынешние эпигоны. То обстоятельство, что волной реакции, создали эпигоны.

ГЛАВА XXIX

У власти

Те дни были необыкновенными днями и в жизни страны, и в личной жизни. Напряжение социальных страстей, как и личных сил, достигало высшей точки. Массы создавали эпоху, руководители чувствовали, что их шаги сливаются с шагами истории. В те дни принимались решения и отдавались распоряжения, от которых зависела судьба народа на целую историческую эпоху. Эти решения, однако, почти не обсуждались. Я бы затруднился сказать, что они по настоящему взвешивались и обдумывались. Они импровизировались. От этого они не были хуже. Напор событий был так могуществен, и задачи так ясны,

что самые ответственные решения давались легко, на ходу, как нечто само собою разумеющееся, и также воспринимались. Путь был предопределен, нужно было только называть по имени задачи, доказывать не нужно было и почти уже не нужно было призывать. Без колебаний и сомнений масса подхватывала то, что вытекало для нее самой из обстановки. Под тяжестью событий «вожди» формулировали только то, что отвечало потребностям массы и требованиям истории.

Марксизм считает себя сознательным выражением бессознательного исторического процесса. Но «бессознательный» — в историко-философском, а не психологическом смысле, — процесс совпадает со своим сознательным выражением только на самых высоких своих вершинах, когда масса стихийным напором проламывает двери общественной рутины и дает победоносное выражение глубочайшим потребностям исторического развития. Высшее теоретическое сознание эпохи сливается в такие моменты с непосредственным действием наиболее глубоких и наиболее далеких от теории угнетенных масс. Творческое соединение сознания с бессознательным, есть то, что называют обычно вдохновением. Революция есть неистовое вдохновение истории.

Каждый действительный писатель знает моменты творчества, когда кто-то другой, более сильный, водит его рукой. Каждый настоящий оратор знает минуты, когда его устами говорит что-то более сильное, чем он сам в свои обыденные часы. Это есть «вдохновение». Оно возникает из высшего творческого напряжения всех сил. Бессознательное поднимается из глубокого логова и подчиняет себе сознательную работу мысли, сливает ее с собой в каком-то высшем единстве.

Часы высшего напряжения духовных сил охватывают в известные моменты все стороны личной деятельности, связанной с движением масс. Такими днями были для «вождей» дни октября. Подспудные

силы организма, его глубокие инстинкты, унаследованное от звериных предков чутье, все это поднялось, взломало двери психической рутины и — рядом с высшими историко-философскими обобщениями — стало на службу революции. Оба эти процесса, личный и массовый, были основаны на сочетании сознания с бессознательным, инстинкта, составляющего пружину воли, с высшими обобщениями мысли.

Внешне это выглядело совсем не патетично: люди ходили усталые, голодные, немытые, с воспаленными глазами и небритой щетиной на щеках. И каждый из них мог очень немногое рассказать впоследствии о наиболее критических днях и часах.

Вот выдержка из записей моей жены, сделанных впрочем уже значительно позднее: «Последние дни подготовки к Октябрю мы жили на Таврической улице. Л. Д. целые дни проводил в Смольном. Я продолжала свою работу в союзе деревообделочников, где руководили большевики, и атмосфера была накаленная. Все служебные часы проходили в дискуссии о восстании. Председатель союза стоял на «точке зрения Ленина-Троцкого» (так это тогда называлось), мы с ним совместно вели агитацию. О восстании говорили повсюду и везде: на улицах, в столовой, при встрече на лестницах Смольного. Питались плохо, спали мало, работали почти 24 часа в сутки. От наших мальчиков мы были оторваны, и октябрьские дни были для меня также и днями тревоги за их судьбу. Во всей школе, где они учились, было два «большевика», Лева и Сережа, и третий, «сочувствующий», как они говорили. Против этой тройки выступала компактная группа отпрысков правящей демократии, кадетов и эсеров. Как всегда при серьезных разногласиях, критика дополнялась практическими аргументами. Директору не раз приходилось извлекать моих сыновей из-под кучи навалившихся на них «демократов». Мальчики в сущности делали только то, что делали отцы. Директор был кадет. Поэтому он неизменно наказывал моего

сына: «Возьмите вашу шапочку и ступайте домой». После переворота оставаться в школе стало совершенно немыслимо. Мальчики перешли в народное училище. Там все было проще и грубее. Но дышать было легче.

«Мы с Л. Д. совсем не бывали дома. Мальчики, приходя со школы и, не находя нас, тоже не считали нужным оставаться в четырех стенах. Демонстрации, столкновения, нередкая стрельба внушали в те дни опасение за их благополучие: настроены они были архи-революционно . . . При торопливых встречах они радостно рассказывали: ехали сегодня в трамвае с казаками, видели, как они читали папино воззвание «Братья-казаки!» — Ну и что? — Читали, друг другу передавали, хорошо . . . — Хорошо! — Знакомый Л. Д. инженер К., имевший большую семью, детей различных возрастов, бонну и пр., предложил нам временно устроить мальчиков у него, где они могли бы быть под надзором. Пришлось ухватиться за это спасительное предложение. По различным поручениями Л. Д. я заходила в Смольный раз пять на день. Поздней ночью мы возвращались на Таврическую, а с утра расходились: Л. Д. — в Смольный, я — в союз. По мере того, как события наростали, из Смольного почти не приходилось уходить. Л. Д. по нескольку дней сряду не заходил на Таврическую, даже поспать. Часто и я оставалась в Смольном, Ночевали на диванах, на креслах, не раздеваясь. Погода стояла не теплая, но сухая, осенняя, нахмуренная, с порывами холодного ветра. На центральных улицах было тихо и пустынно. В этой тишине была страшная настороженность. Смольный кипел. Огромный актовый зал сверкал тысячами огней великолепных люстр и бывал все дни и вечера переполнен сверх всякой меры. Напряженная жизнь билась на заводах и фабриках. А улицы притихли, замолчали, точно город в страхе втянул голову в плечи . . .

«Помню, на второй или третий день после переворота, утром, я зашла в комнату Смольного, где

увидела Владимира Ильича, Льва Давыдовича, кажется Дзержинского, Иоффе и еще много народу. Цвет лица у всех был серо-зеленый, бессонный, глаза воспаленные, воротники грязные, в комнате было накурено... Кто-то сидел за столом, возле стола стояла толпа, ожидавшая распоряжений. Ленин, Троцкий были окружены. Мне казалось, что распоряжения даются, как во сне. Что-то было в движениях, в словах сомнамбулическое, лунатическое, мне на минуту показалось, что все это я сама вижу не наяву, и что революция может погибнуть, если «они» хорошенько не выспятся и не наденут чистых воротников: сновидение с этими воротниками было тесно связано. Помню еще через день, я встретила Марью Ильиничну, сестру Ленина, и напомнила ей впопыхах, что Владимиру Ильичу надо переменить воротник. «Да, да», смеясь ответила она мне. Но и в моих глазах вопрос о чистых воротничках уже успел утратить свою кошмарную значительность».

Власть завоевана, по крайней мере в Петрограде. Ленин еще не успел переменить свой воротник. На уставшем лице бодрствуют ленинские глаза. Он смотрит на меня дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью, выражая внутреннюю близость. — Знаете, — говорит он нерешительно, — сразу после преследований и подполья к власти... — он ищет выражения, — es schwindelt, — переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. Мы смотрим друг на друга и чуть смеемся.

Все это длится не больше минуты-двух. Затем — простой переход к очередным делам.

Надо формировать правительство. Нас несколько членов центрального комитета. Летучее заседание в углу комнаты.

— Как назвать? — рассуждает вслух Ленин. — Только не министрами: гнусное, истрепанное название.

— Можно бы комиссарами, — предлагаю я, — но только теперь слишком много комиссаров. Может

быть, верховные комиссары? ... Нет, «верховные» звучит плохо. Нельзя ли «народные»?

— Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдет, — соглашается Ленин. А правительство в целом?

— Совет, конечно, совет ... Совет народных комиссаров, а?

— Совет народных комиссаров? — подхватывает Ленин, — это превосходно: ужасно пахнет революцией! ...

Ленин мало склонен был заниматься эстетикой революции или смаковать ее «романтику». Но тем глубже он чувствовал революцию в целом, тем безошибочнее определял, чем она «пахнет».

— А что, — спросил меня совершенно неожиданно Владимир Ильич в те же первые дни, — если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут Свердлов с Бухариным справиться?

— Авось не убьют, — ответил я, смеясь.

— А чорт их знает, — сказал Ленин, и сам рассмеялся.

Этот эпизод я передал в первый раз в своих воспоминаниях о Ленине в 1924 г. Как я узнал впоследствии, члены тогдашней «тройки»: Сталин, Зиновьев и Каменев, почувствовали себя кровно обиженными моей справкой, хотя и не посмели оспорить ее правильность. Факт остается фактом: Ленин назвал только Свердлова и Бухарина. Другие имена не пришли ему в голову.

Проведя в двух эмиграциях, с короткими перерывами между ними, пятнадцать лет, Ленин знал основные не-эмигрантские кадры партии по переписке или по редким свиданиям заграницей. Только после революции он получил возможность ближе присмотреться к ним на работе. Ему приходилось при этом создавать себе мнения заново или пересматривать мнения, сложившиеся с чужих слов. Как человек

великой нравственной страсти, Ленин не знал безразличного отношения к людям. Этому мыслителю, наблюдателю и стратегу свойственны были острые увлечения людьми. Об этом в своих воспоминаниях говорит и Крупская. Ленин никогда не составлял себе сразу некоторое средне-взвешенное представление о человеке. Глаз Ленина был, как микроскоп. Он преувеличивал во много раз ту черту, которая, по условиям момента, попадала в его поле зрения. Ленин нередко в подлинном смысле слова влюблялся в людей. В таких случаях я дразнил его: «Знаю, знаю, у вас новый роман». Ленин сам знал об этой своей черте, и смеялся в ответ чуть чуть конфузливо, чуть-чуть сердито.

Отношение Ленина ко мне в течение 1917 г. проходило через несколько стадий. Ленин встретил меня сдержанно и выжидательно. Июльские дни нас сразу сблизили. Когда я, против большинства руководящих большевиков, выдвинул лозунг бойкота предпарламента, Ленин писал из своего убежища: «Браво, т. Троцкий!» По некоторым случайным и ошибочным признакам, ему показалось затем, будто в вопросе о вооруженном восстании я веду слишком выжидательную линию. Это опасение отразилось в нескольких письмах Ленина в течение октября. Зато тем ярче, тем горячее и задушевнее прорвалось его отношение ко мне в день переворота, когда мы в полутемной пустой комнате отдыхали на полу. На другой день на заседании Центрального Комитета партии Ленин предложил назначить меня председателем совета народных комиссаров. Я привскочил с места с протестом, — до такой степени это предложение показалось мне неожиданным и неуместным. «Почему же?» настаивал Ленин: «вы стояли во главе петроградского Совета, который взял власть». — Я предложил отвергнуть предложение без прений. Так и сделали. 1-го ноября, во время горячих прений в партийном комитете Петрограда, Ленин воскликнул: «нет лучшего большевика, чем Троцкий». Эти слова

в устах Ленина означали многое. Не даром же самый протокол заседания, где они были сказаны, до сих пор скрывается от гласности.

Завоевание власти поставило вопрос и о моей правительственной работе. Странное дело: об этом я не думал никогда. Ни разу мне не случалось, несмотря на опыт 1905-го года, связывать вопрос о своей будущности с вопросом о власти. С довольно ранних, точнее сказать, детских лет я мечтал стать писателем. В дальнейшие годы я подчинил писательство, как и все остальное, революционным целям. Вопрос о завоевании власти партией стоял передо мной всегда. Я десятки и сотни раз писал и говорил о программе революционного правительства. Но вопрос о моей личной работе после завоевания власти не возникал передо мною никогда. Он застиг меня поэтому врасплох. После переворота я пытался остаться вне правительства, предлагая взять на себя руководство печатью партии. Возможно, что в этой попытке место занимала и нервная реакция после победы. Предшествующие месяцы слишком непосредственно были у меня связаны с подготовкой переворота. Каждый фибр был напряжен. Луначарский рассказывал где-то в печати, что Троцкий ходил точно лейденская банка, и каждое прикосновение к нему вызывало разряд. 7 ноября принесло развязку. У меня было то же чувство, что у хирурга после окончания трудной и опасной операции: вымыть руки снять халат и отдохнуть. Ленин, наоборот, только что прибыл из своего убежища, где он три с половиной месяца томился оторванностью от непосредственного практического руководства. Одно совпадало с другим, и это еще более питало мое стремление отойти хоть на короткое время за кулисы. Но Ленин не хотел и слышать об этом. Он требовал, чтоб я стал во главе внутренних дел: борьба с контрреволюцией сейчас главная задача. Я возражал и, в числе других доводов, выдвинул национальный момент: стоит ли, мол, давать в руки врагам такое до-

полнительное оружие, как мое еврейство? Ленин был почти возмущен: «у нас великая международная революция, — какое значение могут иметь такие пустяки?» — На эту тему возникло у нас полушутливое препирательство. — «Революция то великая, — отвечал я, — но и дураков осталось еще не мало». — Да разве ж мы по дуракам равняемся? — «Равняться не равняемся, а маленькую скидку на глупость иной раз приходится делать: к чему нам на первых же порах лишнее осложнение? . . .»

Я упоминал уже, что национальный момент, столь важный в жизни России, не играл в моей личной жизни почти никакой роли. Уже в ранней молодости национальные пристрастия или предубеждения вызывали во мне рационалистическое недоумение, переходившее в известных случаях в брезгливость, даже в нравственную тошноту. Марксистское воспитание углубило эти настроения, превратив их в активный интернационализм. Жизнь в разных странах, знакомство с их языком, политикой и культурой помогли моему интернационализму всосаться в плоть и кровь. Если в 1917 г. и позже я выдвигал иногда свое еврейство, как довод против тех или других назначений, то исключительно по соображениям политического расчета.

Я завоевал на свою сторону Свердлова и еще кое-кого из членов ЦК. Ленин остался в меньшинстве. Он пожимал плечами, вздыхал, покачивал укоризненно головой и утешил себя только тем, что бороться с контр-революцией будем все равно, не считаясь с ведомствами. Но уходу моему в печать решительно воспротивился и Свердлов: туда, мол, посадим Бухарина. — Льва Давыдовича надо противопоставить Европе, пусть берет иностранные дела. — Какие у нас теперь будут иностранные дела? возражал Ленин. Но, скрепя сердце, он согласился. Скрепя сердце, согласился и я. Так, по инициативе Свердлова, я оказался на четверть года во главе советской дипломатии.

Комиссариат иностранных дел означал для меня в сущности освобождение от ведомственной работы. Товарищам, которые предлагали мне свое содействие, я почти неизменно рекомендовал поискать более благодарного поприща для своих сил. Один из них впоследствии довольно сочно передал в своих воспоминаниях беседу со мною вскоре после того, как сформировалось советское правительство. «Какая-такая у нас будет дипломатическая работа? — сказал я ему, по его словам, — вот издам несколько революционных прокламаций к народам и закрою лавочку». Мой собеседник был искренно огорчен таким недостатком у меня дипломатического самосознания. Я намеренно, разумеется, утрировал свою точку зрения, желая подчеркнуть, что центр тяжести сейчас совсем не в дипломатии.

Главная работа состояла в дальнейшем развитии октябрьского переворота, в распространении его на всю страну, в отражении налета Керенского и генерала Краснова на Петроград, в борьбе с контр-революцией. Эти задачи мы разрешали вне ведомства, и мое сотрудничество с Лениным было все время самым тесным и непрерывным.

Кабинет Ленина и мой были в Смольном расположены на противоположных концах здания. Коридор, нас соединявший, или, вернее, разъединявший, был так длинен, что Ленин шутя предлагал установить сообщение на велосипедах. Мы были связаны телефоном. Я несколько раз на дню проходил по бесконечному коридору, походившему на муравейник, в кабинет к Ленину для совещаний с ним. Молодой матрос, именовавшийся секретарем Ленина, непрерывно бегал, перенося мне ленинские записки с двух- и трехкратным подчеркиванием наиболее существенных слов, и с заключительным вопросом — ребром. Часто записочки сопровождались проектами декретов, требовавшими спешных отзывов. В архивах совнаркома хранится немалое количество документов того времени, написанных частью Лениным,

частью мною, текстов Ленина с моими поправками, или моих предложений с дополнениями Ленина.

В первый период, примерно до августа 1918 года, я принимал активное участие в общих работах совета народных комиссаров. В период Смольного Ленин с жадной нетерпеливостью стремился ответить декретами на все стороны хозяйственной, политической, административной и культурной жизни. Им руководила отнюдь не страсть к бюрократической регламентации, а стремление развернуть программу партии на языке власти. Он знал, что революционные декреты выполняются пока лишь на очень небольшую долю. Но обеспечение исполнения и проверки предполагало правильно действующий аппарат, опыт и время. Между тем никто не мог сказать, сколько времени нам будет предоставлено. Декреты имели в первый период более пропагандистское, чем административное значение. Ленин торопился сказать народу, что такое новая власть, чего она хочет, и как собирается осуществлять свои цели. Он переходил от вопроса к вопросу, с великолепной неутомимостью, созывал небольшие совещания, заказывал справки специалистам и рылся в книгах сам. Я ему помогал.

В Ленине было очень могуче чувство преемственности того дела, которое он выполнял. Как великий революционер, он понимал, что значит историческая традиция. Останемся ли у власти или будем сброшены, предвидеть нельзя. Надо при всех условиях внести как можно больше ясности в революционный опыт человечества. Придут другие и, опираясь на намеченное и начатое нами, сделают новый шаг вперед. Таков был смысл законодательной работы первого периода. Движимый той же мыслью Ленин нетерпеливо требовал скорейшего издания классиков социализма и материализма на русском языке. Он добивался, чтоб как можно больше поставлено было революционных памятников, хотя бы самых простых, бюстов, мемориальных досок, во всех городах, а если можно, то и в селах: закрепить в воображении масс то, что про-

изошло; оставить как можно более глубокую борозду в памяти народа.

Каждое заседание Совнаркома, довольно часто обновлявшегося в первое время по частям, представляло картину величайшей законодательной импровизации. Все приходилось начинать с начала. «Прецедентов» отыскать нельзя было, ибо таковыми история не запаслась. Ленин неутомимо председательствовал в совнаркоме по пять-шесть часов подряд, а заседания совнаркома происходили тогда ежедневно. Вопросы, по общему правилу, ставились без подготовки, почти всегда в порядке срочности. Очень часто самое существо дела было неведомо и членами совнаркома и председателю его до начала заседания. Прения были всегда сжатые, на вступительный доклад полагалось каких-либо 10 минут. И, тем не менее, Ленин всегда прощупывал необходимое русло. В целях экономии времени он посылал участникам заседания коротенькие записочки, требуя тех или иных справок. Эти записки представляли собой очень обширный и очень интересный эпистолярный элемент в законодательной технике ленинского совнаркома. Большая часть их, к сожалению, не сохранилась, так как ответ писался сплошь да рядом на обороте вопроса, и записочка чаще всего тут же подвергалась председателем уничтожению. Выбрав надлежащий момент, Ленин оглашал свои резолютивные пункты, выраженные всегда с намеренной резкостью, после чего прения либо вовсе прекращались, либо входили в конкретное русло практических предложений. Ленинские «пункты» и ложились обычно в основу декрета.

Для руководства этой работой, помимо других качеств, требовалось огромное творческое воображение. Одно из драгоценных качеств такого воображения состоит в умении представить себе людей, вещи и явления такими, каковы они в действительности, даже и тогда, когда ты их никогда не видел. Пользуясь всем своим жизненным опытом и теоретической установкой, соединить отдельные, мелкие штрихи, схва-

ченные на-лету, дополнить их по каким-то неформулированным законам соответствия и вероподобия и воссоздать таким путем во всей ее конкретности определенную область человеческой жизни, — вот воображение, которое необходимо законодателю, администратору, вождю, особенно же в эпоху революции. Сила Ленина была в огромной мере силой реалистического воображения.

Незачем говорить, что в горячке законодательного творчества допускалось немало промахов и противоречий. Но в общем ленинские декреты эпохи Смольного, т. е. наиболее бурного и хаотического периода революции, навсегда войдут в историю, как провозглашение нового мира. Не только социологи и историки, но и законодатели будущего не раз будут обращаться к этому источнику.

На первое место тем временем все больше выпирали практические задачи, прежде всего задачи гражданской войны, продовольствия и транспорта. По всем этим вопросам создавались чрезвычайные комиссии, которые должны были впервые заглянуть в глаза новым задачам и сдвинуть с места то или другое ведомство, беспомощно топтавшееся у самого порога. Мне пришлось в те месяцы возглавлять целый ряд таких комиссий: и продовольственную, в которую входил привлеченный тогда впервые к работе Цюрупа, и транспортную, и издательскую и многие другие.

Что касается дипломатического ведомства, то за вычетом брестских переговоров, он отнимало у меня немного времени. Но дело все же оказалось несколько сложнее, чем я предполагал. Уже на первых порах мне пришлось вступить неожиданно в дипломатические переговоры с . . . башней Эйфеля.

В дни восстания нам было не до того, чтобы интересоваться иностранными радио. Но теперь, в качестве народного комиссара по иностранным делам, я должен был следить за тем, как относится к перевороту капиталистический мир. Незачем говорить, что

приветствий не слышно было ниоткуда. Как ни склонно было берлинское правительство заигрывать с большевиками, оно, однако, пустило с науэнской станции враждебную волну, когда со станции Царского Села передавалось мое радио о победе над войсками Керенского. Но если Берлин и Вена все же колебались между враждой к революции и надеждой на выгодный мир, то все остальные страны, не только воюющие, но и нейтральные, передавали на разных языках чувства и мысли опрокинутых нами господствующих классов старой России. Из этого хора выделялась, однако, своим неистовством башня Эйфеля, которая заговорила в те дни также и на русском языке, очевидно ища путей к сердцу русского народа. При чтении парижских радио, мне казалось иногда, что на верхушке башни сидит сам Клемансо. Я достаточно знал его, как журналиста, чтобы узнавать если не его стиль, то по крайней мере его дух. Ненависть захлебывалась в этих радио от собственной полноты, злоба достигала предельного напряжения. Иногда казалось, что радио — скорпион на башне Эйфеля сам себя ужалит хвостом в голову.

В нашем распоряжении была царскосельская радиостанция, и у нас не было основания молчать. В течение нескольких дней я диктовал ответы на брань Клемансо. Моих познаний в политической истории Франции было достаточно, чтобы дать не слишком лестную характеристику главных действующих лиц и напомнить кое-что забытое из их биографий, начиная с Панамы. В течение нескольких дней между парижской и царскосельской башнями шла напряженная дуэль. Эфир в качестве нейтральной материи добросовестно передавал аргументы обеих сторон. И что же? Я сам не ожидал столь быстрых результатов. Париж резко переменил тон: он изъяснялся в дальнейшем враждебно, но вежливо. А я не раз потом с удовольствием вспоминал, как мне пришлось начать свою дипломатическую деятельность с обучения башни Эйфеля хорошим манерам.

18-го ноября, генерал Джэдсон, начальник американской миссии, неожиданно посетил меня в Смольном. Он предупредил, что не имеет еще возможности говорить от имени американского правительства, но надеется, что все будет all right. Намерено ли советское правительство стремиться к ликвидации войны совместно с союзниками? Я ответил, что благодаря полной гласности будущих переговоров, союзники смогут следить за их развитием и примкнуть к ним в любом этапе. В заключение миролюбивый генерал заявил: «Время протестов и угроз по адресу советской власти прошло, если вообще это время существовало». Но известно, что одна ласточка, даже в чине генерала, не делает весны.

В начале декабря состоялось первое и последнее свидание мое с французским послом Нулансом (Noulens), бывшим радикальным депутатом, присланным для сближения с февральской революцией, взамен откровенного монархиста Палеолога, византийца не только по фамилии, которого республика использовала для дружбы с царем. Почему был выбран Нуланс, а не кто другой, мне неизвестно. Но он не повысил моего мнения о вершителях судеб человечества. Беседа происходила по инициативе Нуланса и не привела ни к чему. После коротких колебаний Клемансо окончательно склонился к режиму колючей проволоки.

С генералом Нисселем (Niessel), начальником французской миссии, у меня вышло отнюдь не дружественное объяснение в стенах Смольного. Этот генерал упражнял свой наступательный дух в тыловых операциях. При Керенском он привык командовать и не хотел отучаться от дурной привычки. Для начала мне пришлось пригласить его покинуть Смольный. Вскоре отношения с французской военной миссией еще более осложнились. При миссии состояло информационное бюро, которое стало фабрикой самых отвратительных инсинуаций против революции. Во всех враждебных газетах появлялись ежедневно телеграм-

мы «из Стокгольма», одна другой фантастичнее, злобнее и глупее. Допрошенные об источнике «стокгольмских» телеграмм редакторы газет указали на французскую военную миссию. Я запросил официально генерала Нисселя. Он ответил мне 22 декабря поистине замечательным документом:

«Многочисленные журналисты разного направления — писал генерал — являются за справками в военную миссию. Я уполномочен давать им справки насчет военных событий на западном театре войны, в Салониках, в Азии и относительно положения во Франции. Во время одного (?) из таких визитов один (?) молодой офицер позволил себе сообщить слух, который распространяется по городу (?) и происхождение которого приписывается Стокгольму...» В заключение генерал неопределенно обещал «принять меры, чтобы в будущем подобные оплошности (?) не могли возобновиться». Это было слишком. Мы не для того обучали парижскую радио-башню правилам благопристойности, чтобы позволить генералу Нисселю создать вспомогательную башню фальсификаций в Москве. Я написал Нисселю в тот же день:

«1. В виду того, что бюро пропаганды, называемое бюро «информаций» при французской военной миссии служило источником распространения заведомо ложных слухов, имевших своей задачей вносить смуту и хаос в общественное сознание, это бюро подлежит немедленному закрытию. 2. «Молодому офицеру», который фабриковал ложные сведения, предлагается немедленно покинуть пределы России. Имя этого офицера прошу сообщить мне незамедлительно. 3. Приемник беспроволочного телеграфа подлежит устранению из миссии. 4. Французские офицеры, находящиеся в области гражданской войны, должны быть немедленно отозваны в Петроград особым приказом, подлежащим распубликованию в печати. 5. Обо всех шагах, предпринятых миссией в связи с настоящим письмом, прошу меня известить. Народный Комиссар по иностранным делам Л. Троцкий».

«Молодой офицер» был выведен из анонимности и, в качестве козла отпущения, покинул Россию. Приемник удалили. Информационное бюро закрыли. Офицеров отозвали с периферии в центр. Все это были только мелкие аванпостные стычки. Они сменились на короткий срок, после того как я уже перешел в военное ведомство, неустойчивым перемирием. Слишком категорического генераля Нисселя сменил вкрадчивый генерал Лавернь (Lavergne). Перемирие длилось, однако, недолго. Французская военная миссия, как и дипломатия, оказалась вскоре в центре всех заговоров и вооруженных выступлений против советской власти. Но это развернулось открыто уже после Бреста, в московский период, весною и летом 1918 года.

ГЛАВА XXX

В Москве

Подписание брестского мира лишило объявление о моем уходе из Наркоминдела политического смысла. Тем временем прибыл из Лондона Чичерин и стал моим заместителем. Чичерина я знал давно. В годы первой революции он из дипломатических чиновников примкнул к социалдемократии и, в качестве меньшевика, ушел целиком в работу заграничных «групп содействия» партии. В начале войны он занял резко патриотическую позицию и пытался ее обосновать в многочисленных письмах из Лондона. Одно-два таких письма пришлись и на мою долю. Но уже сравнительно скоро он приблизился к интернационалистам и стал активным сотрудником редактировавшегося мною в Париже «Нашего Слова». В конце концов он попал в английскую тюрьму. Я потребовал его освобождения. Переговоры затягивались. Я пригрозил репрессиями против англичан. «В аргументации Троцкого, — так писал английский посол Бьюкенен в

своем дневнике, — в конце концов есть нечто справедливое: если мы претендуем на право арестовать русских за пацифистскую пропаганду в стране, желающей продолжать войну, то он имеет такое же право арестовать британских подданных, продолжающих вести пропаганду в пользу войны в стране, желающей мира». Чичерина освободили. Он прибыл в Москву как нельзя более кстати. Со вздохом облегчения я передал ему дипломатический руль. В министерстве я совершенно не показывался. Изредка Чичерин советовался со мной по телефону. Лишь 13-го марта было опубликовано о моем уходе из наркоминдела одновременно с моими назначением наркомвоенном и председателем незадолго перед тем созданного, по моей инициативе, Высшего военного совета.

Ленин, таким образом, добился своего. Моим предложением выйти в отставку в связи с брестскими разногласиями, он воспользовался только для того, чтоб осуществить свою первоначальную мысль, видоизменив ее, в соответствии с обстоятельствами. Так как внутренний враг от заговоров перешел к созданию армий и фронтов, то Ленин хотел, чтоб я встал во главе военного дела. Теперь уж он завоевал на свою сторону Свердлова. Я пытался возражать. — Кого же поставить: назовите? наступал Ленин. Я поразмыслил и — согласился.

Был ли я подготовлен для военной работы? Разумеется, нет. Мне не довелось даже служить в свое время в царской армии. Призывные годы прошли для меня в тюрьме, ссылке и эмиграции. В 1906 году суд лишил меня гражданских и воинских прав. Ближе я подошел к вопросам милитаризма во время балканской войны, когда я несколько месяцев провел в Сербии, Болгарии и затем в Румынии. Но это был все же общеполитический, а не чисто военный подход. Мировая война всех вообще на свете приблизила к вопросам милитаризма, в том числе и меня. Повседневная работа в «Нашем Слове» и сотрудничество в

«Киевской Мысли» побуждали меня новые сведения и наблюдения приводить в систему. Но дело шло все же прежде всего о войне, как продолжении политики, и об армии, как ее орудии. Организационные и технические проблемы милитаризма все еще отступали для меня на задний план. Зато психология армии — казармы, траншеи, бои, госпитали — занимала меня чрезвычайно. Это позже весьма пригодилось.

В парламентских государствах во главе военного и морского министерств не раз становились адвокаты и журналисты, наблюдавшие, как и я, армию преимущественно из окна редакции, только более комфортабельной. Но разница была все же очевидной. В капиталистических странах дело идет о поддержании существующей армии, т. е. в сущности лишь о политическом прикрытии самодовлеющей системы милитаризма. У нас дело шло о том, чтобы смести начисто остатки старой армии и на ее месте строить под огнем новую, схемы которой нельзя было пока еще найти ни в одной книге. Это достаточно объясняет, почему к военной работе я подходил с неуверенностью и согласился на нее только потому, что некому было иначе за нее взяться.

Я не считал себя ни в малейшей степени стратегом и без всякого снисхождения относился к вызванному революцией в партии разливу стратегического дипломатизма. Правда, в трех случаях — в войне с Деникиным, в защите Петрограда и в войне с Пилсудским, я занимал самостоятельную стратегическую позицию и боролся за нее то против командования, то против большинства ЦК. Но в этих случаях стратегическая позиция моя определялась политическим и хозяйственным, а не чисто стратегическим углом зрения. Нужно, впрочем, сказать, что вопросы большой стратегии и не могут иначе разрешаться.

Смена моей работы совпала со сменой резиденции правительства. Переезд центральной власти в Москву явился, конечно, ударом для Петрограда. Против переезда была большая, почти всеобщая оп-

позиция. Ее возглавлял Зиновьев, выбранный к этому времени председателем петроградского совета. С ним был Луначарский, который через несколько дней после октябрьского переворота вышел в отставку, не желая нести ответственность за разрушение (мнимое) храма Василия Блаженного в Москве, а теперь, вернувшись на свой пост, не хотел расставаться со зданием Смольного, как «символом революции». Другие приводили доводы более деловые. Большинство боялось, главным образом, дурного впечатления на петербургских рабочих. Враги пускали слух, что мы обязались сдать Петроград Вильгельму. Мы считали с Лениным наоборот, что переезд правительства в Москву является страховкой не только правительства, но и самого Петрограда. Искушение захватить одним коротким ударом революционную столицу вместе с правительством и для Германии и для Антанты не могло не быть очень велико. Совсем другое дело — захватить голодный Петроград без правительства. В конце концов сопротивление было сломлено, большинство Центрального Комитета высказалось за переезд, и 12 марта (1918) правительство выехало в Москву. Чтоб смягчись впечатление от разжалования октябрьской столицы, я оставался еще, в течение недели или полуторы, в Питере. Железнодорожная администрация продержала меня при отъезде на вокзале несколько лишних часов: саботаж свертывался, но еще был силен. В Москву я прибыл на другой день после назначения меня комиссаром по военным делам.

Со своей средневековой стеной и бесчисленными золоченными куполами, Кремль, в качестве крепости революционной диктатуры, казался совершеннейшим парадоксом. Правда, и Смольный, где помещался раньше институт благородных девиц, не был прошлым своим предназначен для рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. До марта 1918 года я в Кремле никогда не бывал, как и вообще не знал Москвы, за исключением одного единственного здания: Бутыр-

ской пересыльной тюрьмы, в башне которой я провел шесть месяцев холодною зимою 98—99 г.г. В качестве посетителя можно бы созерцательно любоваться кремлевской стариной, дворцом Грозного и Грановитой Палатой. Но нам приходилось здесь поселяться надолго. Тесное повседневное соприкосновение двух исторических полюсов, двух непримиримых культур и удивляло и забавляло. Проезжая по торцовой мостовой мимо Николаевского дворца, я не раз поглядывал искоса на царь-пушку и царь-колокол. Тяжелое московское варварство глядело из бреши колокола и из жерла пушки. Принц Гамлет повторил бы на этом месте: «порвалась связь времен, зачем же я связать ее рожден?» Но в нас не было ничего гамлетического. Даже при обсуждении более важных вопросов Ленин нередко отпускал ораторам всего по две минуты. Размышлять о противоречиях развития запоздалой страны можно было, пожалуй, минуту-полторы, когда мчишься по касательной к кремлевскому прошлому с заседания на заседание, но не более того.

В кавалерском корпусе, напротив Потешного Дворца, жили до революции чиновники Кремля. Весь нижний этаж занимал сановный комендант. Его квартиру теперь разбили на несколько частей. С Лениным мы поселились через коридор. Столовая была общая. Кормились тогда в Кремле из рук вон плохо. Взамен мяса давали солонину. Мука и крупа были с песком. Только красной кетовой икры было в изобилии, вследствие прекращения экспорта. Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции.

Музыкальные часы на Спасской башне перестроили. Теперь старые колокола вместо «боже, царя храни» медлительно и задумчиво вызванивали каждые четверть часа Интернационал. Подъезд для автомобилей шел под Спасской башней, через сводчатый тунель. Над тунелем старинная икона с разбитый стеклом. Перед иконой давно потухшая лам-

пада. Часто при выезде из Кремля глаз упирался в икону, а ухо ловило сверху Интернационал. Над башней с ее колоколом возвышался по прежнему позолоченный двуглавый орел. Только корону с него сняли. Я советовал водрузить над орлом серп и молот, чтоб разрыв времени глядел с высоты Спасской башни. Но этого так и не удосужились сделать.

С Лениным мы по десятку раз на день встречались в коридоре и заходили друг к другу обменяться замечаниями, которые иногда затягивались минут на десять и даже на четверть часа, — а это была для нас обоих большая единица времени. У Ленина была в тот период разговорчивость, конечно, на ленинский масштаб. Слишком много было нового, слишком много предстояло неизвестного, приходилось перестраивать себя и других на новый лад. Была поэтому потребность от частного переходить к общему, и наоборот. Облачко брест-литовских разногласий рассеялось бесследно. Отношение Ленина ко мне и членам моей семьи было исключительно задушевное и внимательное. Он часто перехватывал наших мальчиков в корридоре и возился с ними.

В моей комнате стояла мебель из карельской березы. Над камином часы под амуром и психеей отбивали серебрянным голоском. Для работы все было неудобно. Запах досужего барства исходил от каждого кресла. Но и к квартире я подходил по касательной, тем более, что в первые годы приходилось только ночевать в ней в непродолжительные мои налеты с фронта в Москву.

Чуть ли не в первый день моего приезда из Питера мы разговаривали с Лениным, стоя среди карельской березы. Амур с психеей прервал нас певучим серебрянным звоном. Мы взглянули друг на друга, как бы поймав себя на одном и том же чувстве: из угла нас подслушивало притаившееся прошлое. Окруженные им со всех сторон, мы относились к нему без почтительности, но и без вражды, чуть-чуть иронически. Было бы неправильно сказать,

что мы привыкли к обстановке Кремля, — для этого слишком много было динамики в условиях нашего существования. «Привыкать» нам было некогда. Мы искоса поглядывали на обстановку, и про себя говорили иронически-поощрительно амурам и психеям: не ждали нас? ничего не поделаешь, привыкайте. Мы приучали обстановку к себе.

Низший состав оставался на местах. Они принимали нас с тревогой. Режим тут был суровый, крепостной, служба переходила от отца к сыну. Среди бесчисленных кремлевских лакеев и всяких иных служителей было немало старцев, которые прислуживали нескольким императорам. Один из них небольшой бритый старичек Ступишин, человек долга, был в свое время грозой служителей. Теперь младшие поглядывали на него со смесью старого уважения и нового вызова. Он неутомимо шаркал по корридорам, ставил на место кресла, сметал пыль, поддерживая видимость прежного порядка. За обедом нам подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой в придворных тарелках с орлами. «Что он делает, смотри?» шептал Сережа матери. Старик тенью ходил за креслами и чуть поворачивал тарелки то в одну, то в другую сторону. Сережа догадался первый: двуглавому орлу на борту тарелки полагается быть перед гостем по середине.

— Старичка Ступишина заметили? спрашивал я Ленина.

— Как же его не заметить, отвечал он с мягкой иронией.

Этих вырванных с корнями стариков было подчас жалко. Ступишин вскоре крепко привязался к Ленину, а после его перемещения в другое здание, ближе к совнаркому, перенес эту привязанность на меня и мою жену, заметив, что мы ценим порядок и уважаем его хлопоты.

Служительский персонал вскоре расформировали. Молодые быстро приспособлялись к новым порядкам. Ступишин не хотел переходить на пенсию. Его пере-

вели надсмотрщиком в большой дворец, превращенный в музей, и он часто приходил в Кавалерский корпус — «проведать». Ступишин дежурил позже во дворце перед андреевским залом, во время съездов и конференций. Вокруг него снова царил порядок и сам он выполнял ту же работу, что на царских или великокняжеских приемах, только теперь дело шло о Коммунистическом Интернационале. Он разделил судьбу часовых колоколов на Спасской башне, которые от царского гимна перешли к гимну революции. В 26-м году старик медлительно умирал в больнице. Жена посылала ему туда гостинцев, и он плакал от благодарности.

Советская Москва встретила нас хаосом. Тут оказался свой собственный совет народных комиссаров, под председательством историка Покровского, из всех людей на свете наименее приспособленного для этой роли. Власть московского совнаркома распространялась на московскую область, границы которой никто не умел определить. На севере к ней причислялась архангельская губерния, на юге — курская. Таким образом, мы в Москве открыли правительство, простиравшее свою власть, достаточно, впрочем, проблематическую, на главную часть советской территории. Исторический антагонизм между Москвой и Петроградом пережил октябрьский переворот. Москва была некогда большой деревней, Петроград — городом. Москва была помещичье-купеческой, Петроград — военно-чиновничьим. Москва считалась истинно-русской, славянофильской, хлебосольной, сердцем России. Петербург был безличным европейцем, эгоистом, бюрократическим мозгом страны. Москва стала текстильной, Петроград — металлостроительным. Такие противопоставления представляли собой литературные преувеличения действительных различий. Мы их сразу почувствовали. Местный патриотизм захватывал и коренных московских большевиков. Для улажения взаимоотношений с московским совнаркомом создана была комиссия под моим председатель-

ством. Это была курьезная работа. Мы терпеливо расчленяли областные комиссариаты, выделяя центру то, что ему принадлежало. По мере продвижения этой работы, выяснялось, что во втором московском правительстве надобности нет. Сами москвичи признали необходимость ликвидировать свой совнарком.

Московский период стал вторично в русской истории периодом собирания государства и создания органов управления им. Теперь уже Ленин нетерпеливо, иронически, иногда прямо издевательски отмахивался от тех, которые продолжали отвечать на все вопросы общими пропагандистскими формулами. «Да, что вы батенька, в Смольном, что ли?» наскакивал Ленин, сочетая свирепость с добродушием. «Совершеннейшей Смольный, — перебивал он оратора, говорившего не впопад, — опомнитесь, пожалуйста, мы уж не в Смольном, мы вперед ушли». Ленин никогда не жалел энергичных слов в догонку вчерашнему дню, когда нужно было подготовить завтрашний день. И в этой работе мы шли рука в руку. Ленин был очень аккуратен. Я, пожалуй, даже педантичен. Мы повели неутомимую борьбу с неряшливостью и распущенностью. Я провел строгие правила против запаздываний и неаккуратного открытия заседаний. Шаг за шагом порядок уступал место хаосу.

Перед заседаниями, на которых разбирались принципиальные вопросы или вопросы, приобретавшие важность вследствие столкновения ведомств, Ленин настаивал по телефону, чтоб я ознакомился заранее с вопросом. Современная литература о разногласиях Ленина и Троцкого перегружена апокрифами. Бывали, конечно, и разногласия. Но неизмеримо чаще бывало так, что мы приходили к одному и тому же выводу, обменявшись двумя словами по телефону или независимо друг от друга. Когда выяснялось, что мы с ним смотрим на вопрос одинаково, то уж ни он, ни я не сомневались, что проведем нужное решение. В тех случаях, когда Ленин опасался чьей-либо серьезной

оппозиции своим проектам, он напоминал мне по телефону: «непременно приходите на заседание, я вам дам слово первому». Я брал слово на несколько минут, Ленин раза два во время моей речи говорил «правильно», это предрешало вопрос. Не потому, чтобы другие боялись выступать против нас. Тогда и в помине не было нынешнего равнения по начальству и отвратительного страха скомпрометировать себя каким-нибудь неудобным словом или голосованием. Но чем меньше было бюрократического подобострастия, тем больше был авторитет руководства. При моем расхождении с Лениным могли вспыхнуть и вспыхивали иногда больше прения. В случае же нашего согласия, обсуждение бывало всегда очень кратким. Когда нам не удавалось сговориться заранее, мы обменивались во время заседания записочками. Если при этом обнаруживались расхождения, Ленин направлял прения к отсрочке вопроса. Записочка о несогласии с ним бывала иногда написана в шутливом тоне, и тогда Ленин при чтении ее как-то вскидывался всем телом. Он был очень смешлив, особенно когда уставал. Это в нем была детская черта. В этом мужественнейшем из людей вообще были детские черты. Я с торжеством наблюдал, как он забавно борется с приступом смеха, продолжая строго председательствовать. Его скулы выдавались тогда от напряжения еще более.

Военный комиссариат, где сосредоточивалась моя работа, не только военная, но и партийная, литературная и прочая, находился вне Кремля. В кавалерском корпусе оставалась только квартира. Сюда к нам никто не ходил. По делу являлись в комиссариат. Приходить же к нам «в гости» никому просто не могло притти в голову: для этого мы были слишком заняты. Со службы мы возвращались часам к пяти. К семи я уж снова бывал в комиссариате, где шли вечерние заседания. Когда революция устоялась, т. е. значительно позже, я вечерние часы посвящал теоретической и литературной работе.

Жена вошла в народный комиссариат просвещения, где заведывала музеями и памятниками старины. Ей приходилось бороться за памятники прошлого в обстановке гражданской войны. Это была не легкая задача. Ни белые, ни красные войска не склонны были очень заботиться об исторических усадьбах, провинциальных кремлях или старинных церквах. Таким образом, между военным ведомством и управлением музеев не раз возникали препирательства. Хранители дворцов и храмов обвиняли войска в недостаточном уважении к культуре, военные комиссары обвиняли хранителей в предпочтении мертвых вещей живым людям. Формально выходило так, что я нахожусь в непрерывных ведомственных препирательствах со своей женой. На эту тему было немало шуток.

С Лениным мы сносились теперь, главным образом, по телефону. Его звонки ко мне и мои к нему были очень часты, и касались самых разнообразных вопросов. Ведомства нередко досаждали ему жалобами на красную армию. Ленин тут же звонил ко мне. Через пять минут он спрашивал: не могу ли я познакомиться с новыми кандидатом в наркомы земледелия или инспекции, чтоб дать свой отзыв? Через час он интересовался, слежу ли я за теоретической полемикой о пролетарской культуре, и не собираюсь ли вмешаться, чтоб дать отпор Бухарину? Потом следовал вопрос: не может ли военное ведомство на южном фронте выделить грузовые автомобили для подвоза продовольствия к станциям? А еще через полчаса Ленин осведомлялся, в курсе ли я разногласий в шведской коммунистической партии? И так каждый день, когда я бывал в Москве.

С момента немецкого наступления поведение французов, по крайней мере более разумных, резко изменилось: они поняли всю глупость разговоров о нашей тайной сделке с Гогенцоллерном. Не менее ясно стало им, что воевать мы не можем. Некоторые из французских офицеров сами настаивали на подпи-

сании нами мира, чтобы выиграть время: такую мысль особенно рьяно защищал французский разведчик, аристократ-роялист, со вставным глазом, предложивший мне свои услуги для самых опасных поручений.

Генерал Лавернь, сменивший Нисселя, давал мне, в осторожной и вкрадчивой форме, советы, которые были мало полезны, но по форме доброжелательны. По его словам, французское правительство считается теперь с фактом заключения брестского мира и хочет лишь оказать нам вполне бескорыстную поддержку при строительстве армии. Он предлагал предоставить в мое распоряжение офицеров многочисленной французской миссии, возвращавшейся из Румынии. Два из них, полковник и капитан, поселились напротив здания военного комиссариата, чтобы быть всегда у меня под рукой. Каюсь, я подозревал, что они более компетентны в области военного шпионажа, чем военной администрации. Они представляли мне письменные доклады, которых я, в сутолоке тех дней, не успел просматривать.

Одним из эпизодов этого короткого «перемирия» явилось представление мне военных миссий Антанты. Их было много, и они были многочисленны по составу. В мой маленький кабинет пришло человек двадцать. Лавернь представлял их. Некоторые из них говорили маленькие любезности. Особенно отличился рыхлый итальянский генерал, который поздравил меня с успешной чисткой Москвы от бандитских элементов. «Теперь, сказал он с обворожительной улыбкой, в Москве можно жить так же спокойно, как во всех столицах мира». Я считал, что это несколько преувеличенно. Дальше мы решительно не знали, что сказать друг другу. Гости не решались встать и уйти. А я не знал, как мне отделаться от них. В конце концов генерал Лавернь вывел нас из затруднения, спросив, не стану ли я возражать, если военные представители не будут больше отнимать моего времени. Я ответил, что как ни жалко мне расстаться с таким избранным обществом, но возражать я не смею. У

каждого человека есть в жизни сцены, о которых он вспоминает с неловким смехом. Вот к числу таких сцен принадлежит и мое свидание с военными миссиями Антанты.

Военное дело поглощало главную и притом все возрастающую часть моего времени, тем более, что мне самому приходилось начинать с азбуки. В технической и оперативной областях я видел свою задачу прежде всего в том, чтобы поставить надлежащих людей на надлежащее место и дать им проявить себя. Политическая и организационная работа моя по созданию армии целиком сливалась с работой партии. Только на этом пути и возможен был успех.

Среди других партийных работников я застал в военном ведомстве военного врача Склянского. Несмотря на свою молодость — ему в 1918 году едва ли было 26 лет, — он выделялся своей деловитостью, усидчивостью, способностью оценивать людей и обстоятельства, т. е. теми качествами, которые образуют администратора. Посоветовавшись со Свердловым, который был незаменим в делах такого рода, я остановил свой выбор на Склянском, в качестве моего заместителя. Я никогда не имел впоследствии случая пожалеть об этом. Пост заместителя стал тем более ответственным, что большую часть времени я проводил на фронтах. Склянский председательствовал в мое отсутствие в Реввоенсовете, руководил всей текущей работой комиссариата, т. е., главным образом, обслуживанием фронтов, наконец, представлял военное ведомство в совете обороны, заседавшем под председательством Ленина. Если кого можно сравнивать с Лазарем Карно французской революции, то именно Склянского. Он был всегда точен, неутомим, бдителен, всегда в курсе дела. Большинство приказов по военному ведомству исходило за подписью Склянского. Так как приказы печатались в центральных органах и местных изданиях, то имя Склянского было известно повсюду. Как всякий серьезный и твердый администратор, он имел не мало противников. Его

даровитая молодость раздражала немало почтенных посредственностей. Сталин подзадоривал их за кулисами. Склянского аттаковали исподтишка, особенно в мое отсутствие. Ленин, который хорошо знал его по совету обороны, становился каждый раз за него горой. «Прекрасный работник, — повторял он неизменно, — замечательный работник». Склянский стоял в стороне от этих происков, он работал: слушал доклады интендантов; собирал справки у промышленности; подсчитывал число патронов, которых всегда не хватало; непрерывно куря, говорил по прямым проводам; вызывал к телефону начальников и составлял справки для совета обороны. Можно было позвонить в два часа ночи и в три, Склянский оказывался в комиссариате за письменным столом. — Когда вы спите? спрашивал я его — он отшучивался.

С удовлетворением вспоминаю, что военное ведомство почти не знало личных группировок и склок, так тяжко отзывавшихся на жизни других ведомств. Напряженный характер работы, авторитетность руководства, правильный подбор людей, без кумовства и снисходительности, дух требовательной лояльности, — вот что обеспечивало бесперебойную работу громоздкого, не очень стройного и очень разнородного по составу механизма. Во всем этом огромная доля принадлежала Склянскому.

Гражданская война отвела меня от работы в совнаркоме. Я жил в вагоне или в автомобиле. За недели и месяцы своих разъездов я слишком отрывался от текущих правительственных дел, чтобы входить в них во время своих коротких наездов в Москву. Важнейшие вопросы предрешались, однако, в политбюро. Иногда я приезжал специально на заседание политбюро по вызову Ленина, или наоборот, привезя с фронта ряд принципиальных вопросов, созывал через Свердлова экстренное заседание политбюро. Переписка моя с Лениным за эти годы была посвящена, главным образом, текущим вопросам гражданской войны: короткие записки или длинные телеграммы

дополняли предшествующие беседы или подготовляли будущие. Несмотря на деловую краткость, эти документы как нельзя лучше раскрывают картину действительных отношений внутри руководящей группы большевиков. С необходимыми комментариями я опубликую эту обширную переписку в ближайшем будущем. Она явится, в частности, убийственным опровержением работы историков сталинской школы.

Когда Вильсон затевал, в числе прочих своих худосочных профессорских утопий, умиротворительную конференцию всех правительств России, Ленин послал мне 24-го января 1919 года шифрованную телеграмму на южный фронт: «Вильсон предлагает перемирие и вызывает на совещание все правительства России... К Вильсону, пожалуй, придется поехать вам». Таким образом, эпизодическое разногласие в эпоху Бреста нисколько не помешало Ленину, когда на очередь встала большая дипломатическая задача, снова обратиться ко мне, несмотря на то, что я в тот период был целиком поглощен военной работой. Из миротворческой инициативы Вильсона, как известно, ничего не вышло, как и из всех прочих его планов, так что ехать мне не пришлось.

Как Ленин относился к моей военной работе, об этом наряду с сотнями свидетельств самого Ленина, есть очень красочный рассказ Максима Горького:

Ударив рукой по столу, он (Ленин) сказал: «А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. У нас все есть. И — чудеса будут».

В той же беседе Ленин, по словам Горького, сказал ему: «да, да, — я знаю. Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много, и, кажется, особенно много обо мне и Троцком». Что бы сказал на эту тему Ленин сегодня, когда вранье о наших с ним отношениях, вопреки фактам, документам и логике, возведено в государственный культ?

Когда я, на второй день после переворота, отказывался от комиссариата внутренних дел, я ссылался, между прочим, на национальный момент. В военном деле этот момент мог, казалось бы, представить еще больше осложнений, чем в гражданском управлении. Но Ленин оказался прав. В годы подъема революции вопрос этот не играл никакой роли. Белые пытались, правда, использовать в своей агитации внутри красной армии антисемитские мотивы, но успеха не имели. Об этом есть немало свидетельств в самой белой печати. В издающемся в Берлине «Архиве русской революции» автор-белогвардеец рассказывает следующий красочный эпизод: «Заехавший к нам повидаться казак, кем-то умышленно уязвленный тем, что ныне служит и идет на бой под командой жида — Троцкого, горячо и убежденно возразил: «Ничего подобного!.. Троцкий не жид. Троцкий боевой!.. Наш... Русский... А вот Ленин, тот коммунист... жид, а Троцкий наш... боевой... Русский... Наш!».

Подобный же мотив можно найти у Бабеля, талантливейшего из наших молодых писателей, в его «Конармии». Вопрос о моем еврействе стал получать значение лишь с начала политической травли против меня. Антисемитизм поднимал голову одновременно с антитроцкизмом. Оба они питались из одного и того же источника: мелкобуржуазной реакции против Октября.

ГЛАВА XXXI

Переговоры в Бресте

Декрет о мире был принят съездом советов 26 октября, когда в наших руках был только Петроград. 7 ноября я по радиотелеграфу обратился к государствам Антанты и центральным империям с предложением заключить общий мир. Союзные правительства

заявили через своих агентов главнокомандующему генералу Духонину, что дальнейшие шаги по пути сепаратных переговоров поведут за собою «тягчайшие последствия». Я ответил на эту угрозу воззванием ко всем рабочим, солдатам и крестьянам. Смысл воззвания был категоричен: мы свалили свою буржуазию не для того, чтобы наша армия проливала свою кровь из-под палки иностранной буржуазии. 22 ноября нам было подписано соглашение о приостановке военных действий на всем фронте, от Балтийского моря до Черного. Мы снова обратились к союзникам с предложением вести вместе с нами мирные переговоры. Ответа мы не получили, но и угроз больше не было. Кое-что правительства Антанты успели понять. Мирные переговоры начались 9 декабря, через полтора месяца после принятия декрета о мире: срок совершенно достаточный для того, чтобы страны Антанты могли определить свое отношение к вопросу. Наша делегация внесла с самого начала программное заявление об основах демократического мира. Противная сторона потребовала перерыва заседания. Возобновление работ откладывалось все далее и далее. Делегации четверного союза испытывали всякого рода внутренние затруднения при формулировке ответа на нашу декларацию. 25 декабря ответ был дан. Правительства четверного союза «присоединились» к демократической формуле мира: без аннексий и контрибуций на началах самоопределения народов. 28 декабря в Петрограде произошла колосальная демонстрация в честь демократического мира. Не доверяя немецкому ответу, массы все же поняли его, как огромную моральную победу революции. На другое утро наша делегация привезла нам из Брест-Литовска те чудовищные требования, которые Кюльман предъявил от имени центральных империй. «Для затягивания переговоров нужен затягиватель», говорил Ленин. По его настоянию я отправился в Брест-Литовск. Признаюсь, я ехал, как на пытку. Среда чужих и чуждых людей всегда пугала меня, а здесь особенно.

Я совершенно не могу понять тех революционеров, которые охотно становятся посланниками и в новой среде плавают, как рыба в бассейне.

Первую советскую делегацию, которую возглавлял Иоффе, в Брест-Литовске охаживали со всех сторон. Баварский принц Леопольд принимал их, как своих «гостей». Обедали и ужинали все делегации вместе. Генерал Гофман должен был не без интереса глядеть на имя Биценко, которая некогда убила генерала Сахарова. Немцы рассаживались вперемежку с нашими и старались «дружески» вынудить, что им было нужно. В состав первой делегации входили рабочий, крестьянин и солдат. Это были случайные фигуры, мало подготовленные к таким козням. Старика-крестьянина за обедом даже слегка подпаивали.

Штаб генерала Гофмана издавал для пленных газету «Русский Вестник», которая на первых порах отзывалась о большевиках не иначе, как с трогательной симпатией. «Наши читатели — рассказывал Гофман русским пленным — нас спрашивают, кто такой Троцкий?» и он с умилением сообщал им о моей борьбе с царизмом и о моей немецкой книге Russland in der Revolution. «Весь революционный мир восторгался его удавшимся побегом!» И далее: «Когда был низвержен царизм, тайные друзья царизма, вскоре после возвращения Троцкого из долголетней ссылки, посадили его в тюрьму». Словом, не было более пламенных революционеров, чем Леопольд Баварский и Гофман Прусский. Эта идиллия длилась недолго. В заседании брестской конференции 7 февраля, менее всего напоминавшем идиллию, я заметил, оглядываясь назад: «Мы готовы сожалеть о тех преждевременных комплиментах, которые делала официальная германская и австро-венгерская печать по нашему адресу. Это совершенно не требовалось для успешного хода мирных переговоров».

Социалдемократия и в этом вопросе была лишь тенью гогенцоллернского и габсбургского правитель-

ства. Шейдеман, Эберт и другие пытались вначале похлопывать нас покровительственно по плечу. Венская Arbeiter Zeitung патетически писала 15 декабря, что «поединок» между Троцким и Бьюкененом есть символ великой борьбы нашего времени: «борьба пролетариата с капиталом». В те дни, когда Кюльман и Чернин брали в Бресте за горло русскую революцию, австромарксисты видели только «поединок» Троцкого с... Бьюкененом. И сейчас нельзя без отвращения вспоминать об этом лицемерии. «Троцкий — так писали габсбургские марксисты — уполномоченный мирной воли русского рабочего класса, стремящегося разорвать железно-золотую цепь, которой его заковал английский капитал». Руководители социалдемократии добровольно сидели на цепи австрогерманского капитала и помогали своему правительству насильственно надеть эту цепь на русскую революцию. В самые трудные времена Бреста, когда мне или Ленину попадались на глаза номер берлинского «Vorwärts'a» или венской «Arbeiter-Zeitung», мы молча показывали друг друга отмеченные цветным карандашом строки, мельком взглядывали друг на друга и отводили глаза с непередаваемым чувством стыда за этих господ, которые как-никак еще вчера были нашими товарищами по Интернационалу. Кто сознательно прошел через эту полосу, тот навсегда понял, что, каковы бы ни были колебания политической конъюнктуры, социалдемократия исторически мертва.

Чтобы положить конец неуместному маскараду, я поставил в нашей печати вопрос, не расскажет ли немецкий штаб немецким солдатам чего-нибудь насчет Карла Либкнехта и Розы Люксембург? На эту тему мы выпустили воззвание к немецким солдатам. «Вестник» генерала Гофмана прикусил язык. Гофман, сейчас же после моего прибытия в Брест, поднял протест против нашей пропаганды в немецких войсках. Я отклонил на этот счет разговоры, предлагая генералу продолжать его собственную пропаганду в русских

войсках: условия равны, разница только в характере пропаганды. Я напомнил при этом, что несхожесть наших взглядов на некоторые немаловажные вопросы давно известна и даже засвидетельствована одним из германских судов, приговорившим меня во время войны заочно к тюремному заключению. Столь неуместное напоминание произвело впечатление величайшего скандала. У многих из сановников перехватило дыханье. Кюльман (обращаясь к Гофману): «Угодно вам слово?». Гофман: «Нет, довольно».

В качестве председателя советской делегации, я решил резко оборвать фамильярные отношения, незаметно сложившиеся в первый период. Через наших военных я дал понять, что не намерен представляться баварскому принцу. Это было принято к сведению. Я потребовал раздельных обедов и ужинов, сославшись на то, что нам во время перерывов необходимо совещаться. И это было принято молчаливо. 7-го января Чернин записал в своем дневнике: «Перед обедом приехали все русские под руководством Троцкого. Они сейчас дали знать, что извиняются, если впредь не будут появляться на общих трапезах. И вообще их не видно, — на этот раз дует как-будто значительно иной ветер, чем в последний раз» (стр. 316). Фальшиво-дружественные отношения сменились сухо-официальными. Это было тем более своевременно, что от академических прелиминариев надо было переходить к конкретным вопросам мирного договора.

Кюльман был головою выше Чернина, да, пожалуй, и других дипломатов, с которыми мне приходилось встречаться в послевоенные годы. В нем чувствовался характер, недюжинный практический ум и достаточный запас злости, которую он расходовал не только против нас — здесь он наталкивался на отпор, — но и против своих дорогих союзников. Когда, при обсуждении вопроса об оккупированных войсками территориях, Кюльман, выпрямляясь и повышая голос, произнес: «Наша, германская территория, сла-

ва богу, нигде и никем не оккупирована», то граф Чернин сразу уменьшился в размерах и позеленел. Кюльман метил именно в него. Их отношения меньше всего напоминали безмятежную дружбу. Позже, когда разговор перешел на Персию, оккупированную с двух сторон иностранными войсками, я заметил, что так как Персия ни с кем не состоит в союзе, как Австро-Венгрия, то она никому из нас не дает повода для благочестивого злорадства по поводу того, что оккупирована персидская земля, а не наша собственная. Чернин даже привскочил с возгласом «unerhört» (неслыханно). По форме этот возглас относился ко мне, по существу — к Кюльману. Таких эпизодов было не мало.

Как хороший шахматист, вынужденный долго играть со слабыми игроками, опускается сам, так и Кюльман, вращавшийся в течение войны исключительно в кругу своих австро-венгерских, турецких, болгарских и нейтральных дипломатических вассалов, склонен был вначале недооценивать своих революционных противников и вести игру спустя рукава. Он нередко поражал меня, особенно на первых порах, примитивностью приемов и непониманием психологии противника.

Не без острого и неприятного волнения шел я на первое свидание с дипломатами. В передней у вешалки я столкнулся с Кюльманом. Я его не знал. Он сам представился и тут же прибавил, что «очень рад» моему приезду, так как лучше иметь дело с господином, чем с посланцом его. Игра его физиономии свидетельствовала, что он очень доволен этим «тонким» ходом, рассчитанным на психологию выскочки. У меня было такое чувство, точно я наступил ногою на что-нибудь нечистое. Я даже отпрянул невольно на шаг назад. Кюльман понял свою оплошность, насторожился, и его тон сразу стал суше. Это не помешало ему повторить при мне подобный же прием в отношении главы турецкой делегации, старого дворцового дипломата. Представляя мне своих коллег,

Кюльман выждал, когда глава турецкой делегации отошел на шаг, и сказал конфиденциальным полушопотом, с явным расчетом на то, что тот его услышит: «это лучший дипломат Европы». Когда я рассказал об этом Иоффе, он со смехом ответил: «При первой встрече со мной Кюльман сделал точь в точь то же самое». Было очень похоже на то, что Кюльман дает «лучшему дипломату» платоническую компенсацию за какие-то неплатонические вымогательства. Возможно, что Кюльман достигал этим и побочной цели, давая понять Чернину, что отнюдь не считает его лучшим дипломатом — после себя. 23-го декабря Кюльман, по словам Чернина, сказал ему: «Император единственно разумный человек во всей Германии». Надо полагать, что эти слова предназначались не столько для Чернина, сколько для самого императора. В передаче лести по надлежащему адресу дипломаты оказывали несомненно друг другу взаимные услуги. Flattez, flattez, il en restera toujours quelque chose.

С этим кругом людей я столкнулся лицом к лицу впервые. Незачем говорить, что я и раньше не делал себе на их счет никаких иллюзий. Я догадывался, что не боги горшки обжигают. Но все же, признаться, я представлял себе уровень повыше. Впечатление первой встречи я мог бы формулировать словами: люди очень дешево ценят других и не так уж дорого — себя.

В этой связи нелишним будет рассказать следующий эпизод. По инициативе Виктора Адлера, который пытался всячески выразить мне в те дни свое личное сочувствие, граф Чернин предложил мне, мимоходом, прислать в Москву мою библиотеку, оставшуюся в Вене еще в начале войны. Библиотека представляла некоторый интерес, так как за долгие годы эмиграции я собрал обширную коллекцию русской революционной литературы. Не успел я сдержанно поблагодарить дипломата за предложение, как он тут же попросил обратить внимание на двух австрийских пленных, с которыми у нас будто бы дурно обраща-

ются. Прямой и, я бы сказал, подчеркнутый переход от библиотеки к пленным, — речь, конечно, шла не о солдатах, а об офицерах из близкого графу Чернину круга, —показался мне слишком бесцеремонным. Я сухо ответил, что если сведения Чернина о пленных верны, то я, по обязанности, сделаю все, что должно, но что этот вопрос не стоит ни в какой связи с моей библиотекой. В своих мемуарах Чернин довольно верно передает этот эпизод, отнюдь не отрицая того, что пытался вопрос о пленных связать с библиотекой; наоборот, ему это кажется, видимо, в порядке вещей. Свой рассказ он заканчивает двусмысленной фразой: «библиотеку он хочет иметь» (стр. 320). Мне остается только прибавить, что немедленно по получении я передал библиотеку одному из научных учреждений Москвы.

Исторические обстоятельства сложились так, что делегатам самого революционного режима, который когда-либо знало человечество, пришлось заседать за общим дипломатическим столом с представителями самой реакционной касты среди всех правящих классов. Насколько наши противники боялись взрывчатой силы переговоров с большевиками, свидетельствует тот факт, что они готовы были скорее оборвать переговоры, чем перенести их в нейтральную страну. В своих воспоминаниях Чернин прямо говорит, что в нейтральной стране большевики, при помощи своих международных друзей, неизбежно захватили бы вожжи в свои руки. Официально Чернин сослался на то, что в нейтральной среде Англия и Франция развернули бы немедленно свои интриги, «как открыто, так и за кулисами». Я ответил ему, что — наша политика обходится вообще без кулис, так как это орудие старой дипломатии радикально упразднено русским народом, наряду со многими другими вещами, в победоносном восстании 25 октября. Но нам пришлось склониться перед ультиматумом и остаться в Брест-Литовске.

За вычетом нескольких зданий, стоявших в сто-

роне от старого города и занятых немецким штабом, Брест-Литовска собственно не существовало более. Город был сожжен в бессильной злобе царскими войсками при отступлении. Именно поэтому Гофман, очевидно, и расположил здесь свой штаб, чтоб легче держать его в кулаке. Обстановка, как и пища, отличались простотой. Прислуживали немецкие солдаты. Мы были для них вестниками мира, и они глядели на нас с надеждой. Вокруг зданий штаба шла в разных направлениях высокая изгородь из колючей проволоки. Во время утренней прогулки я натыкался на надписи: «Застигнутый здесь русский будет застрелен». Это относилось к пленным. Я спрашивал себя, относится ли надпись так же и ко мне — мы были наполовину в плену, — и поворачивал назад. Через Брест проходило прекрасное стратегическое шоссе. Мы совершали в первые дни прогулки в штабных автомобилях. Но у одного из членов делегации вышел на этой почве конфликт с немецким унтер-офицером. Гофман пожаловался мне письмом. Я ответил ему, что мы с благодарностью отклоняем впредь пользование предоставленными нам автомобилями. Переговоры тянулись. И нам и нашим противникам приходилось сноситься по прямому проводу со своими правительствами. Провод нередко отказывался служить. Всегда ли действительно виною были физические причины, или же бывали мнимые повреждения, вызывавшиеся стремлением противника выиграть темп, этого мы не могли проверить. Перерывы заседаний бывали во всяком случае часто и длились иногда по несколько дней. Во время одного из таких перерывов я совершил поездку в Варшаву. Город жил под немецким штыком. Интерес населения к советским дипломатам был очень велик, но выражался осторожно: никто не знал, чем все это кончится.

Затягивание переговоров было в наших интересах. Для этой цели я собственно и поехал в Брест. Но я не могу приписать себе в этом отношении никакой заслуги. Мои партнеры помогали мне, как могли.

«Времени тут достаточно — меланхолически заносит Чернин в свой дневник, — то турки не готовы, то опять болгары, то русские тянут, — и заседания снова отлагаются, или же едва начавшись, обрываются». Австрийцы стали в свою очередь затягивать переговоры, когда наткнулись на затруднения со стороны украинской делегации. Это нисколько не мешало, разумеется, Кюльману и Чернину в своих публичных выступлениях обвинять в затягиваньи переговоров исключительно русскую делегацию, против чего я настойчиво, но тщетно протестовал.

От неуклюжих комплиментов официозной немецкой печати по адресу большевиков, — а кроме нелегальных листков вся печать имела тогда официозный характор, — не осталось к концу переговоров и следа. «Tägliche Rundschau», например, не только жаловалась на то, что «в Брест-Литовске Троцкий создал себе кафедру, с которой его голос раздается по всему миру», призывая как можно скорее с этим покончить, но и прямо заявляла, что «ни Ленин, ни Троцкий не желают мира, который им, по всей вероятности, сулит виселицу или тюрьму». Таков же был по существу и тон социалдемократической печати. Шейдеманы, Эберты и Штампферы главное наше преступление видели в наших рассчетах на германскую революцию. Эти господа были бесконечно далеки от мысли, что революция через несколько месяцев возьмет их за шиворот и поставит у власти.

После длительного перерыва я с большими интересом читал в Бресте немецкие газеты, в которых брестские переговоры подвергались очень тщательной и тенденциозной обработке. Но одни газеты не заполняли времени. Я решил более широко использовать невольные досуги, которых, как можно было предвидеть, не скоро дождаться вновь. С нами было несколько хороших стенографисток из старого штата Государственный Думы. Я стал им диктовать по памяти исторический очерк октябрьского переворота. Так в несколько приемов выросла целая книжка,

предназначенная прежде всего для иностранных рабочих. Необходимость объяснить им то, что произошло, была слишком повелительной. Мы говорили об этом с Лениным не раз, но ни у кого не было свободной минуты. Меньше всего я ждал, что Брест станет для меня местом литературной работы. Ленин был буквально счастлив, когда я привез с собой готовую рукопись об октябрьской революции. Мы одинаково видели в ней один из скромных залогов будущего революционного реванша за тяжкий мир. Книжка была вскоре переведена на дюжину европейских и азиатских языков. Несмотря на то, что все партии Коминтерна, начиная с русской, выпускали эту книжку в бесчисленных изданиях, это не помешало эпигонам объявить ее после 1923 года злокачественным продуктом троцкизма. Сейчас она входит в состав сталинского индекса запрещенных книг. В этом второстепенном эпизоде находит одно из многих своих выражений идейная подготовка термидора. Для его победы необходимо прежде всего перерезать пуповину октябрьской преемственности...

Дипломаты противной стороны тоже находили способы заполнить слишком продолжительные брестские досуги. Граф Чернин, как мы узнаем из его дневника, не только ездил на охоту, но и расширял свой кругозор чтением мемуаров из эпохи французской революции. Он сравнивал большевиков с якобинцами и пытался таким путем придти к утешительным выводам. Габсбургский дипломат писал: «Шарлота Кордэ сказала: „Не человека я убила, а дикого зверя". — Эти большевики снова исчезнут, и кто знает, не найдется ли Кордэ для Троцкого» (стр. 310). Я, конечно, не знал в те дни об этих душеспасительных размышлениях благочестивого графа. Но я охотно верю их искренности.

Может показаться на первый взгляд непонятным, на что собственно рассчитывала германская дипломатия, предъявляя свои демократические формулы 25-го декабря только затем, чтобы через не-

сколько дней предъявить свои волчьи аппетиты? По меньшей мере рискованными были для немецкого правительства теоретические прения о национальном самоопределении, которые развернулись в значительной мере по инициативе самого Кюльмана. Что на этом пути дипломатия Гогенцоллерна не может пожать больших лавров, должно было быть заранее ясным для нее самой. Так, Кюльман хотел во что бы то ни стало доказать, что захват Польши, Литвы, Прибалтики и Финляндии со стороны Германии есть ни что иное, как форма «самоопределения» этих народов, так как воля их выражается через — «национальные» органы, созданные... немецкими оккупационными властями. Доказать это было не легко. Но Кюльман не слагал оружия. Он настойчиво спрашивал меня, неужели же я не соглашусь признать, например, низама гайдерабадского выразителем воли индусов? Я отвечал, что первым делом из Индии должны убраться британские войска, и что вряд ли после этого почтенный низам простоит на ногах более 24-х часов. Кюльман неучтиво пожимал плечами. Генерал Гофман хмыкал на весь зал. Переводчик переводил. Стенографистки записывали. Прения тянулись без конца.

Секрет поведения немецкой дипломатии состоял в том, что Кюльман был, повидимому, заранее твердо убежден в нашей готовности играть с ним в четыре руки. Он рассуждал при этом приблизительно так: Большевики получили власть, благодаря своей борьбе за мир. Удержаться у власти они могут только при условии заключения мира. Правда, они связали себя демократическими условиями. Но зачем же существуют на свете дипломаты? Он, Кюльман, возвратит большевикам их революционные формулы в приличном дипломатическом переводе, большевики дадут ему возможность в замаскированном виде завладеть провинциями и народами. В глазах всего мира немецкий захват получит санкцию русской революции. Большевики же получат мир. Заблуждению Кюльмана со-

действовали несомненно наши либералы, меньшевики и народники, которые заблаговременно изображали брестские переговоры, как комедию с заранее распределенными ролями.

Когда мы слишком недвусмысленно показали нашим брестским партнерам, что для нас дело идет не о лицемерном прикрытии закулисной сделки, а о принципах сожительства народов, Кюльман, уже связавший себя своей исходной позицией, воспринял наше поведение почти как нарушение молчаливого договора, существовавшего только в его воображении. Он ни за что не хотел сходить с почвы демократических принципов 25 декабря. Полагаясь на свою незаурядную казуистику, он надеялся на глазах всего мира показать, что белое ничем не отличается от черного. Граф Чернин неуклюже секундировал Кюльману, и, по поручению последнего, брал на себя во все критические моменты внесение наиболее резких и циничесиких заявлений. Этим он надеялся прикрыт свою слабость. Зато генерал Гофман вносил в переговоры освежающую ноту. Не обнаруживая никакой симпатии к дипломатическим ухищрениям, генерал несколько раз клал свой солдатский сапог на стол, вокруг которого развертывались прения. Мы, с своей стороны, ни на минуту не сомневались, что именно сапог Гофмана является единственной серьезной реальностью в этих переговорах.

Иногда, впрочем, генерал врывался и в чисто политические прения. Но он делал это на свой лад. Выведенный из себя тягучими разглагольствованиями о самоопределении народов, он явился в одно прекрасное утро — это было 14-го января — с портфелем, битком набитым русскими газетами, преимущественно эсеровского направления. Гофман свободно читал по русски. Короткими рубленными фразами, не то огрызаясь, не то командуя, генерал обвинял большевиков в подавлении свободы слова и собраний, в нарушении принципов демократии и с полным

одобрением цитировал статьи русской террористической партии, которая, начиная с 1902 г., немалое число русских единомышленников Гофмана отправила на тот свет. Генерал негодующе обличал нас в том, что наше правительство опирается на силу. В его устах это звучало поистине великолепно. Чернин записал в своем дневнике: «Гофман произнес свою несчастную речь. Уж несколько дней он работает над ней и был очень горд ее успехом» (стр. 322). Я ответил Гофману, что в классовом обществе всякое правительство опирается на силу. Разница лишь в том, что генерал Гофман применяет репрессии для защиты крупных собственников, мы — для защиты трудящихся. На несколько минут мирная конференция превращалась в кружок марксистской пропаганды для начинающих. То, что поражает и отталкивает правительства других стран в наших действиях, — говорил я, — это тот факт, что мы арестуем не стачечников, а капиталистов, которые подвергают рабочих локауту, — тот факт, что мы не расстреливаем крестьян, требующих землю, но арестуем тех помещиков и офицеров, которые пытаются расстреливать крестян». Лицо Гофмана принимало багровый оттенок. После каждого такого эпизода Кюльман, со злорадной любезностью, спрашивал Гофмана, желает ли он еще высказаться на затронутую тему. Генерал отвечал отрывисто: «нет, довольно!» и гневно глядел в окно. В обществе гогенцоллернских, габсбургских, султанских и кобургских дипломатов, генералов и адмиралов, прения о роли революционного насилия имели поистине ни с чем несравнимый аромат. Некоторые из титулованных и украшенных орденами господ только и делали во время переговоров, что недоумевающе переводили глаза с меня на Кюльмана или на Чернина. Они хотели, чтоб кто-нибудь, ради бога, объяснил им: как все это надлежит понимать? За кулисами Кюльман несомненно втолковывал им, что наше существование измеряется неделями, что надо этим коротким сроком воспользоваться для заключе-

ния «немецкого» мира, последствия которого придется уже нести преемникам большевиков.

В плоскости принципиальных дебатов моя позиция была настолько же выгоднее позиции Кюльмана, насколько позиция генерала Гофмана в плоскости военных фактов была выгоднее моей. Вот почему генерал нетерпеливо порывался сводить все вопросы к соотношению сил, тогда как Кюльман тщетно пытался миру, построенному на основе военной карты, придать видимость мира, построенного на каких-то принципах. Чтоб смягчить значение заявлений Гофмана, Кюльман сказал, однажды, что солдат выражается по необходимости крепче, чем дипломат. Я ответил, что «мы, члены российской делегации, не принадлежим к дипломатической школе, а скорее можем считаться солдатами революции», и поэтому предпочитаем грубый язык солдата. Нужно, впрочем, сказать, что дипломатическая вежливость самого Кюльмана была очень условна. Задача, которую он себе ставил, была явно неразрешима . . . без содействия с нашей стороны. Но этого то и не хватало. «Мы, революционеры — разъяснял я Кюльману, — но мы и реалисты, и мы предпочитаем прямо говорить об аннексиях, нежели подменивать подлинное название псевдонимом». Немудренно, если время от времени Кюльман сбрасывал с себя дипломатическую маску и злобно огрызался. И сейчас помню, с какой интонацией он сказал, что Германия искренно стремится к восстановлению дружественных отношений со своим могущественным восточным соседом. Слово «могущественный» было произнесено с таким вызывающим издевательством, что всех, даже союзников Кюльмана, слегка передернуло. Чернин к тому же смертельно боялся разрыва переговоров. Я поднял перчатку и снова напомнил то, что сказал в первый своей речи. «У нас нет ни возможности, ни намерения — говорил я 10-го января — оспаривать то обстоятельство, что наша страна ослаблена политикой господствовавших у нас до недавнего времени классов. Но мировое по-

ложение страны определяется не только сегодняшним состоянием ее технического аппарата, но и заложенными в ней возможностями, подобно тому, как хозяйственная мощь Германии не может измеряться одним лишь нынешним состоянием ее продовольственных средств. Широкая и дальновидная политика опирается на тенденции развития, на внутренние силы, которые, раз пробужденные к жизни, проявят свое могущество днем раньше или позже».

Через неполных девять месяцев после того, 3 октября 1918 года, напоминая о брест-литовском вызове Кюльмана, я говорил на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета: «ни в ком из нас нет сейчас ни капли злорадства по поводу того, что Германия переживает колоссальную катастрофу». Нет надобности доказывать, что значительная доля этой катастрофы была подготовлена в Бресте немецкой дипломатией, военной, как и штатской.

Чем точнее мы формулировали наши вопросы, тем больший перевес получал Гофман над Кюльманом. Они уже перестали скрывать свой антагонизм, особенно генерал. Когда в своем ответе на его очередную атаку, я упомянул, без задней мысли, о германском правительстве, Гофман прервал меня хриплым от злобы голосом: «Я представляю здесь не германское правительство, а высшее немецкое командование». Это прозвучало, как звон разбитого камнем стекла. Я обвел глазами моих партнеров по ту сторону стола. Кюльман сидел с перекошенным лицом и глядел под скатерть. На лице Чернина конфуз боролся со злорадством. Я ответил, что не считаю себя призванным судить о взаимоотношениях между правительством германской империи и ее командованием, но что я уполномочен вести переговоры только с правительством. Кюльман со скрежетом зубовным принял мое заявление к сведению и присоединился к нему.

Было бы, конечно, наивным преувеличивать глубину разногласий дипломатии и командования. Кюль-

ман доказывал, что оккупированные области уже «самоопределились» в пользу Германии через свои полномочные национальные органы. Гофман же, с своей стороны, пояснял, что за отсутствием в этих областях полномочных органов не может быть и речи о выводе немецких войск. Доводы были диаметрально противоположны, зато практический вывод одинаков. В связи с этим вопросом Кюльман пустился на уловку, которая с первого взгляда может показаться невероятной. В оглашенном фон Розенбергом письменном ответе на ряд поставленных нами вопросов говорилось, что немецкие войска не могут быть выведены из оккупированных областей до окончания войны на западном фронте. Из этого я сделал вывод, что войска будут выведены после окончания войны и потребовал уточнения срока. Кюльман пришел в крайне возбужденное состояние. Он, очевидно, надеялся на усыпляющее действие своей формулы; другими словами, аннексию он хотел прикрыть при помощи ... каламбура. Когда это не удалось, он, при содействии Гофмана, разъяснил, что войска не будут выведены ни до, ни после. Без надежды на успех я сделал в конце января попытку получить согласие австро-венгерского правительства на мою поездку в Вену для переговоров с представителями австрийского пролетариата. Больше всего испугалась мысли о такой поездке, надо думать, австрийская социалдемократия. Я получил, разумеется, отказ, мотивированный, как это ни невероятно, отсутствием у меня полномочий для такого рода переговоров. Я ответил следующим письмем на имя Чернина:

«Господин Министр! Препровождая при сем в копии письмо г. легационс-советника графа Чакки от 26 с. м., являющееся, повидимому, ответом Вашим на мою телеграмму от 24 с. м., я настоящим довожу до Вашего сведения, что содержащийся в этом письме отказ в разрешении мне поездки в Вену для ведения переговоров с представителями австрийского пролетариата в интересах достижения демократического мира

мною принят к сведению. Я принужден констатировать, что соображениями формального характера в этом ответе прикрывается нежелание допустить личные переговоры между представителями рабоче-крестьянского правительства России и пролетариата Австрии. Что касается содержавшейся в мотивировочной части письма ссылки на отсутствие у меня для таких переговоров необходимых полномочий, — ссылки, недопустимой ни по форме, ни по существу, — то я хотел бы обратить внимание Ваше, Господин Министр, на то обстоятельство, что право определения объема и характера моих полномочий принадлежит исключительно моему правительству».

В последний период переговоров главным козырем в руках Кюльмана и Чернина явилось самостоятельное и враждебное Москве выступление киевской Рады. Ее вожди представляли собою украинскую разновидность керенщины. Они мало чем отличились от своего великорусского образца. Разве лишь были еще более провинциальны. Брестские делегаты Рады были самой природой созданы для того, чтобы любой капиталистический дипломат водил их за нос. Не только Кюльман, но и Чернин занимался этим делом со снисходительной брезгливостью. Демократические простачки не чувствовали земли под собою при виде того, что солидные фирмы Гогенцоллерна и Габсбурга берут их в серьез. Когда глава украинской делегации Голубович, подав очередную реплику, садился на стул, тщательно раздвигая длинные полы черного сюртука, возникало опасение, что он растает на месте от кипевшего в нем восхищения.

Чернин подбил украинцев, как он сам рассказывает в своем дневнике, выступить против советской делегации с открыто враждебным заявлением. Украинцы переусердствовали. В течение четверти часа их оратор нагромождал грубость на наглость, ставя в затруднительное положение добросовестного немецкого переводчика, которому нелегко было настроиться

по этому камертону. Изображая эту сцену, габсбургский граф повествует о моей растерянности, бледности, судороге, о каплях холодного пота и пр. Если отбросить преувеличения, то нужно признать, что сцена действительно была из самых тяжких. Тяжесть ее состояла, однако, совсем не в том, как думает Чернин, что соотечественники оскорбляли нас в присутствии иностранцев. Нет, невыносимым было исступленное самоунижение как-никак представителей революции пред презиравшими их чванными аристократами. Высокопарная низость, захлебывающееся от восторга лакейство било фонтаном из этих несчастных национальных демократов, приобщившихся на миг к власти. Кюльман, Чернин, Гофман и прочие жадно дышали, как игроки на скачках, которые поставили свою ставку на надлежащую лошадь. Оглядываясь на своих покровителей после каждой фразы, за поощрением, украинский делегат считывал со своей бумажки все те ругательства, которые его делегация заготовила в течение 48 часов коллективного труда. Да, это была одна из самых гнусных сцен, которые мне пришлось пережить. Но под перекрестным огнем оскорблений и злорадных взглядов я не сомневался ни на минуту, что слишком усердные лакеи скоро будут выброшены за дверь торжествующими господами, которым, в свою очередь, придется вскоре очистить насиженные в течение столетий места...

В это время революционные советские отряды успешно продвигались по Украине, пробивая себе дорогу к Днепру. И как раз в тот день, когда нарыв созрел окончательно и стало ясно, что украинские делегаты договорились с Кюльманом и Черниным относительно продажи Украины, советскими войсками занят был Киев. На заданный Радеком по прямому проводу вопрос о положении украинской столицы, немец-телеграфист с промежуточной станции, не разобрав, с кем говорит, ответил: «Киев умер». 7-го февраля я довел до сведения делегаций центральных империй радиотелеграмму Ленина о том, что совет-

ские войска вступили в Киев 29-го января; что всеми покинутое правительство Рады скрылось; что Центральный Исполнительный Комитет Советов Украйны провозглашен высшей властью страны и переехал в Киев; что украинским правительством приняты: федеративная связь с Россией и полное единство в деле внутренней и внешней политики. На ближайшем заседании я сказал Кюльману и Чернину, что они договариваются с делегацией правительства, вся территория которого ограничивается пределами Брест-Литовска (по договору этот город отходил к Украине). Но немецкое правительство или, вернее, немецкое командование уже решило к этому моменту занять Украину своими войсками. Дипломатия центральных империй только заготовляла для немецких войск проходное свидетельство. Людендорф работал на славу, подготовляя агонию гогенцоллернской армии.

В те дни в одной из немецких тюрем сидел человек, которого политики социалдемократии обвиняли в безумном утопизме, а судьи Гогенцоллерна в государственной измене. Этот арестант писал: «Итог Бреста не нулевой, даже если теперь дело дойдет до мира грубой капитуляции. Благодаря русским делегатам Брест стал далеко слышной революционной трибуной. Он принес разоблачение центральных империй, разоблачение немецкой жадности, лживости, хитрости и лицемерия. Он вынес уничтожающий приговор мирной политике немецкого (социалдемократического) большинства, — политике, которая имеет не столько ханжеский, сколько цинический характер. Он оказался в силах развязать в разных странах значительные массовые движения. И его трагический последний акт — интервенция против революции, — заставил трепетать все фибры социализма. Время покажет, какая жатва созреет для нынешних триумфаторов из этого посева. Рады ей они не будут». (Karl Liebknecht, Politische Aufzeichnungen, Action Verlag, 1921, S. 51).

ГЛАВА XXXII

Мир

В течение всей осени делегаты с фронта являлись ежедневно в Петроградский Совет с заявлением, что если до 1 ноября не будет заключен мир, то сами солдаты двинутся в тыл добывать мир своими средствами. Это стало лозунгом фронта. Солдаты покидали окопы массами. Октябрьский переворот до некоторой степени приостановил это движение, но, разумеется, не надолго.

Солдаты, которые узнали, благодаря февральскому перевороту, что ими правила распутинская шайка, и что она втянула их в бессмысленную и подлую войну, не видели основания продолжать эту войну — только потому, что их очень просил об этом молодой адвокат Керенский. Они хотели домой — к семьям, к земле, к революции, которая обещала им землю и свободу, но пока что держала их в голодных и вшивых ямах фронта. Обидившийся на солдат, рабочих и крестьян Керенский назвал их за это «восставшими рабами». Он не понял малого: революция состоит именно в том, что рабы восстают и не хотят быть рабами.

Покровитель и вдохновитель Керенского, Бьюкенен имел неосторожность рассказать нам в своих мемуарах, чем для него и ему подобных была война и революция. Много месяцев спустя после Октября Бьюкенен в следующих словах описывал русский 1916 год, — страшный год поражений царской армии, расстройства хозяйства, хвостов, правительственной чехарды под командой Распутина. «В одной из прелестнейших вилл, которые мы посетили, — так повествует Бьюкенен о своей поездке в Крым в 1916 г., — мы не только были встречены хлебом и солью на серебряном блюде, но и нашли в автомобиле при отъезде ящик с дюжинами бутылок старого бургундского, достоинство которого я воспел. отведав его за

завтраком. Необыкновенно грустно оглядываться назад на эти счастливые (!) дни, отошедшие в вечность, думать о той нищете и страданиях, которые выпали на долю лиц, оказавших нам так много любезности и гостеприимства». (Стр. 160 русск. издания).

Бьюкенен имеет в виду не страдания солдат в окопах и голодных матерей в очередях, а страдания бывших владельцев прелестнейших крымских вилл, серебряных блюд и бургундского. Когда читаешь эти безмятежно-бесстыдные строки, то говоришь себе: не напрасно же была на свете октябрьская революция! Не напрасно она вымела не только Романовых, но и Бьюкенена с Керенским.

Когда я в первый раз проезжал через линию фронта на пути в Брест-Литовск, наши единомышленники в окопах не могли уже подготовить сколько-нибудь значительной манифестации протеста против чудовищных требований Германии: окопы были почти пусты. Никто не отваживался после экспериментов Бьюкенена-Керенского говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир во что бы то ни стало!.. Позже, в один из приездов из Брест-Литовска в Москву, я уговаривал одного из фронтовых представителей во В. Ц. И. К. поддержать нашу делегацию энергичной речью. «Невозможно, — отвечал он, — совершенно невозможно; мы не сможем вернуться в окопы, нас не поймут; скажут, что мы продолжаем обманывать, как Керенский...»

Невозможность продолжения войны была очевидна. На этот счет у меня не было и тени разногласий с Лениным. Мы с одинаковым недоумением глядели на Бухарина и других апостолов «революционной войны».

Но был еще вопрос, не менее важный: как далеко может зайти правительство Гогенцоллерна в борьбе против нас? В письме к одному из своих друзей граф Чернин писал в те дни, что если-б хватило силы, следовало бы не переговоры вести с большеви-

ками, а двинуть войска на Петербург и установить там порядок. В наличии злой воли недостатка не было. Но хватит ли силы? сможет ли Гогенцоллерн двинуть своих солдат против революции, которая хочет мира? Какое действие произвели на немецкую армию февральская, а затем и октябрьская революция? Как скоро это действие обнаружится? На эти вопросы еще не было ответа. Его надо было попытаться найти в процессе переговоров. А для этого необходимо было, как можно дольше затягивать переговоры. Нужно было дать европейским рабочим время воспринять, как следует, самый факт советской революции и, в частности, ее политику мира. Это было тем более важно, что пресса стран Антанты, вместе с русской соглашательской и буржуазной печатью заранее изображала мирные переговоры, как комедию с искусно распределенными ролями. Даже в Германии, среди тогдашней социал-демократической оппозиции, которая не прочь была свои немощи перенести на нас, ходили разговоры о том, что большевики находятся в соглашении с германскими правительством. Тем более вероподобной эта версия должна была казаться во Франции и Англии. Было ясно, что если антантовской буржуазии и социалдемократии удастся посеять в рабочих массах смуту на наш счет, то это чрезвычайно облегчит впоследствии военную интервенцию Антанты против нас. Я считал, поэтому, что до подписания сепаратного мира, если бы оно оказалось для нас совершенно неизбежным, необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое и бесспорное доказательство смертельной враждебности между нами и правящей Германией. Именно под влиянием этих соображений я пришел в Брест-Литовске к мысли о той политической демонстрации, которая выражалась формулой: войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем. Если немецкий империализм не сможет двинуть против нас войска, — так рассуждал я, — это будет означать, что мы одержали гигантскую победу с необозримыми послед-

ствиями. Если же удар против нас еще окажется для Гогенцоллерна возможным, мы всегда успеем капитулировать достаточно рано. Я посоветовался с другими членами делегации, в том числе с Каменевым, встретил с их стороны сочувствие и написал Ленину. Он ответил: когда приедете в Москву, поговорим.

— Было бы так хорошо, что лучше не надо, — отвечал Ленин на мои доводы, — если бы генерал Гофман оказался не в силах двинуть свои войска против нас. Но на это надежды мало. Он найдет для этого специально подобранные полки из баварских кулаков. Да и много ли против нас надо? Вы сами говорите, что окопы пусты. А если немцы возобновят войну?

— Тогда мы вынуждены будем подписать мир. Но тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с Гогенцоллерном.

— Конечно, тут есть свои плюсы. Но это слишком рискованно. Если бы мы должны были погибнуть для победы германской революции, мы были бы обязаны это сделать. Германская революция неизмеримо важнее нашей. Но когда она придет? Неизвестно. А сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция. Ее надо обезопасить во что бы то ни стало.

К трудностям самого вопроса присоединились еще крайние затруднения внутрипартийного порядка. В партии, по крайней мере, в ее руководящих элементах, господствовало непримиримое отношение к подписанию брестских условий. Печатавшиеся в наших газетах стенографические отчеты о брестских переговорах питали и обостряли это настроение. Наиболее яркое выражение оно нашло в группировке левого коммунизма, выдвинувшей лозунг революционной войны.

Борьба в партии разгоралась со дня на день. Вопреки позднейшей легенде она шла не между мной и Лениным, а между Лениным и подавляющим боль-

шинством руководящих организаций партии. В основных вопросах этой борьбы: можем ли мы ныне вести революционную войну? и допустимо ли вообще для революционной власти заключать соглашения с империалистами? — я был полностью и целиком на стороне Ленина, отвечая вместе с ним на первый вопрос отрицательно, на второй — положительно.

Первое более широкое обсуждение разногласий происходило 21 января на собрании активных работников партии. Выявились три точки зрения. Ленин стоял за то, чтобы попытаться еще затянуть переговоры, но, в случае ультиматума, немедленно капитулировать. Я считал необходимым довести переговоры до разрыва, даже с опасностью нового наступления Германии, чтобы капитулировать пришлось — если вообще придется — уже перед очевидным применением силы. Бухарин требовал войны для расширения арены революции. Ленин вел на собрании 21-го января неистовую борьбу против сторонников революционной войны, ограничившись несколькими словами критики по поводу моего предложения. 32 голоса получили сторонники революционной войны, Ленин собрал 15 голосов, я — 16. Результаты голосования еще не достаточно ярко характеризуют господствовавшее в партии настроение. Если не в массах, то в верхнем слое партии «левое крыло» было еще сильнее, чем на этом собрании. Это и обеспечило временную победу моей формулы. Сторонники Бухарина видели в ней шаг в их сторону. Ленин, наоборот, считал, и вполне основательно, что отсрочка окончательного решения обеспечит победу за его точкой зрения. Нашей собственной партии обнаружение действительного положения вещей нужно было в тот период не меньше, чем рабочим Западной Европы. Во всех руководящих учреждениях партии и государства Ленин был в меньшинстве. На предложение Совнаркома местным советам высказать свое мнение о войне и мире откликнулось до 5 марта свыше двухсот советов. Из них лишь два крупных совета —

Петроградский и Севастопольский (с оговорками) — высказались за мир. Наоборот, ряд крупных рабочих центров: Москва, Екатеринбург, Харьков, Екатеринослав, Иваново-Вознесенск, Кронштадт и т. д. — подавляющим числом голосов высказались за разрыв. Таково же было настроение и наших партийных организаций. О левых эсерах нечего и говорить. Провести точку зрения Ленина в этот период можно было только путем раскола и государственного переворота, не иначе. Между тем, каждый лишний день должен был увеличивать число сторонников Ленина. В этих условиях формула «ни война, ни мир» была объективно мостом к позиции Ленина. По этому мосту прошло большинство партии, по крайней мере — ее руководящих элементов.

— Ну, хорошо, допустим, что мы отказались подписать мир, а немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете? — допрашивал меня Ленин.

— Подписываем мир под штыками. Картина будет ясна всему миру.

— А вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?

— Ни в каком случае.

— При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или Латвию. И Ленин прибавлял с лукавым смешком: уж ради одного доброго мира с Троцким стоит потерять Латвию с Эстонией. — Эта фраза стала у него на несколько дней припевом.

На решающем заседании Центрального Комитета 22 января прошло мое предложение: затягивать переговоры; в случае немецкого ультиматума объявить войну прекращенной, но мира не подписывать; в дальнейшем действовать в зависимости от обстоятельств. 25 января поздно вечером состоялось соединенное заседание Центральных Комитетов большевиков и тогдашних наших союзников, левых эс-эров,

на котором подавляющим большинством прошла та же формула. Это решение обоих Центральных Комитетов было постановлено считать, как это тогда нередко делалось, решением Совнаркома.

31 января я передавал по прямому проводу Ленину в Смольный из Бреста: «Среди бесчисленного количества слухов и сведений в немецкую печать проникло нелепое сообщение о том, будто бы мы собираемся демонстративно не подписать мирного договора, будто бы по этому поводу имеются разногласия в среде большевиков и пр. и пр. Я имею в виду такого рода телеграмму из Стокгольма с ссылкой на «Политикэн». Если не ошибаюсь, «Политикэн» — орган Höglund. Нельзя ли у него узнать, каким образом его редакция печатает такой чудовищный вздор, если действительно подобное сообщение напечатано в этой газете? Поскольку всяческими сплетнями полна буржуазная печать, немцы вряд ли придают этому большое значение. Но здесь дело идет о газете левого крыла, один из редакторов которой находится в Петрограде. Это придает известную авторитетность сообщению, а между тем оно способно только внести смуту в умы наших контрагентов.

Австро-Германская печать полна сообщений об ужасах в Петрограде, Москве и во всей России, о сотнях и тысячах убитых, о грохоте пулеметов и пр. и пр. Совершенно необходимо поручить человеку с головой давать для Петроградского Агенства и для радио ежедневные сообщения о положении дел в стране. Было бы хорошо, если бы эту работу взял на себя т. Зиновьев. Это имеет громадное значение. Главным образом, такого рода сообщения нужно посылать Воровскому и Литвинову. Это можно делать через Чичерина.

У нас было только одно чисто формальное заседание. Немцы крайне затягивают переговоры, очевидно, в виду внутреннего кризиса. Немецкая пресса стала трубить, будто бы мы вообще не хотим мира, а только заботимся о перенесении революции в дру-

гие страны. Эти ослы не могут понять, что именно под углом зрения развития европейской революции, скорейший мир имеет для нас огромное значение.

Приняты ли меры к высылке Румынского посольства? Я полагаю, что румынский король находится в Австрии. По сообщению одной из немецких газет, у нас в Москве хранится не национальный фонд Румынии, а золотой румынского национального банка. Симпатии официальной Германии, разумеется, целиком на стороне Румынии. Ваш Троцкий».

Эта записка требует пояснений. Переговоры по Юзу официально считались застрахованными от подслушиваний или перехватов. Но мы имели все основания думать, что немцы в Бресте читают нашу переписку по прямому проводу: мы питали достаточное уважение к их технике. Шифровать всю переписку не было возможности, да и на шифр мы не очень полагались. Между тем газета Хеглунда «Политикэн» оказывала нам своей неуместной информацией из первоисточника дурную услугу. Вот почему вся эта записка написана не столько с целью предупредить Ленина о том, что секрет нашего решения уже разболтан за границей, сколько для того, чтобы попытаться ввести в заблуждение немцев. Крайне невежливое слово «ослы», в отношении газетчиков, введено для того, чтобы придать тексту как можно больше «натуральности». В какой мере уловка обманула Кюльмана, сказать не могу. Во всяком случае мое заявление 10 февраля произвело на противников впечатление неожиданности. 11 февраля Чернин записал в свой дневник: «Троцкий отказывается подписать. Война кончена, но мира нет» (стр. 337).

Трудно поверить, но школа Сталина - Зиновьева сделала в 1924 году попытку представить дело так, будто в Бресте я действовал, вопреки решению партии и правительства. Злополучные фальсификаторы не дают себе труда заглянуть хотя бы в старые протоколы или перечитать свои собственные заявления. Зиновьев, выступавший в Петроградском

Совете 11 февраля, т. е. на другой день после оглашения мною декларации в Бресте, заявил, что «выход из создавшегося положения был найден нашей делегацией единственно правильный». Зиновьевым же была предложена принятая большинством против одного, при воздержавшихся меньшевиках и эсерах, резолюция, одобрявшая отказ от подписания мирного договора.

14 февраля по моему докладу в ВЦИК Свердловым была внесена от фракции большевиков резолюция, начинавшаяся словами: «Заслушав и обсудив доклад мирной делегации, ВЦИК вполне одобряет образ действий своих представителей в Бресте». Не было ни одной местной организации, партийной или советской, которая в промежутке между 11-м и 15-м февраля не вынесла бы одобрения действиям советской делегации. На партийном съезде в марте 1918 года Зиновьев заявил: «Троцкий прав, когда говорит, что действовал по постановлению правомочного большинства Ц. К. Никто этого не оспаривал...» Наконец, и Ленин на том же съезде рассказывал, как «в Центральном Комитете ... принималось предложение о том, чтобы мира не подписывать». Все это не помешало установлению в Коминтерне нового догмата о том, будто отказ от подписания мира в Бресте был единоличным делом Троцкого.

После октябрьских стачек в Германии и Австрии вопрос о том, решится ли немецкое правительство наступать или нет, вовсе не был настолько очевиден, — ни нам, ни самому немецкому правительству, — как изображают теперь многие умники задним числом. 10 февраля делегации Германии и Австро-Венгрии в Бресте пришли к заключению, что «состояние, предложенное заявлениями Троцкого, должно быть принято». Один генерал Гофман выступил против этого. На другой день Кюльман, по словам Чернина, с полной уверенностью говорил на заключительном заседании в Бресте о необходимости принять мир de facto. Отголоски этих настроений успели сейчас

же дойти до нас. Из Бреста вся наша делегация вернулась в Москву под тем впечатлением, что немцы наступать не будут. Ленин был очень доволен достигнутым результатом.

— А не обманут ли они нас? — спрашивал он все-же.

Мы разводили руками. Как будто не похоже.

— Ну, что-ж, сказал Ленин. — Если так, тем лучше: и аппарансы соблюдены, и из войны вышли.

Однако, за два дня до истечения недельного срока мы получили от остававшегося в Бресте генерала Самойло телеграфное извещение о том, что немцы, по заявлению Гофмана, считают себя с 12 часов 18 февраля в состоянии войны с нами, и потому предложили ему удалиться из Брест-Литовска. Телеграмму эту первым взял в руки Ленин. Я был у него в кабинете, где шел разговор с левыми эсерами. Ленин молча передал мне телеграмму. Взгляд его сразу заставил меня почувствовать недоброе. Ленин поспешил закончить разговор с эсерами, чтоб обсудить без них создавшееся положение.

— Значит, все-таки обманули. Выгадали 5 дней... Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж, значит, ничего не остается, как подписать старые условия, если только немцы согласятся сохранить их.

Я настаивал по-прежнему на том, что нужно дать Гофману перейти в фактическое наступление, чтобы рабочие Германии, как и стран Антанты узнали об этом наступлении, как о факте, а не простой угрозе.

— Нет, — возражал Ленин. Сейчас нельзя терять ни одного часу. Испытание проделано. Гофман хочет и может воевать, Откладывать нельзя. Этот зверь прыгает быстро.

В Марте Ленин говорил на съезде партии: «между нами (т. е. между ним и мною) было условлено, что мы держимся до ультиматума немцев, после ультиматума мы сдаем». Выше я рассказал об этом

условии. Ленин согласился не выступать открыто перед партией против моей формулы только потому, что я обещал ему не поддерживать сторонников революционной войны. Официальные представители этой группы, Урицкий, Радек и, кажется, Осинский, являлись ко мне с предложением «единого фронта». Я не оставил у них никаких сомнений насчет того, что между нашими позициями нет ничего общего. Когда немецкое командование предупредило о прекращении перемирия, Ленин напомнил мне о нашем соглашении. Я ответил ему, что для меня речь шла не о словесном ультиматуме, а о фактическом наступлении немцев, не оставляющем места никаким сомнениям насчет наших действительных отношений с ними. В заседании Центрального Комитета 17-го февраля Ленин поставил на голосование предварительный вопрос: «если мы будем иметь, как факт, немецкие наступление, и революционного подъема в Германии не наступит, заключаем ли мы мир?» На этот коренной вопрос Бухарин и его единомышленники ответили воздержанием, Крестинский голосовал с ними. Иоффе голосовал отрицательно. Вместе с Лениным я голосовал положительно. На другой день утром я голосовал против немедленной посылки предложенной Лениным телеграммы о нашей готовности подписать мир. В течение дня получились, однако, телеграфные донесения о переходе немцев в наступление, о захвате ими нашего военного имущества, об их продвижении на Двинск. Вечером я голосовал за телеграмму Ленина: теперь уже не могло быть никакого сомнения в том, что факт немецкого наступления станет известным всему миру.

21 февраля получились новые немецкие условия, как бы нарочно рассчитанные на то, чтоб сделать заключение мира невозможным. К моменту приезда нашей делегации в Брест, эти условия, как известно, были еще более ухудшены. У всех нас, до известной степени, и у Ленина, было впечатление, что немцы, повидимому, уже сговорились с Антантой о разгроме

советов, и что на костях русской революции подготовляется мир на западном фронте. Если-б дело обстояло действительно так, то, разумеется, никакие уступки с нашей стороны не помогли бы. Ход вещей на Украине и в Финляндии сильно склонял весы в сторону войны. Каждый час приносил что-нибудь недоброе. Пришло сообщение о дессанте немецких войск в Финляндии и о начавшемся разгроме финских рабочих. Я столкнулся с Лениным в коридоре, недалеко от его кабинета. Он был чрезвычайно взволнован. Я не видел его таким никогда, ни раньше, ни позже.

— Да, сказал он, — придется драться, хоть и нечем. Иного выхода, кажется, уже нет.

Но минут через 10—15, когда я зашел к нему в кабинет, он сказал:

— Нет, нельзя менять политику. Наше выступление не спасло бы революционной Финляндии, но наверняка погубило бы нас. Всем, чем можно, поможем финским рабочим, но не сходя с почвы мира. Не знаю, спасет ли нас это теперь. Но это, во всяком случае, единственный путь, на котором еще мыслимо спасение.

Я очень скептически относился к возможности добиться мира, хотя бы и ценою полной капитуляции. Но Ленин решил испытать путь капитуляции до конца. А так как у него в Ц. К. не было большинства, и от моего голоса зависело решение, то я воздержался от голосования, чтоб обеспечить за Лениным большинство одного голоса. Именно так я и мотивировал свое воздержание. Если-б капитуляция не дала мира, рассуждал я, мы выровняем фронт партии в навязанной нам врагами вооруженной обороне революции.

— Мне кажется, — сказал я в частном разговоре Ленину, — что политически было бы целесообразно, если бы я, как наркоминдел, подал в отставку.

— Зачем? Мы, надеюсь, этих парламентских приемов заводить не будем.

— Но моя отставка будет для немцев означать радикальный поворот политики, и усилит их доверие

к нашей готовности действительно подписать на этот раз мирный договор.

— Пожалуй, сказал Ленин, размышляя. — Это серьезный политический довод.

22-го февраля я доложил на заседании Ц. К., что французская военная миссия обратилась ко мне с предложением Франции и Англии оказать нам поддержку в войне с Германией. Я высказался за принятие предложения, разумеется, при условии полной независимости нашей внешней политики. Бухарин настаивал на недопустимости входить в какие бы то ни было соглашения с империалистами. Ленин поддержал меня со всей решительностью, и Ц. К. принял мое предложение шестью голосами против пяти. Помнится, Ленин продиктовал решение в таких словах: «уполномочить т. Троцкого принять помощь разбойников французского империализма против немецких разбойников». Он всегда предпочитал формулировки, не оставляющие места сомнениям.

По выходе из заседания Бухарин нагнал меня в длинном корридоре Смольного, обхватил руками и разрыдался. «Что мы делаем? — говорил он. — Мы превращаем партию в кучу навоза». Бухарин вообще легок на слезы и любит натуралистические выражения. Но на этот раз положение действительно складывалось трагически. Революция была между молотом и наковальней.

3 марта наша делегация подписала, не читая, мирный договор. Предвосхищая многие из идей Клемансо, брестский мир походил на петлю палача. 22 марта договор был принят германским рейхстагом. Германские социалдемократы авансом одобрили будущие принципы Версаля. Независимые голосовали против: они еще только начинали описывать ту бесплодную кривую, которая вернула их к точке отправления.

Оглядываясь на пройденный путь, я обрисовал на седьмом съезде партии (март 1918 г.) свою позицию с достаточной ясностью и полнотой. «Если бы мы действительно хотели — говорил я — полу-

чить наиболее благоприятный мир, мы должны были бы согласиться на него еще в ноябре. Но никто (кроме Зиновьева) не поднимал голоса за это: мы все стояли за агитацию, за революционизирование германского, австро-венгерского и всего европейского рабочего класса. Но все наши предшествовавшие переговоры с немцами имели революционизирующий смысл лишь постольку, поскольку их принимали за чистую монету. Я уже делал сообщение на фракции III Всероссийского Съезда Советов о том, как бывший австро-венгерский министр Грац говорил, что немцам нужен только какой-либо повод, чтобы поставить нам ультиматум. Они считали, что мы сами напрашиваемся на ультиматум..., что мы заранее обязываемся подписать **все**, что мы разыгрываем лишь революционную комедию. При таком положении, нам, в случае неподписания, грозила потеря Ревеля и других мест, в случае же преждевременного подписания нам грозила потеря симпатий мирового пролетариата или значительной части его. Я был одним из тех, которые думали, что германцы наступать, вероятно, не будут; но что, если все же станут наступать, то у нас всегда будет время подписать этот мир, хотя бы и в худших условиях. С течением времени — говорил я — все убедятся, что другого выхода у нас нет».

Замечательно, что в это же самое время Либкнехт писал из своей тюрьмы: «Ни в каком случае нельзя признать, что нынешний исход для дальнейшего развития хуже, чем явилась бы сдача в Бресте в начале февраля. Как раз наоборот. Такого рода сдача осветила бы с наихудшей стороны все предшествующее сопротивление, и представила бы заключительное принуждение, как «vis haud ingrata». Вопиющий к небесам цинизм, зверский характер заключительного немецкого выступления **оттесняют назад все подозрения**» (стр. 51).

Либкнехт чрезвычайно вырос во время войны, когда он окончательно научился пролагать пропасть

между собою и честной бесхарактерностью Гаазе. Излишне говорить, что Либкнехт был революционером беззаветного мужества. Но он только вырабатывал в себе стратега. Это сказывалось в вопросах личной судьбы, как и революционной политики. Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды. После его ареста многие друзья покачивали головами по поводу его самоотверженного «безрассудства». Наоборот, Ленину всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что на время войны он должен обеспечить главное командование. Либкнехт был тем военачальником, который сам ведет свои отряды в бой. Оттого, в частности, ему так трудно было понять нашу брест-литовскую стратегию. Он первоначально хотел, чтоб мы просто бросили вызов судьбе и пошли ей навстречу. Он неоднократно осуждал в тот период «политику Ленина-Троцкого», не делая, и вполне основательно, никакого различия в этом основном вопросе между линией Ленина и моей. В дальнейшем, однако, Либкнехт стал по иному оценивать политику Бреста. В начале мая он уже писал: «Одно необходимо русским советам — прежде и больше всего другого — не демонстрации и декорации, но жесткая суровая сила. Для чего во всяком случае кроме энергии, нужны также ум и время, — ум также и для того, чтобы выиграть время, которое необходимо даже и наивысшей и умнейшей энергии» (стр. 102). Это есть полное признание правильности брестской политики Ленина, которая была целиком направлена на то, чтоб выиграть время.

Истина пролагает себе пути. Но и чепуха живуча. Американский профессор Фишер (Fisher) в большой книге, посвященной первым годам Советской России (The Famine in Soviet Russia) приписывает мне ту мысль, что Советы никогда не будут вести войну и никогда не заключат мира с буржуазными правительствами. Эту нелепую формулу Фишер, как и

многие другие, списал у Зиновьева и вообще у эпигонов, прибавив кое-что от собственного непонимания. Мои запоздалые критики давно уже вырвали мое брестское предложение из условий времени и места, превратив ее в универсальную формулу, чтоб тем легче довести до абсурда. Они не заметили при этом, однако, что состояние «ни мира, ни войны», точнее: ни мирного договора, ни войны, само по себе вовсе не заключает в себе ничего противоестественного. У нас такие именно отношения существуют и сейчас с величайшими странами мира: с Соединенными Штатами и Великобританией. Правда, они установились вопреки нашему желанию, но это не меняет дела. Есть, к тому же страна, с которой мы по собственной инициативе установили отношения «ни мира, ни войны»: это Румыния. Приписывая мне универсальную формулу, которая кажется им голым абсурдом, мои критики удивительным образом не замечают того, что лишь воспроизводят «абсурдную» формулу действительных отношений Советского Союза с рядом государств.

Как сам Ленин глядел на брестский этап, когда последний остался позади? Ленин вообще не считал заслуживающим упоминания чисто эпизодическое разногласие со мною. Зато он не раз говорил о «громадном агитационном значении брестских переговоров» (см. напр. речь 17 мая 1918 г.). Через год после Бреста Ленин заметил на съезде партии: «громадная оторванность от Западной Европы и всех остальных стран не давала нам никаких объективных материалов для суждения о возможной быстроте или о формах нарастания пролетарской революции на западе. Из этого сложного положения вытекало то, что вопрос о Брестском мире вызвал немало разногласий в нашей партии» (речь 18 марта 1919 г.).

Остается еще спросить, как же держали себя в те дни мои позднейшие критики и обличители? Бухарин вел около года неистовую борьбу против Ленина (и меня), угрожая расколом партии. С ним шли

Куйбышев, Ярославский, Бубнов и многие другие нынешние столпы сталинизма. Зиновьев, наоборот, требовал немедленного подписания мира, отказываясь от агитационной трибуны Бреста. Мы с Лениным были единодушны в осуждении этой позиции. Каменев в Бресте согласился с моей формулой, а приехав в Москву, присоединился к Ленину. Рыков не был тогда членом ЦК и потому не принимал участия в решающих совещаниях. Дзержинский был против Ленина, но при последнем голосовании примкнул к нему. Какова была позиция Сталина? У него, как всегда, не было никакой позиции. Он выжидал и комбинировал. «Старик все еще надеется на мир, — кивал он мне в сторону Ленина, — не выйдет у него мира». Потом он уходил к Ленину и делал, вероятно, такие же замечания по моему адресу. Сталин никогда не выступал. Никто его противоречиями особенно не интересовался. Несомненно, что главная моя забота: сделать наше поведение в вопросе о мире как можно более понятным мировому пролетариату, было для Сталина делом второстепенным. Его интересовал «мир в одной стране», как впоследствии — «социализм в одной стране». В решающем голосовании он присоединился к Ленину. Лишь несколько лет спустя, в интересах борьбы с троцкизмом, он выработал для себя некоторое подобие «точки зрения» на брестские события.

Вряд ли стоит дальше останавливаться на всем этом. И без того я посвятил непропорционально много места брестским разногласиям. Но мне казалось нужным раскрыть, по крайней мере, один из спорных эпизодов во всей его полноте, чтобы показать, как это было на деле и как это стали изображать впоследствии. Одна из попутных задач моих при этом состояла в том, чтоб поставить эпигонов на место. Что касается Ленина, то ни один серьезный человек не станет заподазривать, что по отношению к нему мною может руководить то чувство, которое по немецки называется Rechthaberei. Роль Ленина в брест-

ские дни я оценил во всеуслышание гораздо раньше других. 3-го октября 1918-го года я сказал на экстреннем соединенном заседании высших органов советской власти: «Я считаю в этом авторитетном собрании долгом заявить, что в тот час, когда многие из нас, и я в том числе, сомневались, нужно ли, допустимо ли подписывать Брест-Литовский мир, только тов. Ленин с упорством и несравненной прозорливостью утверждал против многих из нас, что нам нужно через это пройти, чтобы дотянуть до революции мирового пролетариата. И теперь мы должны признать, что правы были не мы».

Я не ждал запоздалых откровений со стороны эпигонов, чтобы признать, что гениальное политическое мужество Ленина спасло в дни Бреста диктатуру пролетариата. В приведенных выше словах я брал на себя большую долю ответственности за ошибки других, чем мне причиталось. Я сделал это, чтоб показать пример другим. Стенограмма отмечает в этом месте «продолжительные овации». Партия хотела этим показать, что понимает и ценит мое отношение к Ленину, чуждое какой бы то ни было мелочности или ревности. Я слишком ясно сознавал, что значил Ленин для революции, для истории и — для меня лично. Он был моим учителем. Это не значит, что я повторял с запозданием его слова и жесты. Но я учился у него приходить самостоятельно к тем решениям, к каким приходил он.

ГЛАВА XXXIII

Месяц в Свияжске

Весна и лето 1918 г. были из ряду вон тяжелым временем. Только теперь выходили наружу все последствия войны. Моментами было такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. Вставал вопрос: хватит ли во-

обще у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима и спасения своей независимости? Продовольствия не было. Армии не было. Железные дороги были в полном расстройстве. Государственный аппарат еле складывался. Всюду гноились заговоры.

На западе немцами были захвачены Польша, Литва, Латвия, Белоруссия и значительная часть Великороссии. Псков был в немецких руках. Украина стала австро-германской колонией. На Волге французская и английская агентура подняла летом 1918 года восстание корпуса чехо-словаков, из бывших военнопленных. Немецкое командование дало мне через своего военного представителя понять, что, если белые будут приближаться к Москве с востока, немцы будут приближаться к Москве с запада, со стороны Орши и Пскова, чтобы не дать образоваться новому восточному фронту. Мы оказывались между молотом и наковальней. На севере были захвачены англичанами и французами Мурманск и Архангельск, с угрозой продвижения на Вологду. В Ярославле разыгралось восстание белогвардейцев, организованное Савинковым по прямому требованию французского посла Нуланса, и английского уполномоченного Локкарта, дабы связать через Вологду и Ярославль северные войска с чехо-словаками и белогвардейцами на Волге. На Урале орудовали банды Дутова. На юге, на Дону, развернулось восстание, руководимое Красновым, который тогда находился в непосредственном союзе с немцами. Левые эсеры устроили в июле заговор, убили графа Мирбаха, пытались поднять восстание на Восточном фронте. Они хотели нам навязать войну с Германией. Фронт гражданской войны все более превращался в кольцо, которое должно было сжиматься теснее и теснее вокруг Москвы.

После падения Симбирска решена была моя поездка на Волгу, откуда грозила главная опасность. Я занялся формированием поезда. В те времена это

было не просто. Всего не хватало или, вернее, никто не знал, где что находится. Самая простая работа превращалась в сложную импровизацию. Тогда я не думал, что в этом поезде мне придется провести два с половиной года. Из Москвы я выехал 7 августа, еще не зная, что накануне пала Казань. С этой грозной вестью я столкнулся в пути. Наспех сколоченные красные части снялись без боя и обнажили Казань. Одна часть штаба состояла из заговорщиков, другая оказалась застигнута врасплох или скрывалась по одиночке под пулями. Где главнокомандующий и другие руководители армии, никто не знал. Мой поезд остановился в Свияжске, ближайшей крупной станции перед Казанью. В течение месяца здесь решалась заново судьба революции. Для меня этот месяц был великой школой.

Армия под Свияжском состояла из отрядов, отступивших из под Симбирска и Казани или прибывших на помощь с разных сторон. Каждый отряд жил своей жизнью. Общей всем им была только склонность к отступлению. Слишком велик был перевес организации и опыта у противника. Отдельные белые роты, состоявшие сплошь из офицеров, совершали чудеса. Сама почва была заражена паникой. Свежие красные отряды, приезжавшие в бодром настроении, немедленно же захватывались инерцией отступления. В крестьянстве пополз слух, что советам не жить. Священники и купцы подняли головы. Революционные элементы деревни попрятались. Все осыпалось, не за что было зацепиться, положение казалось непоправимым.

Здесь, под Казанью, можно было на небольшом пространстве обозревать многообразие факторов человеческой истории и почерпать аргументы против трусливого исторического фатализма, который во всех конкретных и частных вопросах прикрывается пассивной закономерностью, обходя ее важнейшую пружину: живого и действующего человека. Многого ли в те дни не хватало для того, чтобы опрокинуть ре-

волюцию? Ее территория сузилась до размеров старого московского княжества. У нее почти не было армии. Враги облегали ее со всех сторон. За Казанью наступала очередь Нижнего. Оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву. Судьба революции решалась на этот раз под Свияжском. А здесь она в наиболее критические моменты зависела от одного батальона, от одной роты, от стойкости одного комиссара, т. е. висела на волоске. И так изо дня в день.

И все же революция была спасена. Что понадобилось для этого? Немногое: нужно было, чтобы передовой слой массы понял смертельную опасность. Главным условием успеха было: ничего не скрывать, и прежде всего — свою слабость, не хитрить с массой, называть все открыто по имени. Революция была еще слишком беспечна. Октябрьская победа далась легко. В то же время революция вовсе не устранила одним взмахом те бедствия, какие ее вызвали. Стихийный напор ослабел. Враг брал тем, чего не хватало нам: военной организацией. Этому искусству революция училась под Казанью.

Агитация во всей стране питалась телеграммами из Свияжска. Советы, партия, профессиональные союзы создавали новые отряды и посылали под Казань тысячи коммунистов. Большинство партийной молодежи не умело владеть оружием. Но они хотели победить во что бы то ни стало. А это было главное. Они вправили позвоночник рыхлому телу армии.

Главнокомандующим восточного фронта был назначен полковник Вацетис, который командовал до этого дивизией латышских стрелков. Это была единственная часть, сохранившаяся от старой армии. Латышские батраки, рабочие, бедняки-крестьяне ненавидели балтийских баронов. Эту социальную ненависть использовал царизм в войне с немцами. Латышские полки были лучшими в царской армии. После февральского переворота они почти сплошь

обольшевичились и в октябрьской революции сыграли большую роль. Вацетис был предприимчив, активен, и находчив. Вацетис выдвинулся во время восстания левых эсеров. Под его руководством были установлены легкие орудия против штаба заговорщиков. Двух-трех выстрелов в упор — для острастки и без жертв — оказалось достаточным, чтобы мятежники бросились врассыпную. После измены авантюриста Муравьева на Востоке Вацетис заменил его. В противоположность другим военным академикам, он не терялся в революционном хаосе, а жизнерадостно барахтался в нем, пуская пузыри, призывал, поощрял и отдавал приказы, даже когда не было надежды на их выполнение. В то время, как прочие «спецы» больше всего боялись переступить черту своих прав, Вацетис, наоборот, в минуты вдохновения издавал декреты, забывая о существовании Совнаркома и ВЦИКа. Через год, примерно, Вацетиса обвинили в сомнительных замыслах и связях, так что пришлось его сместить. Но ничего серьезного за этими обвинениями не крылось. Возможно, что на сон грядущий он почитывал биографию Наполеона и делился нескромными мыслями с двумя-тремя молодыми офицерами. Сейчас Вацетис — профессор военной академии . . .

Из казанского штаба он уходил вечером 6-го августа одним из последних, когда белые уже занимали здание. Он выбрался благополучно и кружным путем прибыл в Свияжск, потеряв Казань, но сохранив свой оптимизм. Мы обсудили с ним важнейшие вопросы, назначили латышского офицера Славина командующим 5-й армии и простились. Вацетис отбыл в свой штаб. Я остался в Свияжске.

В поезде со мной, в числе других, прибыл Гусев. Он именовался «старым большевиком», так как участвовал в революционном движении 1905 г., лет на десять уходил в буржуазную жизнь, но, как многие другие, вернулся к революции 1917 года. За мелкие интриги он был Лениным и мною отстранен впо-

следствии от военной работы и немедленно же подобран Сталиным. Специальностью его ныне является преимущественно фальсификация истории гражданской войны. Главную его квалификацию для этого составляет апатичный цинизм. Как вся сталинская школа, он никогда не останавливается на том, что писал или говорил вчера. В начале 1924 года, когда травля против меня развертывалась уже вполне открыто, причем Гусев занимал в ней свое место флегматичного кляузника, воспоминания свияжских дней, несмотря на протекшие шесть лет, были еще слишком свежи и связывали до некоторой степени даже Гусева. Вот что он рассказывал о событиях под Казанью: «Приезд тов. Троцкого внес решительный поворот в положение дел. В поезде тов. Троцкого на захолустную станцию Свияжск прибыли твердая воля к победе, инициатива и решительный нажим на все стороны армейской работы. С первых же дней и на загроможденной тыловыми обозами бесчисленных полков станции, где ютились политотдел и органы снабжения, и в расположенных впереди — верстах в 15 — частях армии почувствовали, что произошел какой-то крутой перелом. Прежде всего это сказалось в области дисциплины. Жесткие методы тов. Троцкого для этой эпохи партизанщины и недисциплинированности... были прежде всего и наиболее всего целесообразны и необходимы. Уговором ничего нельзя было сделать, да и времени для этого не было. И в течение тех 25 дней, которые тов. Троцкий провел в Свияжске, была проделана огромная работа, которая превратила расстроенные и разложившиеся части 5-й армии в боеспособные и подготовила их к взятию Казани».

Измена гнездилась в штабе, в командном составе и вокруг. Неприятель знал куда бить, и почти всегда действовал наверняка. Это обескураживало. Вскоре по приезде я посетил передовые батареи. Размещение орудий показывал мне опытный артиллерийский офицер с обветренным лицом и непроницаемыми гла-

зами. Он попросил разрешения отойти, чтоб отдать приказание по телефону. Через несколько минут после этого два снаряда легли вилкой в пятидесяти шагах, третий упал совсем рядом. Я едва успел лечь, меня обдало землей. Артиллерист стоял неподвижно в стороне, бледность проступила сквозь загар. Странным образом я не заподозрил ничего, кроме случайности. Только года два спустя я вспомнил внезапно всю обстановку до мельчайших подробностей, и мне стало неопровержимо ясно: артиллерист был враг и по телефону, через какой-то промежуточный пункт, указал прицел неприятельской батарее. Он рисковал вдвойне: попасть вместе со мною под снаряд белых или быть расстрелянным красными. Мне неизвестно, что с ним сталось.

Едва я вернулся к себе в вагон, как со всех сторон раздалась ружейная трескотня. Я выскочил на площадку. Над нами кружился белый самолет. Он явно охотился на поезд. Три бомбы упали одна за другой по широкой дуге, не причинив никому вреда. С крыш вагонов стреляли по врагу из винтовок и пулеметов. Самолет стал недосягаем, но стрельба не прекращалась. Все были точно в опьянении. С большим трудом я прекратил стрельбу. Возможно, что о часе моего возвращения в поезд дал знать тот же артиллерист. Но могли быть и другие источники.

Измена действовала тем увереннее, чем безнадежней казалось военное положение революции. Надо было во что бы то ни стало и притом как можно скорее преодолеть автоматизм отступления, когда люди не верят уже в самую возможность остановиться, повернуться вокруг своей оси и ударить врага в грудь.

Я привез с собою в поезде полсотни московской партийной молодежи. Они разрывались на части, затыкали собой дыры, и таяли на моих глазах, с безрассудством героизма и неопытности подставляя себя под удары. Рядом с ними стоял четвертый латышский полк. Из всех полков раздерганной по частям

дивизии это был худший. Стрелки лежали в грязи под дождем и потребовали смены. Но смены не было. Командир полка вместе с полковым комитетом прислали мне заявление, что если полк не сменят тотчас же, то произойдут «последствия, опасные для революции». Это была угроза. Я вызвал в вагон командира полка и председателя полкового комитета. Они угрюмо стояли на своем. Я объявил их арестованными. Начальник связи поезда, нынешний комендант Кремля, разоружил их в моем купе. В вагоне, кроме нас двоих, никого не было: вся команда дралась на позициях. Еслиб арестованные воспротивились, или еслиб полк вступился за них и снялся с позиции, положение могло бы стать безнадежным. Мы сдали бы Свияжск и мост через Волгу. Захват моего поезда врагом не мог бы, конечно, остаться без влияния на армию. Дорога на Москву была бы открыта. Но арест прошел благополучно. В приказе по армии я сообщил о предании командира полка революционному трибуналу. Полк не покинул позиций. Командира приговорили только к тюрьме.

Коммунисты убеждали, разъясняли и подавали пример. Но было ясно, что одной агитацией не сломить настроения, да и обстановка оставляла слишком мало времени. Надо было решиться на суровые меры. Я издал приказ, напечатанный в типографии моего поезда и оглашенный во всех частях армии. «Предупреждаю: если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — командир. Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии».

Перелом наступил, разумеется, не сразу. Отдельные отряды продолжали отступать без причины или рассыпались под первым крепким толчком. Свияжск был под ударом. На Волге стоял наготове пароход для штаба. Десять человек команды моего поезда охраняли на самокатах пешеходную тропинку,

между штабом и местом посадки на пароход. Военный Совет 5-й армии постановил предложить мне перейти на воду. Мера сама по себе была разумна, но я опасался ее дурного влияния на нервную и неуверенную в себе армию. Как раз в этот момент положение на фронте сразу ухудшилось. Свежий полк, на который мы так рассчитывали, снялся с фронта во главе с комиссаром и командиром, захватил со штыками на перевес пароход и погрузился на него, чтобы отплыть в Нижний. Волна тревоги прошла по фронту. Все стали озираться на реку. Положение казалось почти безнадежным. Штаб оставался на месте, хотя неприятель был на расстоянии километра-двух, и снаряды рвались по соседству. Я переговорил с неизменным Маркиным. Во главе двух десятков боевиков он на импровизированной канонерке подъехал к пароходу с дезертирами и потребовал от них сдачи под жерлом пушки. От исхода этой внутренней операции зависело в данный момент все. Одного ружейного выстрела было бы достаточно для катастрофы. Дезертиры сдались без сопротивления. Пароход причалил к пристани, дезертиры высадились, я назначил полевой трибунал, который приговорил к расстрелу командира, комиссара и известное число солдат. К загнившей ране было приложено каленное железо. Я объяснил полку обстановку, не скрывая и не смягчая ничего. В состав солдат было вкраплено некоторое количество коммунистов. Под новым командованием и с новым самочувствием полк вернулся на позиции. Все произошло так быстро, что враг не успел воспользоваться потрясением.

Надо было наладить авиацию. Я вызвал инженера-летчика Акашева. Анархист по взглядам, он работал, однако, с нами. Акашев проявил инициативу и быстро сколотил воздушную флотилию. Благодаря ей мы получили, наконец, картину неприятельского фронта. Командование 5-й армии вышло из потемок. Авиаторы стали совершать ежедневные боевые налеты на Казань. В городе воцарилась ли-

хорадка тревоги. Позже, после взятия Казани, мне доставили, в числе других документов, дневник буржуазной барышни, пережившей осаду Казани. Страницы, посвященные описанию паники, которую наводили наши летчики, перемежались со страницами, посвященными флирту. Жизнь не приостанавливалась. Чешские офицеры соревновали с русскими. Романы, начинавшиеся в казанских гостинных, находили свое развитие, а иногда и развязку, в подвалах, куда приходилось укрываться от бомб.

28-го августа белые предприняли обход. Во главе серьезного отряда полковник Каппель, впоследствии прославленный белый генерал, зашел под покровом ночи нам в тыл, захватил ближайшую небольшую станцию, разрушил полотно железной дороги, повалил телеграфные столбы и, отрезав нам таким образом отступление, пошел в аттаку на Свияжск. При штабе Каппеля находился, если не ошибаюсь, Савинков. Мы были изрядно застигнуты врасплох. Боясь потревожить нестойкий фронт, мы сняли с него не больше двух-трех рот. Начальник моего поезда снова мобилизовал все, что было под руками в поезде и на станции, вплоть до повара. Винтовок, пулеметов, ручных гранат у нас было достаточно. Поездная команда состояла из хороших бойцов. Цепь залегла в версте от поезда, сражение длилось около 8 часов, обе стороны понесли жертвы, неприятель выдохся и отступил. Тем временем перерыв связи со Свияжском вызвал в Москве и по всей линии огромную тревогу. Спешно прибывали на помощь небольшие команды. Путь был быстро восстановлен. В армию влились свежие отряды. Казанские газеты тем временем сообщали, что я отрезан, в плену, убит, — улетел на самолете, но зато захвачена, в качестве трофея, моя собака. Это верное животное попадало затем в плен на всех фронтах гражданской войны. Чаще всего это был шоколадный дог, иногда сенбернар. Я отделался тем дешевле, что никакой собаки у меня не было.

Обходя помещения штаба в три часа ночи, самой критической из всех ночей Свияжска, я услышал в оперативном управлении знакомый голос, повторявший: «он доиграется до того, что попадет в плен, себя и нас погубит, я вам это предсказываю». Я остановился на пороге. Против меня за картой два совсем еще молодых офицера генерального штаба. Говоривший наклонился к ним через стол, стоя ко мне спиною. На лицах своих собеседников он прочитал, должно быть, что-то неожиданное, потому что круто повернулся к двери. Это был Благонравов, поручик царской армии, молодой большевик. На лице его застыл и ужас и стыд. В качестве комиссара, он имел своей задачей поддерживать дух специалистов. Вместо этого он в критическую минуту восстанавливал их против меня, склоняя по существу к дезертирству, и был застигнут мною на месте преступления. Я не верил ни глазам, ни ушам. Благонравов в течение 1917 г. показал себя боевым революционером. Он был комиссаром Петропавловской крепости в дни переворота, участвовал затем в ликвидации восстания юнкеров. Я давал ему ответственные поручения в период Смольного. Он справлялся хорошо. — «Из такого поручика, — сказал я однажды Ленину, — еще Наполеон выйдет. И фамилия у него подходящая: Благо — нравов, почти Бона — парте». Ленин сперва посмеялся неожиданному для него сопоставлению, потом призадумался и, выдавив скулы наружу, сказал серьезно, почти угрожающе: «ну, с Бонапартами-то мы справимся, а?» — «Как бог даст», ответил я полушутя. — Так вот этого самого Благонравова я отправил на Восточный фронт, когда там проспали измену Муравьева. В Кремле, в приемной у Ленина, я втолковывал Благонравову его задачи. Он ответил уныло: «все дело в том, что революция уже пошла на уклон». Это было в середине 1918 года. — «Неужели же вы так быстро израсходовались?» спросил я его с возмущением. Благонравов подтянулся, переменил тон и обещал сделать

все, что требуется. Я успокоился. И вот теперь я застиг его в самые критические часы на границе прямой измены. Мы вышли в коридор, чтоб не объясняться при офицерах. Благонравов дрожал, бледный, с рукой у козырька. «Не предавайте меня трибуналу, — повторял он с отчаяньем, — я заслужу, отправьте меня солдатом в цепь». Мое пророчество не сбылось: кандидат в Наполеоны стоял предо мною мокрой курицей. Его сместили и отправили на менее ответственную работу. Революция — великая пожирательница людей и характеров. Она подводит наиболее мужественных под истребление, менее стойких опустошает. Сейчас Благонравов член коллегии ГПУ, один из столпов режима. Еще в Свияжске он должен был преисполниться вражды к «перманентной революции».

Судьба революции трепыхалась между Свияжском и Казанью. Отступать было некуда, кроме как в Волгу. Революционный Совет армии заявил, что вопрос о моей безопасности в Свияжске стесняет его свободу действий, и настойчиво потребовал, чтоб я перешел на реку. Это было его право. Я с самого начала установил такой порядок, что мое присутствие в Свияжске ни в чем не должно стеснять или ограничивать командование армии. Этого правила я держался во время всех своих поездок по фронтам. Я подчинился и перешел на воду, только не на подготовленный для меня пассажирский пароход, а на миноносец. Четыре малых миноносца были с великими трудностями доставлены на Волгу по Мариинской водной системе. Нескольких речных пароходов были к этому времени вооружены пушками и пулеметами. Флотилия, под командой Раскольникова, затевала этой ночью наступление на Казань. Надо было пройти мимо высоких услонов, на которых были укреплены батареи белых. За услонами река делала поворот и сразу расширялась. Там находилась флотилия противника. На противоположном берегу открывалась Казань. Предполагалось незаметно пройти

во тьме мимо услонов, разгромить неприятельскую флотилию и береговые батареи и обстрелять город. Флотилия шла в кильватерной колонне, с потушенными огнями, как тать в нощи. Два старых волжских лоцмана, оба с жиденькими блеклыми бородками, стояли подле капитана. Они были взяты принудительно, смертельно боялись, ненавидели нас, проклинали свою жизнь, дрожали мелкой дрожью. Теперь все зависело от них. Капитан время от времени напоминал им, что застрелит обоих на месте, если они посадят судно на мель. Мы поровнялись с услоном, смутно возвышавшимся во мгле, как поперек реки кнутом хлестнул пулемет. Вслед прозвучал с горы пушечный выстрел. Мы шли молча. За нашей спиной отвечали снизу. Несколько пуль отбили дробь по железному листу, прикрывавшему нас по пояс на капитанском мостике. Мы присели. Боцмана втянулись, по рысьи сверлили глазами тьму и теплым полуголосом перекликались с капитаном. За услоном мы сразу вошли в широкое плесо. На другом берегу открылись огни Казани. За нашей спиной шла густая пальба, сверху и снизу. Вправо от нас, в двухстах шагах, не более, стояла под прикрытием гористого берега неприятельская флотилия. Суда виднелись неясной кучей. Раскольников скомандовал по судам огонь. Металлическое тело нашего миноносца завыло и взвизгнуло от первого удара собственной пушки. Мы шли толчками, железная утроба с болью и скрежетом рождала снаряды. Ночная тьма вдруг оголилась пламенем. Это наш снаряд зажег баржу, нагруженную нефтью. Неожиданный, непрошенный, но великолепный факел поднялся над Волгой. Теперь мы стреляли по пристани. Теперь на ней явственно видны были орудия, но они не отвечали. Артиллеристы, видимо, просто разбежались. Река была освещена во всю ширь. За нами никого не было. Мы были одни. Неприятельская артиллерия перерезала, очевидно, дорогу остальным судам флотилии. Наш миноносец торчал на освещенном плесе, как муха на яркой тарелке. Сей-

час нас возьмут под перекрестный огонь, с пристани и с услона. Это было жутко. В довершение мы потеряли управление. Разорвалась штурвальная цепь, вероятно ее хватило снарядом. Попробовали управлять рулем вручную. Но вокруг руля намоталась оборвавшаяся цепь, руль был поврежден и не давал поворотов. Машины пришлось остановить. Нас тихо сносило к казанскому берегу, пока миноносец не уперся бортом в старую полузатонувшую баржу. Стрельба прекратилась совершенно. Было светло, как днем, тихо, как ночью. Мы сидели в мышеловке. Непонятно было только, почему нас не громят. Мы недооценивали опустошений и паники, причиненных нашим налетом. В конце концов молодыми командирами решено было оттолкнуться от баржи и, пуская в ход по очереди то левую, то правую машину, регулировать движение миноносца. Это удалось. Нефтяной факел пылал. Мы шли к услону. Никто не стрелял. За услоном мы погрузились, наконец, во тьму. Из машинного отделения вынесли в обмороке матроса. Размещенная на горе батарея не дала ни одного выстрела. Очевидно, за нами не следили. Может быть некому было больше следить. Мы были спасены. Это слово очень просто пишется: спасены. Появились огоньки папирос. Обуглившиеся остатки одной из наших импровизированных канонерок печально лежали на берегу. Мы застали на других судах несколько раненых. Теперь только мы заметили, что нос нашего миноносца аккуратно просверлен насквозь трехдюймовым снарядом. Стоял ранний предрассветный час. Все себя чувствовали, точно снова родились на свет.

Одно к одному. Ко мне привели летчика, который только что снизился с доброй вестью. С северо-востока вплотную к Казани подошел отряд второй армии, под командой казака Азина. Они захватили два броневика, подбили два орудия, обратили неприятельский отряд в бегство и завладели двумя деревнями в двенадцати верстах от Казани. С ин-

струкцией и воззванием летчик сейчас же полетел обратно. Казань попадала в клещи. Наш ночной налет, как выяснилось вскоре через разведку, надломил силу сопротивления белых. Неприятельская флотилия была уничтожена почти полностью, береговые батареи приведены к молчанию. Слово «миноносец» — на Волге! — производило такое же действие на белых, как позже, под Петроградом, слово «танк» на молодые красные войска. Пошли слухи, что вместе с большевиками сражаются немцы. Из Казани началось повальное бегство зажиточных слоев. Рабочие кварталы подняли голову. На пороховом заводе вспыхнуло возмущение. У наших войск появился наступательный дух.

Месяц в Свияжске был набит тревожными эпизодами. Каждый день что-нибудь случалось. Нередко и ночь не отставала от дня. Война впервые развертывалась передо мною в такой интимной близости. Это была малая война. С нашей стороны сражалось не больше 25—30.000 человек. Но от большой войны малая отличалась только масштабом. Это была как бы живая модель войны. Именно поэтому она так непосредственно ощущалась во всех своих колебаниях и неожиданностях. Малая война была большой школой.

Положение под Казанью стало тем временем неузнаваемым. Пестрые отряды сложились в правильные части. В них вливались рабочие-коммунисты Петрограда, Москвы и других мест. Полки крепли и закалялись. Комиссары получили в частях значение революционных вождей, непосредственных представителей диктатуры. Трибуналы показали, что революция, находящаяся в смертельной опасности, требует высшего самоотвержения. Сочетанием агитации, организации, революционного примера и репрессии был, в течение нескольких недель, достигнут необходимый перелом. Из зыбкой, неустойчивой, рассыпающейся массы создалась действительная армия. Наша артиллерия имела явный перевес. Наша фло-

тилия распоряжалась на реке. Наши летчики господствовали в воздухе. Я уже не сомневался, что мы вернем Казань. Как вдруг 1-го сентября я получил шифрованную телеграмму из Москвы: «Немедленно приезжайте. Ильич ранен, неизвестно, насколько опасно. Полное спокойствие. 31. VIII. 1918 г. Свердлов». Я выехал немедленно. Настроение в партийных кругах Москвы было угрюмое, сумрачное, но неколебимое. Лучшим выражением этой неколебимости был Свердлов. Врачи признали жизнь Ленина вне опасности, обещали скорое выздоровление. Я обнадежил партию предстоящими успехами на Востоке и сейчас же вернулся в Свияжск. Казань взята была 10-го сентября. Через два дня соседняя, 1-я армия взяла Симбирск. Это не явилось неожиданностью. Командующий первой армией Тухачевский обещал в конце августа взять Симбирск не позже 12-го сентября. О взятии города он известил меня телеграммой: «Приказание выполнено. Симбирск взят». Тем временем Ленин выздоравливал. Он прислал восторженную телеграмму привета. По всей линии дела шли на поправку.

Главным руководителем 5-й армии стал Иван Никитич Смирнов. Этот факт имел огромное значение. Смирнов представляет собою наиболее полный и законченный тип революционера, который свыше тридцати лет тому назад вступил в строй и с тех пор не знал и не искал смены. В самые глухие годы реакции Смирнов продолжал рыть подземные ходы. Когда они заваливались, он не терял духа и начинал сначала. Иван Никитич всегда оставался человеком долга. В этом пункте революционер соприкасается с хорошим солдатом и именно поэтому революционер может стать превосходным солдатом. Повинуясь только своей природе, Иван Никитич всегда оставался образцом мужества и твердости, без той жесткости, которая им часто сопутствует. Все лучшие работники армии стали равняться по этому образцу. «Никого так не уважали, как Ивана Никитича, — писала Ла-

риса Рейснер про осаду Казани. — Чувствовалось, что в худшую минуту именно он будет самым сильным и бесстрашным». В Смирнове нет и тени педантизма. Это самый общительный, жизнерадостный и остроумный из людей. Его авторитету подчиняются тем легче, что это наименее видный и повелительный, хотя и непререкаемый авторитет. Группируясь вокруг Смирнова, коммунисты пятой армии слились в особую политическую семью, которая и сейчас, несколько лет после ликвидации 5-й армии, играет роль в жизни страны. «Пятоармеец» в словаре революции имеет особое значение: это значит подлинный революционер, человек долга и прежде всего чистый человек. Вместе с Иваном Никитичем пятоармейцы после конца гражданской войны перенесли весь свой героизм на хозяйственную работу и почти все без исключения оказались в составе оппозиции. Смирнов стоял во главе военной промышленности, затем был Народным Комиссаром почты и телеграфа. Сейчас он в ссылке на Кавказе. В тюрьмах и Сибири можно насчитать немало его сподвижников по пятой армии.

Но революция — великая пожирательница людей и характеров. Последние вести говорят, что и Смирнова сломила борьба и что он проповедует капитуляцию.

Лариса Рейснер, назвавшая Ивана Никитича «совестью Свияжска», сама занимала крупное место в пятой армии, как и во всей революции. Ослепив многих, эта прекрасная молодая женщина пронеслась горячим метеором на фоне революции. С внешностью олимпийской богини она сочетала тонкий иронический ум и мужество воина. После захвата белыми Казани, она, под видом крестьянки, отправилась во вражеский стан на разведку. Но слишком необычна была ее внешность. Ее арестовали. Японский офицер-разведчик допрашивал ее. В перерыве она проскользнула через плохо охранявшуюся дверь и скрылась. С того времени она работала в разведке. Позже она плавала на военных кораблях и принимала участие

в сражениях. Она посвятила гражданской войне очерки, которые останутся в литературе. С такой же яркостью она писала об уральской промышленности и о восстании рабочих в Руре. Она все хотела видеть и знать, во всем участвовать. В несколько коротких лет она выросла в первоклассную писательницу. Пройдя невредимой через огонь и воду, эта Паллада революции внезапно сгорела от тифа в спокойной обстановке Москвы, не достигнув тридцати лет.

Работник подбирался к работнику, под огнем люди научались в неделю, армия складывалась на славу. Самая низкая точка революции — момент падения Казани — осталась позади. Параллельно с этим происходил огромный перелом в крестьянстве. Белые учили мужиков политической грамоте. В течение семи следующих месяцев Красная Армия очистила территорию почти в миллион квадратных километров с населением в 40 миллионов человек. Революция снова наступала. Убегая из Казани, белые увезли с собою хранившийся там со времени февральского наступления Гофмана золотой запас республики. Он был много позже захвачен нами вместе с Колчаком.

Когда я получил возможность отвести глаза от Свияжска, я заметил, что кое-что изменилось в Европе: немецкая армия была в безвыходном положении.

ГЛАВА XXXIV

Поезд

Теперь надо сказать о так называемом «поезде Предреввоенсовета». Моя личная жизнь в течение самых напряженных годов революции была неразрывно связана с жизнью этого поезда. С другой стороны, поезд был неразрывно связан с жизнью

Красной армии. Поезд связывал фронт и тыл, разрешал на месте неотложные вопросы, просвещал, призывал, снабжал, карал и награждал.

Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостные обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. Но армии все же не создаются страхом. Царская армия распалась не из-за недостатка репрессий. Пытаясь спасти ее восстановлением смертной казни, Керенский только добил ее. На пепелище великой войны большевики создали новую армию. Кто хоть немножко понимает язык истории, для того эти факты не нуждаются в пояснениях. Сильнейшим цементом новой армии были идеи октябрьской революции. Поезд снабжал этим цементом фронты.

В Калужской губернии, Воронежской или Рязанской десятки тысяч молодых крестьян не являлись на первые советские призывы. Война шла далеко от их губерний, учет был плох, призывы не брались всерьез. Неявившихся называли дезертирами. Против неявки открыли серьезную борьбу. При военном комиссариате Рязани набралось таких «дезертиров» тысяч пятнадцать. Проезжая через Рязань, я решил посмотреть на них. Меня отговаривали: «как бы чего не вышло». Но все обошлось как нельзя быть лучше. Из бараков их скликали: «товарищи-дезертиры, ступайте на митинг, товарищ Троцкий к вам приехал». Они выбегали возбужденные, шумные, любопытные, как школьники. Я воображал их похуже. Они воображали меня пострашнее. Меня в несколько минут окружила огромная распоясанная недисциплинированная, но ничуть не враждебная братва. «Товарищи-дезертиры» глядели на меня так, что, казалось, у многих выскочат глаза. Взобравшись на стол тут же на дворе, я говорил с ними часа полтора. Это

была благодарнейшая аудитория. Я старался поднять их в их собственных глазах и под конец призвал их поднять руки в знак верности революции. На моих глазах их заразили новые идеи. Ими владел истинный энтузиазм. Они провожали меня до автомобиля, глядели во все глаза, но уже не испуганно, а восторженно, кричали во всю глотку и ни за что не хотели отлипнуть от меня. Я не без гордости узнавал потом, что важным воспитательным средством по отношению к ним служило напоминание: «а ты что обещал Троцкому?». Полки из рязанских «дезертиров» хорошо потом дрались на фронтах.

Я вспоминаю второй класс одесского реального училища св. Павла. Сорок мальчиков ничем особенно не отличались от сорока других мальчиков. Но когда Бюрнанд, с таинственным иксом на лбу, надзиратель Майер, надзиратель Вильгельм, инспектор Каминский и директор Шванебах изо всей силы ударили по более критической и смелой группе школьников, сейчас же подняли голову ябедники и завистливые тупицы, — они повели за собою класс.

В каждом полку, в каждой роте имеются люди разного качества. Сознательные и самоотверженные составляют меньшинство. На другом полюсе — ничтожное меньшинство развращенных, шкурников, или сознательных врагов. Между двумя меньшинствами — большая середина, неуверенно колеблющиеся. Развал получается тогда, когда лучшие гибнут или оттираются, шкурники или враги берут верх. Средние не знают в таких случаях, с кем итти, а в час опасности поддаются панике. 24 февраля 1919 г. я говорил в Колонном зале Москвы молодым командирам: «Дайте три тысячи дезертиров, назовите это полком, я им дам боевого командира, хорошего комиссара, подходящих батальонных, ротных, взводных, — и три тысячи дезертиров в течение четырех недель дадут у нас, в революционной стране, превосходный полк . . . В самые последние недели — добавил я — мы снова проверили это на опыте Нарвского и Псков-

ского участков фронта, где нам из обломков удалось создать прекрасные боевые части».

Два с половиной года, с короткими сравнительно перерывами, я прожил в железнодорожном вагоне, который раньше служил одному из министров путей сообщения. Вагон был хорошо оборудован с точки зрения министерского комфорта, но мало приспособлен для работы. Здесь я принимал являвшихся в пути с докладами, совещался с местными военными и гражданскими властями, разбирался в телеграфных донесениях, диктовал приказы и статьи. Отсюда же я совершал со своими сотрудниками большие поездки по фронту на автомобилях. В свободные часы я диктовал в вагоне свою книгу против Каутского и ряд других произведений. В те годы я, казалось, навсегда привык писать и размышлять под аккомпанимент пульмановских рессор и колес.

Поезд мой был организован спешно в ночь с 7-го на 8-ое августа 1918 г. в Москве. На утро я отправился в нем в Свияжск на чехо-словацкий фронт. Поезд в дальнейшем непрерывно перестраивался, усложнялся, совершенствовался. Уже в 1918 году он представлял из себя летучий аппарат управления. В поезде работали: секретариат, типография, телеграфная станция, радио, электрическая станция, библиотека, гараж и баня.

Поезд был так тяжел, что шел с двумя паровозами. Потом пришлось разбить его на два поезда. Когда обстоятельства вынуждали дольше стоять на каком-нибудь участке фронта, один из паровозов выполнял обязанности курьера. Другой всегда стоял под парами. Фронт был подвижный, и с ним шутить нельзя было.

У меня нет под руками истории поезда. Она хранится где-то в архивах военного ведомства. В свое время ее тщательно разработали мои молодые сотрудники. Диаграмма передвижений поезда расчерчена была для выставки гражданской войны и собирала вокруг себя, как сообщали газеты, много

посетителей; затем перешла в музей гражданской войны. Теперь она где-нибудь спрятана в укромном месте, с сотнями, тысячами других экспонатов: плакатов, воззваний, приказов, знамен, фотографий, кинематографических лент, книг и речей, отражавших важнейшие моменты гражданской войны и так или иначе связанных с моим участием в ней.

Военное издательство успело в течение 1922—1924 г.г., т. е. до разгромов оппозиции выпустить в пяти томах мои работы, относящиеся к армии и гражданской войне. История поезда не вошла в них. Орбиту его передвижений я мог бы сейчас лишь отчасти восстановить по пометкам под передовицами поездной газеты «В пути»: Самара, Челябинск, Вятка, Петроград, Балашов, Смоленск, снова Самара, Ростов, Новочеркасск, Киев, Житомир и т. д. без конца. У меня нет под руками даже точной цифры общего пробега поезда за время гражданской войны. Одно из пояснительных примечаний к моим военным работам называет 36 рейсов, общим протяжением свыше 105 тысяч километров. Один из моих былых спутников пишет мне, ссылаясь на свою память, будто мы за три года пять с половиною раз опоясали земной шар, т. е. дает цифру в два раза большую. Сюда не входят десятки тысяч километров на автомобилях, в сторону от железной дороги и вглубь фронта. Так как поезд направлялся всегда в наиболее критические пункты, то схема его поездок, нанесенная на карту, давала довольно точную и в то же время наглядную картину относительной важности разных фронтов. Больше всего поездок пришлось на 1920 год, т. е. на последний год войны. Преобладающее число поездок выпало на южный фронт, который все время был самым упорным, самым длительным и самым опасным.

Чего искал «поезд Предреввоенсовета» на фронтах гражданской войны? Общий ответ ясен: он искал победы. Но что он давал фронтам? Какими методами действовал? Какой непосредственной цели слу-

жили его непрерывные пробеги из конца в конец страны? Это не были просто инспекционные поездки. Нет, работа поезда была теснейшим образом связана со строительством армии, с воспитанием ее, с управлением ею и со снабжением ее. Мы строили армию заново, притом под огнем. Так было не только под Свияжском, где поезд записал первый месяц своей истории. Так было на всех фронтах. Из партизанских отрядов, из беженцев, уходивших от белых, из мобилизованных в ближайших уездах крестьян, из рабочих отрядов, посылавшихся промышленными центрами, из групп коммунистов и профессионалистов, тут же, на фронте, формировались роты, батальоны, свежие полки, иногда целые дивизии. После поражений и отступлений рыхлая, панически настроенная масса превращалась в две-три недели в боеспособные части. Что для этого нужно было? И много и мало. Дать хороших командиров, несколько десятков опытных бойцов, десяток самоотверженных коммунистов, добыть босым сапоги, устроить баню, провести энергичную агитационную кампанию, накормить, дать белья, табаку и спичек. Всем этим занимался поезд. У нас всегда было в резерве несколько серьезных коммунистов, чтоб заполнять бреши, сотня-две хороших бойцов, небольшой запас сапог, кожаных курток, медикаментов, пулеметов, биноклей, карт, часов и всяких других подарков. Непосредственные материальные рессурсы поезда были, разумеется, незначительны по сравнению с нуждами армии. Но они постоянно обновлялись. А главное они десятки и сотни раз играли роль той лопатки угля, которая необходима в данный момент, чтоб не дать потухнуть огню в камине. В поезде работал телеграф. Мы соединялись прямым проводом с Москвой, и мой заместитель Склянский принимал от меня требования на самые необходимые для армии — иногда для дивизии, даже для отдельного полка — предметы снабжения. Они появлялись с такой скоростью, которая была бы совершенно неосуществима без моего вме-

шательства. Конечно, этот метод нельзя назвать правильным. Педант скажет, что в снабжении, как и во всем вообще военном деле, важнее всего система. Это правильно. Я сам склонен грешить скорее в сторону педантизма. Но дело в том, что мы не хотели погибнуть прежде, чем нам удастся создать стройную систему. Вот почему мы вынуждены были, особенно в первый период, заменять систему импровизациями, чтобы на них можно было в дальнейшем опереть систему.

Во всех поездках меня сопровождали руководящие работники всех основных управлений армии, прежде всего — всех видов снабжения. Интендантов мы получили в наследство от старой армии. Они пытались работать по старому и даже хуже того, ибо условия стали неизмеримо труднее. На этих поездках переучивались по новому многие старые специалисты, и подучивались на живом опыте новые. После объезда дивизии и выяснения на месте ее нужд, я собирал в штабе или в вагоне-ресторане поезда совещание, как можно более широкое, с участием представителей местной партийной организации, советских органов и профессиональных союзов. Таким образом я получал картину положения без фальши и прикрас. Совещания давали, сверх того, всегда непосредственные практические результаты. Как ни бедны были органы местной власти, они всегда оказывались способны потесниться и подтянуться, пожертвовав коечем в пользу армии. Особенно важными были жертвы коммунистами. Новый десяток работников извлекался из учреждений и тут же включался в неустойчивый полк. Находился запас тканей на рубахи и портянки, кожи на подметки, лишний центнер жиров. Но местных средств, конечно, не хватало. После совещания я передавал по прямому проводу точный заказ в Москву, в пределах рессурсов центра, и в результате дивизия получала то, что ей нужно было до зарезу, и притом в срок. Командиры и комиссары фронта научались на опыте поезда подходить к своей

работе — командной, воспитательной, снабженческой, судебной, — не сверху, с высоты штабов, а снизу, от роты и взвода, от молодого и неопытного новобранца.

Постепенно слагались более или менее правильно действующие аппараты централизованного снабжения фронта и армий. Но они одни не справлялись и не могли справиться с делом. Самый идеальный аппарат во время войны будет давать перебои, особенно же во время маневренной войны, которая целиком построена на движении, иногда, увы, в совершенно непредвиденных направлениях. Не надо к тому же забывать, что мы воевали без запасов. Уже в 1919 году на центральных складах не оставалось ничего. Рубаха шла на фронт из-под иглы. Хуже всего обстояло с ружьями и патронами. Тульские заводы готовили их на текущий день. Ни один вагон патронов не мог получить назначения без подписи главнокомандующего. Снабжение огнестрельными припасами и винтовками всегда было натянуто, как струна. Иногда эта струна рвалась. Тогда мы теряли людей и пространство.

Без новых и новых импровизаций во всех областях, война была бы для нас немыслима. Поезд был инициатором таких импровизаций, а вместе с тем и их регулятором. Давая толчок инициативе фронта и ближайшего тыла, мы заботились о том, чтоб эта инициатива вливалась постепенно в каналы общей системы. Я не хочу сказать, что этого всегда удавалось достигнуть. Но, как показал исход гражданской войны, мы достигли самого главного: победы.

Особенно важны бывали поездки на те участки фронта, где измена командного состава порождала иногда катастрофические потрясения. 23-го августа 1918 г., в самые критические дни под Казанью, я получил от Ленина и Свердлова шифрованную телеграмму:

«Свияжск Троцкому. Измена на саратовском фронте, хотя и открытая во время, вызвала все же

колебания, крайне опасные. Мы считаем абсолютно необходимой немедленную вашу поездку туда, ибо ваше появление на фронте производит действие на солдат и на всю армию. Сговоримся о посещении других фронтов. Отвечайте и указывайте на день вашего отъезда, все шифром. № 80. 22 августа 1918 г. Ленин. Свердлов».

Я считал совершенно невозможным покидать Свияжск: отъезд поезда потряс бы казанский фронт, переживавший и без того трудные часы. Казань была во всех отношениях важнее Саратова. Ленин и Свердлов с этим вскоре сами согласились. В Саратов я съездил лишь после возвращения Казани. Но такие телеграммы настигали поезд в дальнейшем на всем его пути. Киев и Вятка, Сибирь и Крым жаловались на трудное оположение и требовали по очереди и одновременно, чтоб поезд спешил к ним на выручку.

Война развертывалась по периферии страны, часто в самых глухих углах растянувшегося на восемь тысяч километров фронта. Полки и дивизии по месяцам оставались оторванными от всего мира. Их заражало настроение безнадежности. Нередко не хватало телефонного имущества даже для внутренних надобностей. Поезд являлся для них вестником иных миров. У нас имелся всегда запас телефонных аппаратов и провода. Над специальным вагоном связи натянута была антена, которая позволяла в пути принимать радиотелеграммы Эйфеля, Науэна, общим числом до тринадцати станций, и в первую голову, конечно, Москвы. Поезд всегда был в курсе того, что происходит во всем мире. Важнейшие телеграммы печатались в поездной газете, комментировались на ходу в статьях, листках и приказах. Авантюра Каппа, внутренние заговоры, английские выборы, ход хлебозаготовок или подвиги итальянского фашизма освещались по горячим следам событий и приводились в связь с судьбами астраханского или архангельского фронта. Статьи одновременно передавались по прямому проводу в Москву и оттуда по радио печати

всей страны. Появление поезда включало самую оторванную часть в круг всей армии, в жизнь страны и всего мира. Тревожные слухи и сомнения рассеивались, настроени крепло. Этого морального заряда хватало на несколько недель, иногда до нового приезда. В промежутке совершались поездки членами революционного военного совета фронта или армии, по тому же типу, только в более скромном масштабе.

Не только литературная, но и вся остальная моя работа в поезде была бы немыслима без моих сотрудников-стенографов: Глазмана, Сермукса и, более молодого, Нечаева. Они работали днем и ночью, на ходу поезда, который, нарушая в горячке войны все правила осторожности, мчался по разбитым шпалам со скоростью в семьдесят и больше километров, так что свисавшая с потолка вагона карта раскачивалась, как качели. Я всегда с удивлением и благодарностью следил за движением руки, которая, несмотря на толчки и тряску, уверенно выводила тонкие письмена. Когда мне приносили через полчаса готовый текст, он не нуждался в поправках. Это не была обычная работа, она переходила в подвиг. Глазман и Сермукс жестоко поплатились впоследствии за свое подвижничество на слубже революции: Глазмана сталинцы довели до самоубийства, Сермукса заперли в сибирской глуши.

В состав поезда входили: огромный гараж, включавший в себя несколько автомобилей, и цистерна бензина. Это давало возможность отъезжать от железной дороги на сотни верст. На грузовиках и легковых машинах размещалась команда отборных стрелков и пулеметчиков, человек двадцать-тридцать. На моем автомобиле также имелась пара ручных пулеметов. Маневренная война полна неожиданностей. В степях мы всегда рисковали наткнуться на казачьи разъезды. Автомобили с пулеметами — это хорошая страховка, по крайней мере, в тех случаях, когда степь не превращается в море грязи. В воронежской губернии пришлось однажды осенью 1919 года пере-

двигаться со скоростью трех километров в час. Автомобили глубоко вязли в размытом черноземе. Тридцать человек соскакивали каждый раз на землю и нажимали плечом. Переезжая через реку в брод, мы застряли посредине. Я с горяча обвинил слишком низко сидящую машину, которую мой великолепный шофер, эстонец Пюви, считал лучшей из всех машин мира. Он обернулся ко мне и, чуть взяв под козырек, отрапортовал на ломанном русском языке: «Осмелюсь доложить, инженеры не предвидели, что мы по водам плавать будем». Несмотря на трудность положения мне хотелось его обнять за холодную меткость иронии.

Поезд был не только военно-административным и политическим, но и боевым учреждением. Многими своими чертами он ближе стоял к бронированному поезду, чем к штабу на колесах. Да он и был забронирован, по крайней мере, паровозы и вагоны с пулеметами. Все работники поезда без исключения владели оружием. Все носили кожанное обмундирование, которое придает тяжеловесную внушительность. На левом рукаве у всех, пониже плеча, выделялся крупный металический знак, тщательно выделанный на монетном дворе и приобревший в армии большую популярность. Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией. Для поддержания бдительности в пути часто устраивались тревоги, и днем и ночью. Вооруженные отряды сбрасывались с поезда по мере надобности, для «дессантных» операций. Каждый раз появление кожанной сотни в опасном месте производило неотразимое действие. Чувствуя поезд в немногих километрах от линии огня, даже наиболее нервно настроенные части, и прежде всего их командный состав, тянулись из всех сил. При неустойчивом равновесии весов решает небольшая гирька. Такой гирькой поезду и его отрядам приходилось быть за два с половиною года многие десятки, если не сотни раз. При приемке «дессанта» на борт мы обычно кого-либо не досчитывались. В общем, поезд

потерял убитыми и ранеными около 15 человек, не считая тех, которые совсем уходили в полевые части и таким путем выпадали из поля нашего зрения. Так, из состава поезда была выделена команда в образцовый бронепоезд имени Ленина, другая влита была в полевые части под Петроградом. За участие в боях против Юденича поезд в целом награжден был орденом Красного Знамени.

Поезд бывал отрезываем, подвергался обстрелам и воздушным налетам. Немудренно, если его окутала легенда, сотканная из уже одержанных побед и из домыслов воображения. Сколько раз бывало командир дивизии, бригады, даже полка, просит остаться у него в штабе лишние полчаса просто посидеть, или проехать с ним в автомобиле или верхом на дальний участок, или хотя бы отправить туда несколько человек команды с предметами снаряжения и подарками, чтоб только шире пошел слух о прибытии поезда на фронт. «Это заменит резервную дивизию», говорили командующие армиями. Слух о прибытии поезда проникал, разумеется, и во вражеские ряды. Там рисовали себе таинственный поезд неизмеримо страшнее, чем он был на деле. Это только усиливало его моральное значение.

Поезд завоевал себе ненависть врагов и гордился ею. Социалисты-революционеры несколько раз затевали покушение на него. Об этом подробно рассказал на процессе эс-эров Семенов, организатор убийства Володарского и покушения на Ленина, участник в подготовке покушений на поезд. В сущности говоря, такое предприятие не представляло больших трудностей. Но эс-эры к тому времени политически ослабели, утратили веру в себя и потеряли влияние на молодежь.

Во время одной из поездок на Юг поезд подвергся крушению на станции Горки. Ночью меня подкинуло, и я почувствовал ту жуть, которую чувствуют во время землетрясения: почва уходит из-под

ног, нет опоры. Еще в полусне я из всех сил обхватил свою постель поперек. Привычный грохот сразу прекратился, вагон встал ребром и замер. В ночной тишине раздавался лишь одинокий слабый, жалобный голос. Тяжелые двери вагона так перекосило, что они не открывались, выйти нельзя было. Никто не показывался, и это рождало тревогу. Не враги ли? С револьвером в руке я выскочил через окно и натолкнулся на человека с фонарем. Это был начальник поезда, который не мог пробраться ко мне. Вагон стоял на откосе, зарыв три колеса глубоко в насыпь и подняв три других над рельсами. Задняя и передняя площадки были исковерканы. Передней решеткой придавило к площадке часового. Это его жалобный голосок, точно плач ребенка, раздавался во тьме. Освободить его из под плотно накрывшей его решетки было не легко. Ко всеобщему удивлению оказалось, что часовой отделался только синяками и испугом. Всего было разбито восемь вагонов. Ресторан, игравший роль поездного клуба, представлял груду полированных щепок. Ожидавшие заступить свою смену читали там или играли в шахматы. Все они покинули клуб ровно в полночь, за десять минут до крушения. Жестоко пострадали еще товарные вагоны с книгами, обмундированием и подарками для фронта. Из людей не пострадал серьезно никто. Причиной оказалась неправильно переведенная стрелка. Была ли за этим неряшливость или умысел, осталось неизвестным. На счастье мы проезжали мимо станции со скоростью всего 30-и километров.

Команда поезда выполняла многие побочные поручения: во время голода, эпидемий, агитационных кампаний или международных конгрессов. Поезд был шефом волости и детских домов. Его коммунистическая ячейка издавала свою газету «На Страже». Там не мало записано боевых эпизодов и приключений. К сожалению этого журнала, как и многого другого, нет в моем нынешнем походном архиве.

Отправляясь на подготовку наступления против

Врангеля, засевшего в Крыму, я писал 27 октября 1920 г. в походной газете «В пути»:

«Наш поезд снова держит путь на фронт.

Бойцы нашего поезда были под стенами Казани в те тяжкие недели 1918 года, когда шла борьба за Волгу. Эта борьба закончилась давно. Советская власть приближается к Тихому океану.

Бойцы нашего поезда с честью дрались под стенами Петрограда... Петроград уцелел, и в его стенах перебывало за последние годы немало представителей мирового пролетариата.

Наш поезд не раз бывал на западном фронте. Ныне с Польшей подписан предварительный мир.

Бойцы нашего поезда были в степях Дона, когда Краснов, а затем Деникин наступали с юга на Советскую Россию. Дни Краснова и Деникина прошли давно.

Остался Крым, который французское правительство превратило в свою крепость. Белогвардейским гарнизоном этой французской крепости командует вольнонаемный немецко-русский генерал барон Врангель.

В новый поход отправляется дружная семья нашего поезда. Да будет этот поход последним».

Крымский поход действительно стал последним походом гражданской войны. Через несколько месяцев поезд уже был расформирован. С этих страниц я посылаю своим бывшим соратникам братский привет!

ГЛАВА XXXV

Оборона Петрограда

На революционных фронтах Советской Республики стояло шестнадцать армий. Великая французская революция знала почти столько же: четырнадцать. Каждая из шестнадцати советских армий

имела свою недолгую, но яркую историю. Стоило назвать номер армии, чтоб сразу же вызвать в памяти десятки неповторимых эпизодов. Каждая армия имела живое, яркое, хотя и непостоянное лицо.

На западных подступах к Петрограду стояла 7-я армия. Длительная неподвижность тяжело отразилась на ней. Бдительность ослабела. Из армии извлекались лучшие работники и отдельные команды для других, более оживленных участков фронта. Для революционной армии, которая нуждается в зарядах энтузиазма, топтание на месте почти всегда заканчивается неудачами, иногда катастрофой. Так было и на этот раз.

В Июне 1919 г. важный в финском заливе форт Красная Горка был захвачен отрядом белогвардейцев. Через несколько дней форт был отбит отрядом красных моряков. Раскрылось, что начальник штаба 7-й армии полковник Люндквист передавал белым все сведения из первых рук. С ним заодно были и другие заговорщики. Это потрясло армию.

В июле главнокомандующим северо-западной армии белых становится генерал Юденич, которого Колчак признал своим представителем. При содействии Англии и Эстонии создано было в августе русское «северо-западное» правительство. Английский флот в Финском заливе обещал Юденичу поддержку.

Наступление Юденича приурочено было к такому моменту, когда нам приходилось и без того смертельно трудно. Деникин взял Орел и угрожал Туле, центру военной промышленности. Дальше открывался короткий путь на Москву. Юг привлекал все наше внимание. Первый же крепкий удар с запада окончательно выбил 7-ю армию из равновесия. Она стала откатываться почти без сопротивления, бросая оружие и обозы. Питерские руководители, и прежде всего Зиновьев, сообщали Ленину о превосходном во всех отношениях вооружении противника: автоматы, танки, аэропланы, английские мониторы на фланге и прочее. Ленин пришел к выводу, что успешно бо-

роться против офицерской армии Юденича, вооруженной по последнему слову техники, мы могли бы только ценою оголения и ослабления других фронтов, прежде всего южного. Но об этом не могло быть и речи. Оставалось, по его мнению, одно: сдать Петроград и сократить фронт. Придя к выводу о необходимости такой тяжкой ампутации, Ленин принялся перетягивать на свою сторону других.

Прибыв в Москву с юга, я решительно воспротивился этому плану. Петроградом Юденич и его хозяева не удовлетворятся: они хотят встретиться с Деникиным в Москве. В Петрограде Юденич найдет огромные промышленные рессурсы и человеческий материал. К этому же между Питером и Москвой нет серьезных преград. Отсюда я делал вывод: надо отстоять Петроград во что бы то ни стало. Я встретил поддержку прежде всего, разумеется, со стороны петроградцев. Крестинский, бывший тогда членом политбюро, стал на мою сторону. Кажется, и Сталин присоединился ко мне. Я несколько раз в течение суток аттаковал Ленина. В конце концов он сказал: «что-ж, давайте, попробуем». 15-го октября политбюро приняло мою резолюцию о положении на фронтах: «Признавая наличность грозной военной опасности, добиться действительного превращения Советской России в военный лагерь. Провести через партийные и профессиональные организации поголовный учет членов партии, советских работников и работников профессиональных союзов с точки зрения военной пригодности». Дальше следовал перечень ряда практических мер. В отношении Петрограда: «не сдавать». В тот же день я внес в Совет Обороны проект постановления: «защищать Петроград до последней капли крови, не уступая ни одной пяди и ведя борьбу на улицах города». Я не сомневался, что белая армия в 25 000 бойцов, если-б ей даже удалось ворваться в миллионный город, обречена была бы на гибель, при встрече серьезного и правильно организованного сопротивления на улицах. Вместе с тем я считал необ-

ходимым, особенно на случай выступления Эстонии и Финляндии, подготовить план отхода армии и рабочих в юговосточном направлении: это была единственная возможность спасти цвет питерских рабочих от поголовного истребления.

16-го я выехал в Петроград. На другой день я получил письмо Ленина: «17-го октября 1919 года. Тов. Троцкий. Вчера ночью послали вам шифром... постановление Совета Обороны. Как видите, принят ваш план. Но отход питерских рабочих на юг, конечно, не отвергнут (вы, говорят, развивали это Красину и Рыкову); об этом говорить раньше надобности значило бы отвлечь внимание от борьбы до конца. Попытка обхода и отрезывания Питера, понятно, вызовет соответственные изменения, которые вы проведете на месте... Прилагаю воззвание, порученное мне советом обороны. Спешил — вышло плохо, лучше поставьте мою подпись под вашим. Привет. — Ленин».

Письмо это, думается мне, достаточно ярко показывает, как самые острые эпизодические разногласия мои с Лениным, неизбежные в работе такого масштаба, преодолевались на практике, не оставляя никакого следа на наших личных отношениях и совместной работе. Мне приходит в голову, что еслибы в октябре 1919 г. не Ленин против меня, а я против Ленина защищал идею сдачи Петрограда, на всех языках мира существовала бы сегодня обильная литература для изобличения этого гибельного проявления «троцкизма».

В течение 1918-го года Антанта навязывала нам гражданскую войну, якобы в интересах победы над Вильгельмом. Но теперь шел 19-й год. Германия была давно разбита. Антанта продолжала, однако, расходовать сотни миллионов на то, чтоб сеять смерть, голод и эпидемии в стране революции. Юденич был одним из кондотьеров на жалованьи Англии и Франции. Спину Юденича подпирала Эстония, его левый фланг прикрывала Финляндия. Антанта тре-

бовала, чтоб обе эти страны, освобожденные революцией, помогли зарезать ее. В Гельсингфорсе, как и в Ревеле, велись безконечные переговоры, чаши весов колебались то туда, то сюда. Мы с тревогой глядели за двумя маленькими государствами, образовавшими враждебные клещи над головою Петрограда.

1-го сентября я, в порядке предупреждения, писал в «Правде»: «В числе тех дивизий, какие мы теперь перебрасываем на петроградский фронт, башкирская конница займет не последнее место, и, в случае покушения буржуазных финнов на Петроград, красные башкиры выступят под лозунгом — на Гельсингфорс!».

Башкирская кавалерийская дивизия была лишь недавно сформирована. Я с самого начала имел в виду перевести ее на несколько месяцев в Петроград, чтоб дать возможность степнякам прожить некоторое время в культурной обстановке города, сблизиться с рабочими, посетить клубы, митинги и театры. Теперь к этому присоединилось новое, более неотложное соображение: напугать финляндскую буржуазию призраком башкирского нашествия.

Наши предупреждения имели, однако, меньше веса, чем быстрые успехи Юденича. 13 октября он взял Лугу, 16-го — Красное Село и Гатчину, направляя удар на Петроград и на перерез железной дороге Петроград — Москва. На 10-й день наступления Юденич был уже в Царском (Детском). Его конные разъезды видели с возвышенности золоченный купол Исаакиевского собора.

Предупреждая события, финляндский радиотелеграф сообщил о занятии Петрограда отрядами Юденича. Посланники Антанты в Гельсингфорсе донесли об этом официально своим правительствам. По всей Европе, по всему миру прошла весть о том, что красный Петроград пал. Шведская газета писала о «мировой неделе петроградской лихорадки».

Больше всего трепало правящие круги Финляндии. Уже не только военщина, но и правительство

стояло за вмешательство. Никому не хотелось упускать добычу. Финляндская социалдемократия обещала, разумеется, соблюдать «нейтралитет». «Вопрос об интервенции — пишет один из белых историков, уже дебатировался только с точки зрения финансовой». Оставалось оформить гарантию 50 миллионов франков: такова была цена крови Петрограда на бирже Антанты.

Не менее жгуче стоял вопрос об Эстонии. 17-го октября я писал Ленину: «Если отстоим Петроград, на что надеюсь, то получим возможность ликвидировать Юденича целиком. Затруднением явится право убежища Юденича в Эстонии. Нужно, чтобы Эстония оберегала свои границы от его вторжения. В противном случае мы должны сохранить за собой право вторгнуться в Эстонию по пятам Юденича». Предложение это было принято после того, как наши войска погнали Юденича. Но погнать удалось не сразу.

В Петрограде я застал жесточайшую растерянность. Все ползло. Войска откатывались, рассыпаясь на части. Командный состав глядел на коммунистов, коммунисты на Зиновьева. Центром растерянности был Зиновьев. Свердлов говорил мне: «Зиновьев — это паника». А Свердлов знал людей. И действительно: в благоприятные периоды, когда по выражению Ленина, «нечего было бояться», Зиновьев очень легко взбирался на седьмое небо. Когда же дела шли плохо, Зиновьев ложился обычно на диван, не в метафорическом, а в подлинном смысле, и вздыхал. Начиная с семнадцатого года, я мог убедиться, что средних настроений Зиновьев не знал: либо седьмое небо, либо диван. На этот раз я застал его на диване. Вокруг него были и мужественные люди, как Лашевич. Но и у них опустились руки. Это чувствовалось всеми и отражалось на всем. По телефону из Смольного я заказал себе автомобиль в военном гараже. Автомобиль не пришел в срок. По голосу нарядчика я почувствовал, что апатия, безнадежность,

обреченность захватили и низы административного аппарата. Нужны были исключительные меры, ибо враг был уже у ворот. Как всегда в таких случаях, я опирался на команду моего поезда. На этих людей можно было надеяться в самых трудных условиях. Они проверяли, нажимали, связывали, заменяли негодных, затыкали бреши. От потерявшего лицо официального аппарата я спустился двумя-тремя этажами ниже: к районным организациям партии, заводам, фабрикам, казармам. В ожидании близкой сдачи города белым никто не решался слишком высовываться вперед. Но как только внизу почувствовали, что Петроград сдан не будет, что, в случае надобности, он будет обороняться внутри, на улицах и площадях, настроение сразу изменилось. Наиболее смелые и самоотверженные подняли головы. Отряды мужчин и женщин с саперными инструментами расходились из заводов и фабрик. Плохо выглядели тогда рабочие Петрограда: землистые от недоедания лица, в лохмотья разношенное платье, дырявые сапоги на ногах, нередко от разных пар. — Не отдадим Питера, товарищи? — Не отдадим! Особенной страстью горели глаза женщин. Матери, жены, дочери не хотели отрываться от неприветливых, но все же обогретых гнезд. — «Не отдадим», звучали высокие женские голоса в ответ, и руки сжимали заступы, как винтовки. Не мало женщин владели подлинной винтовкой или становились у пулемета. Весь город был разбит на районы, которые руководились рабочими штабами. Важнейшие пункты опутывались проволокой. Был выбран ряд позиций для артиллерии с заранее намеченным обстрелом. На площадях и важнейших перекрестках было установлено около 60 орудий в прикрытиях. Укреплялись каналы, скверы, стены, заборы и дома. На окраинах и вдоль Невы были вырыты окопы. Вся южная часть города превратилась в крепость. На многих улицах и площадях были устроены баррикады. Из рабочих кварталов повеяло новым духом на казармы, на тылы, на армию в поле.

Юденич находился уже на расстоянии 10—15 верст от Петрограда. Это были те самые пулковские высоты, куда я выезжал два года тому назад, когда едва победившая революция отстаивала свою жизнь в борьбе с отрядами Керенского и Краснова. Судьба Петрограда висела теперь снова на волоске. Надо было сломить инерцию отступления, немедленно и во что бы то ни стало.

Приказом 18-го октября я требовал «не писать ложных сведений о жестоких боях там, где была жестокая паника. За неправду карать, как за измену. Военное дело допускает ошибки, но не ложь, обман и самообман». Как всегда в трудные часы, я считал необходимым прежде всего обнажить перед армией и страною жестокую правду. Я предал гласности бессмысленное отступление, происшедшее в тот же день. «Рота стрелкового полка заволновалась по поводу неприятельской цепи против ее фланга. Командир полка отдал приказ отступать. Полк рысью прошел верст 8—10, откатившись на Александровку. По проверке оказалось, что на фланге находится наша же собственная часть . . . . Отхлынувший полк оказался, однако, вовсе не так уж плох. Как только ему было возвращено доверие к себе, он немедленно повернул назад и, где быстрым шагом, а где бегом, весь в поту, несмотря на холодную погоду, прошел 8 верст за час, выбил немногочисленного противника, и занял прежние свои позиции, понеся небольшие потери».

В этом небольшом эпизоде мне пришлось в первый и единственный раз за всю войну играть роль полкового командира. Когда отступающие цепи почти вплотную навалились на штаб дивизии в Александровке, я сел на первую попавшуюся лошадь и повернул цепи кругом. В первые минуты было замешательство, не все понимали, в чем дело, некоторые продолжали отступать. Но я на лошади заворачивал всех по одиночке. Тут только я заметил, что за мной по пятам мчится мой ординарец Козлов, подмосковный крестьянин, из бывших солдат. Он был в полном

опьянении. С наганом в руке он метался по цепи, повторял мои призывы, потрясал револьвером и вопил изо всех сил: «Не робей, ребята, товарищ Троцкий вас ведет» . . . Наступление шло теперь таким же темпом, как раньше отступление. Ни один красноармеец не отстал. Верстах в двух началось сладенькое и гнусное посвистывание пуль, свалились первые раненые. Командир полка стал неузнаваем. Он показывался на наиболее тревожных участках и, пока полк вернул покинутые перед тем позиции, командир был ранен в обе ноги. Я возвращался в штаб на грузовике. По дороге мы подбирали раненых. Толчок был дан. Я всем существом почувствовал, что Петроград мы отстоим.

Здесь, пожалуй, надо остановиться на вопросе, который может быть уже раза два напрашивался у читателя: имеет ли право человек, руководящий армией в целом, подвергать себя личной опасности в отдельных боях? На это отвечу: абсолютных правил поведении не существует, ни для мира, ни для войны. Все зависит от обстоятельств. Офицеры, сопровождавшие меня в поездках по фронту, не раз говорили: «в такие места и начальники дивизий в старое время не заглядывали». Буржуазные журналисты писали по этому поводу о погоне за «рекламой», переводя на близкий им язык то, что поднималось над их горизонтом.

На самом деле условия возникновения красной армии, подбор ее личного состава и самый характер гражданской войны требовали именно такого поведения, а не иного. Все ведь создавалось заново: дисциплина, боевые навыки и военные авторитеты. Как мы не в силах были, особенно в первый период, снабжать армию по плану всем необходимым из одного центра, так мы не могли заражать эту под огнем сколоченную армию революционным порывом при помощи циркуляров или полуанонимных воззваний. На глазах солдат нужно было сегодня завоевывать тот авторитет, который завтра оправдывал бы в их глазах

суровую требовательность со стороны высшего руководства. Где не было традиции, там нужен был яркий пример. Личный риск являлся необходимым накладным расходом на пути к победе...

Командный состав, втянувшийся в неудачи, пришлось перетряхнуть, освежить, обновить. Еще большие перемены произведены были в комиссарском составе. Все части укреплялись изнутри коммунистами. Прибывали и отдельные свежие части. На передовые позиции выброшены были военные школы. В два—три дня удалось подтянуть совсем опустившийся аппарат снабжения. Красноармеец плотнее поел, сменил белье, переобулся, выслушал речь, встряхнулся, подтянулся и — стал другим.

День 21-го октября был решающим. Наши войска отступили на Пулковские высоты. Отступление отсюда означало бы, что борьба будет вестись уже в стенах города. До этого дня белые наступали, встречая ничтожное сопротивление. 21-го наша армия закрепилась на линии Пулкова и дала отпор. Наступление врага приостановилось. 22-го красная армия сама перешла в наступление. Юденич успел подтянуть резервы и уплотнить ряды. Бои получили ожесточенный характер. К вечеру 23-го мы завладели Детским Селом и Павловском. Тем временем соседняя 51-я армия начала нажимать с юга, все более угрожая тылу и правому флангу белых. Наступил перелом. Части, застигнутые наступлением врасплох и ожесточенные рядом неудач, стали соперничать в самоотвержении и героизме. Было много жертв. Белое командование утверждало, что на нашей стороне жертв было больше. Возможно: у них было больше опыта и оружия. На нашей стороне был перевес самоотвержения. Молодые рабочие и крестьяне, московские и питерские курсанты, не щадили себя. Они наступали под пулеметами и бросались на танки с револьвером в руке. Штаб белых писал о «героическом безумии» красных.

В прошлые дни почти не было пленных; белые

перебежчики насчитывались единицами. Теперь число перебежчиков и пленных сразу возросло. Считаясь с ожесточением боев, я издал 24-го октября приказ: «Горе тому недостойному солдату, который занесет нож над безоружным пленным или над перебежчиком!».

Мы наступали. Ни эстонцы, ни финны уже не помышляли более о вмешательстве. Разгромленные белые в течение двух недель докатились до границ Эстонии в состоянии полного распада. Эстонское правительство их разоружило. Ни в Лондоне, ни в Париже никто не думал более о них. В голоде и холоде погибло то, что было вчера еще «северо-западной армией» Антанты. В лазаретные бараки перешло 14 000 тифозных. Так закончилась «мировая неделя петроградской лихорадки».

Белые руководители горько жаловались впоследствии на английского адмирала Кована, который, вопреки обещанию, будто бы недостаточно поддерживал их со стороны Финского залива. Эти жалобы, по меньшей мере, преувеличены. Три наших миноносца погибли от мин в ночном походе, унеся в пучину 550 молодых моряков. Это во всяком случае должно быть записано в счет британскому адмиралу. Траурный приказ по армии и флоту говорил в этот день:

«Красные воины! На всех фронтах вы встречаетесь с враждебными кознями Англии. Контр-революционные войска стреляют по вам из английских орудий. На складах Шенкурска, Онеги, южного и западного фронтов вы находите снабжение английского производства. Захваченные вами пленные одеты в английское обмундирование. Женщины и дети Архангельска и Астрахани убиваются и калечатся английскими летчиками при помощи английского динамита. Английские корабли обстреливают наши побережья...

«Но и сейчас, в минуту наших ожесточенных боев против наемника Англии, Юденича, я требую от вас: не забывайте никогда, что существует две Англии. Наряду с Англией барыша, насилья, подкупа,

кровожадности существует Англия труда, духовного могущества, великих идеалов международной солидарности. Против нас борется биржевая Англия, низменная и бесчестная. Трудовая, народная Англия за нас». (Приказ по армии и флоту, 24 октября 1919 г., № 159).

Задачи социалдемократического воспитания тесно связывались у нас с боевыми задачами. Те идеи, которые входят в сознание под огнем, входят крепко и навсегда.

* * *

Трагическое чередуется в драмах Шекспира с комическим по той же причине, по которой в жизни человеческой великое сочетается с малым и с пошлым.

Зиновьев, который к этому времени успел встать с дивана и взбирался на второе или третье небо, вручил мне от имени Коммунистического Интернационала следующую грамоту: «Отстоять красный Петроград означало оказать мировому пролетариату, а стало быть и Коммунистическому Интернационалу, неоценимую услугу. Первое место в борьбе за Петроград принадлежит, разумеется, вам, дорогой товарищ Троцкий. От имени Исполкома Коминтерна я передаю вам знамена, которые прошу передать наиболее заслуженным частям руководимой вами славной Красной Армии. Председатель Исполкома Коминтерна Г. Зиновьев».

Подобные же грамоты я получил от петроградского совета, от профессиональных и иных организаций. Знамена я передал полкам, а грамоты секретари спрятали в архив. Их извлекли оттуда значительно позже, когда Зиновьев запел совсем другим голосом и совсем иные песни.

Сейчас трудно воспроизвести, да даже и припомнить тот взрыв восторга, какой вызвала победа под Петроградом. Она совпала к тому же с началом решающих успехов на южном фронте. Революция

снова высоко поднимала голову. В глазах Ленина победа над Юденичем получила тем большее значение, что в середине октября он считал ее почти невозможной. В политбюро решено было дать мне за защиту Петрограда орден Красного Знамени. Меня это решение поставило в очень затруднительное положение. На введение революционного ордена я решился не без колебаний: еще только недавно мы успели отменить ордена старого режима. Вводя орден, я имел в виду дополнительный стимул для тех, для кого недостаточно внутреннего сознания революционного долга. Ленин поддержал меня. Орден привился. Его давали, по крайней мере в те годы, за непосредственные боевые заслуги под огнем. Теперь орден был присужден мне. Я не мог отказаться, не дисквалифицируя знака отличия, который сам я столько раз раздавал. Мне ничего не оставалось, как подчиниться условности.

С этим связан эпизод, который лишь позже осветился в моих глазах настоящим светом. В конце заседания политбюро, Каменев, не без смущения, внес предложение о награждении орденом Сталина. «За что?» спросил Калинин тоном самого искреннего возмущения. «За что Сталину, не могу понять?». Его утихомирили шуткой и решили вопрос утвердительно. Бухарин в перерыве накинулся на Калинина: «Как же ты не понимаешь? Это Ильич придумал: Сталин не может жить, если у него нет чего-нибудь, что есть у другого. Он этого не простит». Я вполне понимал Ленина и мысленно одобрял его.

Награждение производилось при архи-торжественной обстановке, в Большом театре, где я читал доклад о военном положении на объединенном заседании руководящих советских учреждений. Когда председатель назвал под конец имя Сталина, я попробовал аплодировать. Меня поддержали два-три неуверенных хлопка. По залу прошел холодок недоумения, особенно явственный после предшествующих оваций. Сам Сталин благоразумно отсутствовал.

Гораздо большее удовлетворение доставило мне коллективное награждение орденом Красного Знамени моего поезда в целом. «В героической борьбе 7-й армии — говорилось в приказе 4-го ноября — работники нашего поезда принимали достойное участии с 17-го октября по 3-е ноября. Товарищи Клигер, Иванов и Застар, пали в бою. Товарищи Преде, Драудин, Пурин, Чернявцев, Куприевич, Теснек ранены. Товарищи Адамсон, Пурин, Киселис контужены... Я не называю других по именам, потому что пришлось бы назвать всех. В том переломе, какой произошел на фронте, работникам нашего поезда принадлежит не последнее место».

Несколько месяцев спустя Ленин вызвал меня однажды к телефону: «Читали книгу Кирдецова?» Эта фамилия мне ничего не говорила. — «Это белый, враг, пишет о наступлении Юденича на Петроград». Нужно сказать, что Ленин вообще гораздо внимательнее, чем я, следил за печатью белых. Через день он спросил меня снова: Читали? — Не читал. — Хотите, я вам ее пришлю? — Но у меня эта книга должна была иметься: мы получали с Лениным одни и те же новинки через Берлин. «Непременно прочитайте последнюю главу: это оценка врага, там и про вас есть»... Но я так и не удосужился прочитать. Странным образом книга мне попалась недавно в руки в Константинополе. Я вспомнил, как настойчиво Ленин предлагал прочитать последнюю главу. Вот та оценка врага, одного из министров Юденича, которая его так заинтересовала: «Еще 16-го октября на петроградский фронт спешно приехал Троцкий, и растерянность красного штаба сменилась его кипучей энергией. За несколько часов до падения Гатчины он еще пытается здесь остановить наступление белых, но видя, что это невозможно, спешит выехать из города, чтобы наладить защиту Царского. Крупные резервы еще не подошли, но он быстро сосредоточивает всех петроградских курсантов, мобилизует все мужское население Петрограда,

пулеметами (?!) гонит обратно на позицию все красноармейские части и своими энергичными мерами приводит в оборонительное состояние все подступы к Петрограду»... «Троцкому удалось сорганизовать в самом Петрограде сильные духом рабочие коммунистические отряды и бросить их в гущу борьбы. По свидетельству штаба Юденича эти-то отряды, а не (?) красноармейские части, да еще матросские батальоны и курсанты дрались, как львы. Они лезли на танки со штыками на перевес и, шеренгами падая от губительного огня стальных чудовищ, продолжали стойко защищать свои позиции».

Пулеметами никто красноармейцев не гнал. Но Петроград мы отстояли.

ГЛАВА XXXVI

Военная оппозиция

Основным вопросом успешного строительства Красной Армии был вопрос о правильных взаимоотношениях пролетариата и крестьянства в стране. Позже, в 1923 году, была выдумана глупейшая легенда о моей «недооценке» крестьянства. Между тем в течение 1918—1921 г. г. мне теснее и непосредственнее, чем кому бы то ни было, приходилось практически сталкиваться с проблемой советской деревни: армия строилась в главной своей массе из крестьян и действовала в крестьянском окружении. Я не могу здесь останавливаться на этом большом вопросе. Ограничусь двумя-тремя, но зато достаточно яркими иллюстрациями. 22-го марта 1919 г. я по прямому проводу требовал от Ц. К.: «решить вопрос о ревизии Ц. И. К. в Поволжье о назначении авторитетной комиссии от Ц. И. К. и Ц. К. Задача комиссии — поддержать веру в поволжском крестьянстве в центральную советскую власть, устранить наиболее кричащие непорядки на местах и наказать наиболее

виновных представителей советской власти, собрать жалобы и материалы, которые могли бы лечь в основу демонстративных декретов в пользу середняков». Не лишено интереса, что этот разговор по прямому проводу я вел со Сталиным и именно ему разъяснял важность вопроса о середняке. В том же 1919 г. Калинин был, по моей инициативе, выбран председателем Ц. И. К., как лицо, близкое к крестьянам-середнякам и хорошо знающее их нужды. Гораздо важнее, однако, тот факт, что уже в феврале 1920 г., под влиянием своих наблюдений над жизнью крестьянства на Урале, я настойчиво добивался перехода к новой экономической политике. В Центральном Комитете я собрал всего лишь четыре голоса против одиннадцати. Ленин был в то время против отмены продовольственной разверстки, и притом непримиримо. Сталин, разумеется, голосовал против меня. Переход к новой экономической политике произведен был лишь через год, правда, единогласно, но зато под грохот кронштадского восстания и в атмосфере угрожающих настроений всей армии.

Почти все, если не все, принципиальные вопросы и затруднения советского строительства дальнейших лет встали перед нами прежде всего в военной области — в крайне компактном виде. Отсрочки тут, по общему правилу, не давалось. Ошибки влекли за собой немедленную кару. Оппозиция против этих решений проверяла себя в действии тут же на месте. Отсюда, в общем и целом, внутренняя логичность в строительстве Красной Армии, отсутствие метаний от одной системы к другой. Если бы мы имели больше времени для рассуждений и прений, мы, наверное, наделали бы гораздо больше ошибок.

Тем не менее внутренняя борьба в партии была и моментами жестокая. Да и как иначе? Слишком ново было дело и слишком велики трудности.

Старая армия еще разбредалась по стране, разнося ненависть к войне, а нам уже приходилось строить новые полки. Царских офицеров изгоняли из

старой армии, местами расправлялись с ними беспощадно. Между тем нам приходилось приглашать царских офицеров в качестве инструкторов новой армии. Комитеты в старых полках возникли, как воплощение самой революции, по крайней мере, ее первого этапа. В новых полках комитетчина не могла быть терпима, как начало разложения. Еще не отзвучали проклятия по адресу старой дисциплины, как уже мы начинали вводить новую. От добровольчества приходилось в короткий срок переходить к принудительному набору, от партизанских отрядов — к правильной военной организации. Борьба против партизанщины велась нами непрерывно, изо дня в день, и требовала величайшей настойчивости, непримиримости, а временами и суровости. Хаотическая партизанщина являлась выражением крестьянской подоплеки революции. Борьба против партизанщины была тем самым борьбой за пролетарскую государственность против подмывавшей ее анархической мелко-буржуазной стихии. Партизанские методы и навыки находили, однако, свое отражение и в партийных рядах.

Оппозиция по военному вопросу сложилась уже в первые месяцы организации Красной Армии. Основные ее положения сводились к отстаиванию выборного начала, к протестам против привлечения специалистов, против введения железной дисциплины, против централизации армии и т. д. Оппозиционеры пытались найти для себя обобщающую теоретическую формулу. Централизованная армия, утверждали они, является армией империалистического государства. Революция должна поставить крест не только на позиционной войне, но и на централизованной армии. Революция целиком построена на подвижности, смелом ударе и маневренности. Ее боевой силой является немногочисленный самостоятельный отряд, скомбинированный из всех родов оружия, не связанный с базой, опирающейся на сочувствие населения, свободно заходящий в тыл неприятелю и проч. Сло-

вом, тактикой революции провозглашалась тактика малой войны. Все это было крайне абстрактно и по существу являлось идеализацией нашей слабости. Серьезный опыт гражданской войны очень скоро опроверг эти предрассудки. Преимущества централизованной организации и стратегии над местной импровизацией, военным сепаратизмом и федерализмом, обнаружились слишком скоро и ярко на опыте борьбы.

На службе в красной армии состояли тысячи, а затем десятки тысяч бывших кадровых офицеров. Многие из них, по собственным словам, еще два года тому назад считали умеренных либералов крайними революционерами, большевики же относились для них к области четвертого измерения. «Поистине мы были бы слишком низкого мнения о себе и нашей партии, — писал я против тогдашней оппозиции, — о нравственном могуществе нашей идеи, о притягательной силе нашей революционной морали, если бы мы думали, что не способны притянуть к себе тысячи и тысячи специалистов, в том числе и военных». Не без трудностей и трений, но в конце концов нам это несомненно удалось.

Коммунисты не легко входили в военную работу. Тут понадобились и отбор и воспитание. Еще из-под Казани, в августе 1918 г., я телеграфировал Ленину: «Коммунистов направлять сюда таких, которые умеют подчиняться, готовы переносить лишения и согласны умирать. Легковесных агитаторов тут не нужно». Через год на Украйне, где анархия, даже и в рядах партии, была особенно велика, я писал в приказе по 14-й армии: «Предупреждаю, что каждый коммунист, делегируемый партией в ряды армии, является тем самым красноармейцем, имеет те же права и обязанности, что и всякий солдат Красной Армии. Коммунисты, уличенные в проступках и преступлениях против революционного воинского долга, будут караться вдвойне, ибо, что может быть прощено темному несознательному человеку, того нельзя простить члену партии, стоящей во главе рабочего класса всего мира».

Ясно, что на этой почве возникало не мало трений, и в недовольных недостатка не было.

К военной оппозиции принадлежал, например, Пятаков, нынешней директор Государственного Банка. Он примыкал вообще ко всем и всяким оппозициям, чтоб кончить чиновником. Года три-четыре тому назад, когда Пятаков еще принадлежал к одной со мною группировке, я шутя предрекал, что в случае бонапартистского переворота Пятаков возьмет на другой день свой портфель и пойдет в канцелярию. Теперь я должен более серьезно прибавить, что если это не произойдет, то разве за отсутствием бонапартистского переворота, то есть никак не по вине самого Пятакова. На Украйне Пятаков имел значительно влияние, и не случайно: это довольно образованный марксист, особенно в экономической области, и несомненный администратор, с запасом воли. В первые годы у Пятакова была и революционная энергия, которая быстро, однако, переродилась в бюрократический консерватизм. Борьбу с полуанархическими взглядами Пятакова на строительство армии я повел тем способом, что дал ему сразу ответственное назначение, которое вынуждало его от слов перейти к делу. Способ этот не нов, но во многих случаях незаменим. Административный смысл скоро подсказал ему, что надо применять те самые методы, против которых он вел словесную войну. Таких превращений было не мало. Все лучшие элементы военной оппозиции вскоре втянулись в работу. Наряду с этим я предложил наиболее непримиримым построить по их принципам несколько полков, обещая предоставить им все необходимые рессурсы. Только одна уездная группа на Волге приняла вызов и построила полк, ничем особенным, однако, не отличающийся от других полков. Красная армия побеждала на всех фронтах, и оппозиция в конце концов сошла на нет.

Особое место в красной армии и военной оппозиции занимал Царицын, где военные работники группировались вокруг Ворошилова. Здесь революционные

отряды возглавлялись чаще всего бывшими унтер-офицерами из крестьян Северного Кавказа. Глубокий антагонизм между казаками и крестьянами придал в южных степях исключительную свирепость гражданской войне, которая здесь забиралась глубоко в каждую дереню и приводила к поголовному истреблению целых семейств. Это была чисто крестьянская война, глубокими корнями уходившая в местную почву и мужицкой свирепостью своей далеко превосходившая революционную борьбу в других частях страны. Эта война выдвинула большое число крепких партизан, которые были вполне на высоте в стычках местного масштаба, но оказывались обычно несостоятельными, когда приходилось приступать к более широким военным задачам.

Биография Ворошилова свидетельствует о жизни рабочего революционера: руководство стачками, подпольная работа, тюрьма, ссылка. Но как многие другие в руководящем ныне слое, Ворошилов был только национальным революционным демократом из рабочих, не более. Это обнаружилось особенно ярко сперва в империалистической войне, затем в февральской революции. В официальнных биографиях Ворошилова годы 1914—1917 образуют зияющий пробел, общий, впрочем, большинству нынешних руководителей. Секрет пробела в том, что во время войны эти люди были в большинстве патриотами и прекратили какую бы то ни было революционную работу. В февральской революции Ворошилов, как и Сталин, поддерживал правительство Гучкова — Милюкова слева. Это были крайние революционные демократы, отнюдь не интернационалисты. Можно установить правило: те большевики, которые во время войны были патриотами, а после февральского переворота — демократами, являются теперь сторонниками сталинского националсоциализма. Ворошилов не составляет исключения.

Хотя Ворошилов был из луганских рабочих, из более привиллегированной верхушки, но по всем сво-

им повадкам и вкусам он всегда гораздо больше напоминал хозяйничка, чем пролетария. После октябрьского переворота Ворошилов естественно сделался средоточием оппозиции унтер-офицеров и партизан против централизованной военной организации, требовавшей военных знаний и более широкого кругозора. Так сложилась царицынская оппозиция.

В кругах Ворошилова с ненавистью говорили о спецах, о военных академиках, о высоких штабах, о Москве. Но так как самостоятельных военных знаний у партизанских начальников не было, то каждый их них имел под рукою своего «спеца», только сортом пониже, который цепко держался за свое место, ограждая его от более способных и осведомленных. К командованию южным советским фронтом царицынские военачальники относились не многим лучше, чем к белым. Отношения их с московским центром исчерпывались постоянными требованиями снабжения. У нас всего было в обрез. Все, что производилось заводами, немедленно отправлялось армиям. Ни одна из них не поглощала столько ружей и патронов, как царицынская. При первом отказе Царицын кричал об измене московских спецов. В Москве проживал специальный представитель царицынской армии по вымогательству снабжения, матрос Живодер. Когда мы натянули сеть дисциплины потуже, Живодер ушел в бандиты. Он был, кажется, пойман и расстрелян.

Сталин несколько месяцев провел в Царицыне. Свою закулисную борьбу против меня, уже тогда составлявшую существеннейшую часть его деятельности, он сочетал с доморощенной оппозицией Ворошилова и его ближайших сподвижников. Сталин держал себя, однако, так, чтобы в любой момент можно было отскочить назад.

Жалобы главного и фронтового командования на Царицын поступали ежедневно. Нельзя добиться выполнения приказа, нельзя понять, что там делают, нельзя даже получить ответа на запрос. Ленин с тревогой следил за развитием этого конфликта. Он луч-

ше меня знал Сталина и подозревал, очевидно, что упорство царицынцев объясняется закулисным режиссерством Сталина. Положение стало невозможным. Я решил в Царицыне навести порядок. После нового столкновения командования с Царицыном я настоял на отозвании Сталина. Это было сделано через посредство Свердлова, который сам отправился за Сталиным в экстренном поезде. Ленин хотел свести конфликт к минимуму, и был конечно прав. Я же вообще не думал о Сталине. В 1917 году он промелькнул передо мною незаметной тенью. В огне борьбы я обычно просто забывал о его существовании. Я думал о царицынской армии. Мне нужен был надежный левый фланг южного фронта. Я ехал в Царицын, чтоб добиться этого какой-угодно ценою. Со Свердловым мы встретились в пути. Он осторожно спрашивал меня о моих намерениях, потом предложил мне поговорить со Сталиным, который, как оказалось, возвращался в его вагоне. — «Неужели вы хотите всех их выгнать? — подчеркнуто смиренным голосом спрашивал меня Сталин. — Они хорошие ребята». — «Эти хорошие ребята погубят революцию, которая не может ждать, доколе они выйдут из ребяческого возраста. Я хочу одного: включить Царицын в советскую Россию».

Через несколько часов я увидел Ворошилова. В штабе царила тревога. Пущен был слух, что Троцкий едет с большой метлой, а с ним два десятка царских генералов, для замещения партизанских начальников, которые, к слову сказать, к моему приезду все спешно переименовались в полковых, бригадных и дивизионных командиров. Я поставил Ворошилову вопрос: как он относится к приказам фронта и главного командовани? Он открыл мне свою душу: Царицын считает нужным выполнять только те приказы, которые он признает правильными. Это было слишком. Я заявил, что, если он не обяжется точно и безусловно выполнять приказы и оперативные задания, я его немедленно отправлю под конвоем в Москву для

предания трибуналу. Я никого не сместил, добившись формального обязательства подчинения. Большинство коммунистов царицынской армии поддержало меня за совесть, а не за страх. Я посетил все части и обласкал партизан, среди которых было немало превосходным солдат, нуждавшихся только в правильном руководстве. С этим я вернулся в Москву. С моей стороны во всем этом деле не было и тени личного пристрастия или недоброжелательства. Считаю себя вообще вправе сказать, что личные моменты никогда не играли никакой роли в моей политической деятельности. Но в великой борьбе, которую мы вели, ставка была слишком велика, чтоб я мог оглядываться по сторонам. И мне часто, почти на каждом шагу, приходилось наступать на мозоли личных пристрастий, приятельства или самолюбия. Сталин тщательно подбирал людей с отдавленными мозолями. У него для этого было достаточно времени и личного интереса. Царицынская верхушка стала с этого времени одним из его главных орудий. Как только Ленин заболел, Сталин добился через своих союзников переименования Царицына в Сталинград. Массы населения не имели понятия о том, что означает это имя. И если сейчас Ворошилов состоит членом Политбюро, то единственным основанием для этого — другого я не вижу—является тот факт, что в 1918 году я вынудил его к подчинению угрозой выслать под конвоем в Москву.

Мне представляется не безынтересным иллюстрировать только что изложенную главу военной работы, вернее, связанной с ней внутрипартийной борьбы, несколькими выдержками из нигде еще не опубликованной партийной переписки того времени.

4 октября 1918 года я говорил по прямому проводу Ленину и Свердлову из Тамбова:

«Категорически настаиваю на отозвании Сталина. На царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Я оставляю его (Ворошилова) командующим десятой (царицынской) армии на условии

OK.

подчинения командующему южного фронта. До сего дня царицынцы не посылают в Козлов даже оперативных донесений. Я обязал их дважды в день представлять оперативные и разведывательные сводки. Если завтра это не будет выполнено, я отдам под суд Ворошилова и объявлю об этом в приказе по армии. Для наступления остается короткий срок, до осенней распутицы, когда здесь нет дороги ни пешеходу, ни всаднику. Для дипломатических переговоров времени нет».

Сталин был отозван. Ленин слишком хорошо понимал, что мною руководят исключительно деловые соображения. В то же время он естественно был озабочен конфликтом и старался выровнять отношения. 23 октября Ленин пишет мне в Балашов:

«Сегодня приехал Сталин, привез известия о трех крупных победах наших войск под Царицыном. («Победы» имели, на самом деле, чисто эпизодическое значение. Л. Т.). Сталин убедил Ворошилова и Минина, которых считает очень ценными и незаменимыми работниками, не уходить и оказать полное подчинение приказам центра; единственная причина их недовольства, по его словам, крайнее опоздание и неприсылка снарядов и патронов, от чего также гибнет двухсоттысячная и прекрасно настроенная кавказская армия. (Эта партизанская армия скоро рассыпалась от одного удара, обнаружив полную небоеспособность. Л. Т.).

«Сталин очень хотел бы работать на южном фронте... Сталин надеется, что ему на работе удастся убедить в правильности его взгляда... Сообщая вам, Лев Давыдович, обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли вы объясниться лично со Сталиным, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли вы возможным, на известных конкретных условиях, устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин. Что же меня касается, то я полагаю, что необходимо приложить

все усилия для налажения совместной работы со Сталиным. Ленин».

Я ответил полной готовностью и Сталин был назначен членом Революционного Военного Совета южного фронта. Увы, компромисс результатов не дал. В Царицыне дело не продвигалось ни на шаг. 14 декабря я телеграфирую Ленину из Курска:

«Оставлять дальше Ворошилова после того, как все попытки компромисса сведены им на нет, невозможно. Нужно выслать в Царицын новый Реввоенсовет с новым командиром, отпустив Ворошилова на Украину».

Это предложение принимается без возражений. Но и на Украине дело не идет лучше. Царившая там анархия и без того затрудняла правильную военную работу. Оппозиция Ворошилова, за спиною которого стоял по прежнему Сталин, делала эту работу совершенно невозможной.

10 января 1919 г. я передаю тогдашнему председателю ЦИК Свердлову со станции Грязи: «Заявляю в категорической форме, что царицынская линия, приведшая к полному распаду царицынской армии, на Украине допущена быть не может... Линия Сталина, Ворошилова и Ко означает гибель всего дела. Троцкий».

Ленин и Свердлов, наблюдающие работу «царицынцев» издали, пытаются еще достигнуть компромисса. Их телеграммы у меня, к сожалению, нет. Я отвечаю Ленину 11 января: «Компромисс, конечно, нужен, но не гнилой. По существу дела в Харькове собрались все царицынцы... Я считаю покровительство Сталина царицынскому течению опаснейшей язвой, хуже всякой измены и предательства военных специалистов... Троцкий».

«Компромисс нужен, но не гнилой». Через четыре года Ленин почти дословно вернул мне эту фразу по поводу того же Сталина. Это было перед XII-м съездом партии. Ленин готовил разгром сталинской группы. Нападение он открывал по линии

национального вопроса. Когда я предложил компромисс, Ленин ответил: «Сталин заключит гнилой компромисс, а потом обманет».

В письме в Центральный Комитет, в марте 1919 года я возражал Зиновьеву, который двусмысленно заигрывал с военной оппозицией: «Я не стану заниматься индивидуальными психологическими расследованиями — писал я — насчет того, к какой из групп военной оппозиции должен быть причислен Ворошилов, но отмечу, что единственное, что могу себе поставить в вину по отношению к нему, это слишком долгие, именно двух- или трех-месячные попытки действовать путем переговоров, увещаний, личных комбинаций, там, где в интересах дела нужно было твердое организационное решение. Ибо, в конце концов, задача по отношению к 10 армии состояла не в том, чтобы переубедить Ворошилова, а в том, чтобы в кратчайший срок добиться военных успехов».

30 мая из Харькова поступает к Ленину настойчивое требование образования особой украинской группы войск под командованием Ворошилова. Ленин по прямому проводу передает запрос мне на станцию Кантемировка. 1-го июня я отвечаю Ленину: «Домогательства некоторых украинцев объединить вторую армию, тринадцатую и восьмую в руках Ворошилова совершенно несостоятельны. Нам нужно не донецкое оперативное единство, а общее единство против Деникина... Идея военной и продовольственной диктатуры Ворошилова (на Украине) есть результат донецкой самостийности, направленной против Киева (т. е. украинского правительства) и южфронта... Не сомневаюсь, что осуществление этого плана только усилило бы хаос и окончательно убило бы оперативное руководство. Прошу потребовать, чтобы Ворошилов и Межлаук выполняли вполне реальную задачу, которая им поставлена. Троцкий».

1 июня Ленин телеграфирует Ворошилову: «Надо во что бы то ни стало немедленно прекратить митингование, переведя всю и всякую работу на во-

енное положение, бросить всякое прожектерство об особых группах и тому подобных попытках прикрытым образом восстановить украинский фронт... Ленин».

Убедившись на опыте, как трудно справиться с недисциплинированными самостийниками, Ленин в тот же день собирает заседание политбюро и проводит следующее решение, которое немедленно посылатся Ворошилову и другим заинтересованным: «Политбюро Цека собралось первого июня и, вполне соглашаясь с Троцким, решительно отвергает план украинцев создавать особое донецкое единство. Мы требуем, чтобы Ворошилов и Межлаук выполняли свою непосредственную работу... или после-завтра Троцкий в Изюм вызовет вас и подробнее распорядится. По поручению Бюро Цека Ленин».

На другой день Ц. К. рассматривает вопрос о том, что командир Ворошилов большую часть отбитого у врагов военного имущества самовольно взял в распоряжение своей армии. Ц. К. постановляет: «Поручить т. Раковскому послать т. Троцкому в Изюм телеграмму об этом и просить т. Троцкого принять самые энергичные меры к передаче этого имущества в распоряжение Реввоенсовета Республики». В тот же день Ленин сообщает мне по прямому проводу: «Дыбенко и Ворошилов растаскивают военное имущество. Хаос полный, Донбасу серьезно не помогают. Ленин». Другими словами, на Украине повторялось то самое, против чего я боролся в Царицыне.

Не мудрено, если военная работа создала мне не мало врагов. Я не оглядывался по сторонам, отталкивал локтем тех, которые мешали военным успехам, или в спешке наступал на мозоли зевакам и не успевал извиняться. Есть люди, которые все это запоминают. Недовольные и обиженные находили дорогу к Сталину, отчасти к Зиновьеву. Эти ведь тоже чувствовали себя обиженными. Каждая неудача на фронте вызывала натиск недовольных на Ленина.

За кулисами уже тогда этими махинациями руководил Сталин. Подавались записки о неправильности военной политики, о моем покровительстве спецам, о слишком жестком режиме по отношению к коммунистам и пр. Отставленные полководцы и неосуществившиеся красные маршалы подавали доклад за докладом о пагубности стратегических планов, о саботаже командования и о многом другом.

Ленин был слишком поглощен общими вопросами руководства, чтобы выезжать на фронты или входить в повседневную работу военного ведомства. Я проводил большую часть времени на фронтах, что облегчало в Москве работу закулисных шептунов. Их настойчивые голоса не могли не вызывать у Ленина время от времени беспокойства. Ко времени моего очередного приезда в Москву у него накоплялись сомнения и вопросы. Но достаточно бывало получасовой беседы, чтоб восстановить взаимное понимание и полную солидарность. Во время наших неудач на Востоке, когда Колчак приближался к Волге, Ленин на заседании совнаркома, на которое я явился прямо с поезда, написал мне записочку: «А не прогнать нам всех спецов поголовно и не назначить ли Лашевича главнокомандующим?». Лашевич был старый большевик, выслужившийся на «немецкой» войне в унтерофицеры. Я ответил на том же клочке: «детские игрушки». Ленин поглядел на меня лукаво исподлобья, с особенно выразительной гримасой, которая означала примерно: «очень вы уж строго со мной обращаетесь». По сути же он любил такие крутые ответы, не оставляющие места сомнениям. После заседания мы сошлись. Ленин расспрашивал про фронт. «Вы спрашиваете, не лучше ли прогнать всех бывших офицеров. А знаете ли вы, сколько их теперь у нас в армии?». — Не знаю. — Примерно? — Не знаю. — Не менее тридцати тысяч. — Ка-а-ак? — Не менее тридцати тысяч. На одного изменника приходится сотня надежных, на одного перебежчика два-три убитых. Кем их всех заменить?

Через несколько дней Ленин выступал с речью по поводу задач социалистического строительства. Вот что он между прочим сказал: «Когда мне недавно т. Троцкий сообщил, что у нас в военном ведомстве число офицеров составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил конкретное представление, в чем заключается секрет использования нашего врага... как строить коммунизм из кирпичей, которые подобраны капиталистами против нас!».

На происходившем в это же приблизительно время съезде партии Ленин, в мое отсутствие, — я оставался на фронте — выступил со страстной защитой проводившейся мною военной политики от критики оппозиции. Именно поэтому протоколы военной секции VIII съезда партии не опубликованы до сих пор.

* * *

Однажды на южный фронт ко мне приехал Меньжинский. Я его знал давно. В годы реакции он примыкал к группе ультра-левых, или впередовцев, как они назывались по имени своего журнала (Богданов, Луначарский и др.). Сам Меньжинский, впрочем, тянул в сторону французского синдикализма. Впередовцы устроили в Болонье марксистскую школу для 10—15 русских рабочих, прибывших нелегально из России. Это было в 1910 году. В течение примерно двух недель я читал в этой школе курс прессы и вел беседы по вопросам партийной тактики. Тут я познакомился с Меньжинским, прибывшим из Парижа. Впечатление, какое он на меня произвел, будет точнее всего выражено, если я скажу, что он не произвел никакого впечатления. Он казался больше тенью какого то другого человека, неосуществившегося, или неудачным эскизом ненаписанного портрета. Есть такие люди. Иногда только вкрадчивая улыбка и потаенная игра глаз свидетельствовали о том, что этого человека снедает стремление выйти из своей не-

значительности. Я не знаю, каково было его поведение в период переворота, и было ли у него тогда поведение вообще. Но после завоевания власти его впопыхах направили в министерство финансов. Он не проявил никакой активности или проявил ее лишь настолько, чтоб обнаружить свою несостоятельность. Потом Дзержинский взял его к себе. Дзержинский был человек волевой, страстный и высокого морального напряжения. Его фигура перекрывала ВЧК. Никто не замечал Меньжинского, который корпел в тиши над бумагами. Только после того, как Дзержинский разошелся со своим заместителем Уншлихтом, — это было уже в последний период — он, не находя другого, выдвинул кандидатуру Меньжинского. Все пожимали плечами. — Кого же другого? оправдывался Дзержинский: некого! — Но Сталин поддержал Меньжинского. Сталин вообще поддерживал людей, которые способны политически существовать только милостью аппарата. И Меньжинский стал верной тенью Сталина в ГПУ. После смерти Дзержинского Меньжинский оказался не только начальником ГПУ, но и членом ЦК. Так на бюрократическом экране тень несостоявшегося человека может сойти за человека.

Десять лет тому назад Меньжинский, однако, пытался направить свое движение вокруг других осей. Он явился ко мне в вагон с докладом по делам особых отделов в армии. Закончив с официальной частью визита, он стал мяться и переминаться с ноги на ногу с той вкрадчивой своей улыбкой, которая вызывает одновременно тревогу и недоумение. Он кончил вопросом: знаю ли я, что Сталин ведет против меня сложную интригу? — Что-о-о? спросил я в совершенном недоумении, так я был далек тогда от каких бы то ни было мыслей или опасений такого рода. — Да, он внушает Ленину и еще кое-кому, что вы группируете вокруг себя людей специально против Ленина... — Да вы съ ума сошли, Меньжинский, проспитесь, пожалуйста, а я разговаривать об этом

не желаю. — Меньжинский ушел, перекосив плечи и покашливая. Думаю, что с этого самого дня он стал искать иных осей для своего круговращения.

Но через час, через два работы я ощутил в себе что-то неладное. Этот человек с тихой невнятной речью заронил в меня какое-то беспокойство, точно я за обедом проглотил кусочек стекла. Я стал кое-что вспоминать, сопоставлять. Сталин осветился для меня с какой-то другой стороны. Значительно позже Крестинский мне сказал про Сталина: «это дрянной человек, с желтыми глазами». Вот эта самая нравственная желтизна Сталина впервые мелькнула в моем сознании после визита Меньжинского. Наведавшись после того на короткое время в Москву, я, как всегда, первым делом посетил Ленина. Мы поговорили о фронте. Ленин очень любил бытовые подробности, фактики, штришки, которые сразу, без околичностей, вводили его в самую суть дела. Он не выносил, когда к живой жизни подходили по касательной. Перескакивая через звенья, он задавал свои особые вопросы, а я отвечал, любуясь, как он хорошо сверлит. Мы посмеялись. Ленин чаще всего бывал весел. Я тоже не считаю себя угрюмым человеком. Под конец я рассказал про визит Меньжинского на южном фронте. — Неужели же тут есть частица правды? — Я сразу заметил, как заволновался Ленин. Даже кровь бросилась ему в лицо. «Это пустяки», повторял он, но неуверенно. — Меня интересует только одно, — сказал я, — могли ли вы хоть на минуту допустить такую чудовищную мысль, что я подбираю людей против вас? — «Пустяки», ответил Ленин, на этот раз с такой твердостью, что я сразу успокоился. Как будто какое-то облачко над нашими головами рассеялось, и мы простились с особенной теплотой. Но я понял, что Меньжинский говорил не зря. Если Ленин отрицал не договаривая, то только потому, что боялся конфликта, раздора, личной борьбы. В этом я целиком сочувствовал ему. Но Сталин явно сеял злые семена. Лишь значительно

позже мне стало ясно, с какой систематичностью он этим занимался. Почти только этим. Потому что Сталин никогда серьезной работы не выполнял. «Первое качество Сталина — леность, — поучал меня когда то Бухарин. Второе качество — непримиримая зависть к тем, которые знают или умеют больше, чем он. Он и под Ильича вел подпольные ходы».

ГЛАВА XXXVII

Военно-стратегические разногласия

На этих страницах я не излагаю ни истории красной армии, ни истории ее боев. Обе эти темы, неразрывно связанные с историей революции, и далеко выходящие за пределы автобиографии, составят, может быть, содержание другой книги. Но я не могу здесь пройти мимо тех политико-стратегических разногласий, которые возникли в процессе гражданской войны. От хода военных операций зависела судьба революции. Центральный комитет партии был чем дальше, тем больше поглощен вопросами войны, в том числе и вопросами ее стратегии. Главные командные посты занимались военными специалистами старой школы. Им не хватало понимания социальных и политических условий. Опытным революционным политикам, составлявшим центральный комитет партии, не хватало военных знаний. Стратегические концепции большого масштаба являлись обычно результатом коллективной работы, и, как всегда в таких случаях, порождали разногласия и борьбу.

Было четыре случая стратегических разногласий, которые захватили центральный комитет; иначе сказать, разногласий было столько, сколько было главных фронтов. Я здесь могу сказать об этих разногласиях только самым кратким образом, чтобы ввести читателя в существо проблем, стоявших перед воен-

ным руководством и, вместе с тем, отбросить мимоходом позднейшие измышления на мой счет.

Первый острый спор возник в центральном комитете летом 1919 г. в связи с обстановкой на восточном фронте. Главнокомандующим тогда был еще Вацетис. Об нем я говорил в главе, посвященной Свияжску. Я заботился о том, чтоб укрепить уверенность Вацетиса в себе, в своих правах, в своем авторитете. Без этого командование немыслимо. Вацетис считал, что после первых наших крупных успехов против Колчака нам не следует зарываться слишком далеко на восток, по ту сторону Урала. Он хотел, чтоб восточный фронт зазимовал на горном хребте. Это должно было дать возможность снять с востока несколько дивизий и перебросить их на юг, где Деникин превращался во все более серьезную опасность. Я поддержал этот план. Но он встретил решительное сопротивление со стороны командовавшего восточным фронтом Каменева, бывшего полковника генерального штаба, и членов военного совета, Смилги и Лашевича, старых большевиков. Они заявили: Колчак настолько разбит, что для преследования его нужно немного сил; главное — не давать ему передышки, иначе он за зиму оправится, и к весне нам придется начинать восточную операцию сначала. Весь вопрос состоял, следовательно, в правильной оценке состояния армии Колчака и его тыла. Я считал уже тогда южный фронт неизмеримо более серьезным и опасным, чем восточный. Это подтвердилось впоследствии полностью. Но в оценке армии Колчака правота оказалась на стороне командования восточного фронта. Центральный комитет вынес решение против главного командования и тем самым против меня, так как я поддерживал Вацетиса, исходя из того, что в этом стратегическом уравнении есть несколько неизвестных, но что солидной величиной в него входит необходимость поддержать еще слишком свежий авторитет главнокомандующего. Решение центрального комитета оказалось правильным. Восточный фронт вы-

делил некоторые силы для юга и в то же время победоносно продвигался вглубь Сибири по пятам Колчака. Этот конфликт привел к смене главного командования. Вацетис был уволен, его место занял Каменев.

Само по себе разногласие имело чисто деловой характер. На отношениях моих с Лениным, оно, разумеется, не отразилось ни в малейшей мере. Но, зацепляясь за такие эпизодические разногласия, интрига плела свои петли. 4 июня (1919 г.) Сталин пугал Ленина с Юга гибельным характером военного руководства. «Весь вопрос теперь в том, — писал он, — чтобы Ц. К. нашел в себе мужество сделать соответствующие выводы. Хватит ли у Ц. К. характера, выдержки?». Смысл этих строк совершенно ясен. Тон их свидетельствует о том, что Сталин поднимал вопрос не раз и не раз же наталкивался на отпор Ленина. Тогда я об этом не знал. Но я чувствовал какую-то вязкую интригу. Не имея ни времени, ни желания разбираться в ней, я, чтоб разрубить узел, предложил центральному комитету свою отставку. 5-го июля Ц. К. ответил следующим постановлением:

«Орг. и Полит. Бюро ЦК, рассмотрев заявление т. Троцкого и всесторонне обсудив это заявление, пришли к единогласному выводу, что принять отставки т. Троцкого и удовлетворить его ходатайство они абсолютно не в состоянии. Орг. и Полит. Бюро ЦК сделают все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной для т. Троцкого и наиболее плодотворной для Республики ту работу на южном фронте, самом трудном, самом опасном и самом важном в настоящее время, которую избрал сам т. Троцкий. В своих званиях Наркомвоена и Предреввоенсовета т. Троцкий вполне может действовать и как член Реввоенсовета южфронта с тем Комфронтом, коего он сам наметил, а ЦК утвердил. Орг. и Полит Бюро ЦК предоставляют т. Троцкому полную возможность всеми средствами добиваться того, что он считает ис-

правлением линии в военном вопросе и, если он пожелает, постараться ускорить съезд партии. Ленин, Каменев, Крестинский, Калинин, Серебряков, Сталин, Стасова».

На этом постановлении имеется и подпись Сталина. Ведя интригу за кулисами и обвиняя Ленина в отсутствии мужества и выдержки, Сталин не решался, однако, открыто противопоставить себя центральному комитету.

Главное место в гражданской войне занял, как уже сказано, южный фронт. Силы врага состояли из двух самостоятельных частей: казачества, особенно кубанского, и добровольческой белой армии, набранной со всей страны. Казачество хотело отстоять свои границы от натиска рабочих и крестьян. Добровольческая же армия хотела взять Москву. Эти две линии сливались лишь до тех пор, пока добровольцы составляли на северном Кавказе общий фронт с кубанцами. Но вывести кубанцев из Кубани представляло для Деникина трудную, вернее сказать, непосильную задачу. Наше главное командование подошло к разрешению проблемы южного фронта, как к абстрактно стратегической задаче, игнорируя ее социальные основы. Кубань была главной базой добровольцев. Ставка решила поэтому решающий удар нанести по этой базе с Волги. Пусть Деникин зарывается и тянется головою к Москве. Мы тем временем за его спиною разметаем его кубанскую базу. Деникин повиснет в воздухе, и мы возьмем его голыми руками. Такова была общая стратегическая схема. Если-б дело шло не о гражданской войне, она была бы правильной. По отношению же к реальному южному фронту она оказалась чисто академической и сильно помогла врагу. Если Деникин не мог поднять казачество на далекий поход против севера, то, ударив по казачьим гнездам с юга, мы помогли Деникину. Отныне казаки не могли уже защищаться только на своей собственной земле. Мы сами связывали их судьбу с судьбой добровольческой армии.

Несмотря на тщательную подготовку нами операций и сосредоточение значительных сил и материальных средств, мы не имели успеха. В тылу Деникина казаки образовали могучий оплот. Они вросли в свою землю, держались за нее зубами и когтями. Наше наступление поставило на ноги все казацкое население. Мы тратили силы и время и толкали в состав белой армии всех способных носить оружие. Деникин тем временем разлился по Украйне, пополнил свои ряды, двинулся на север, взял Курск, взял Орел и угрожал Туле. Сдача нами Тулы была бы катастрофой, так как означала бы потерю важнейших ружейного и патронного заводов.

План, который я предлагал с самого начала, имел прямо противоположный характер. Я требовал, чтоб мы первым ударом отрезали добровольцев от казаков и, предоставив казаков самим себе, сосредоточили главные силы против добровольческой армии. Главное направление удара приходилось, по этому плану, не с Волги на Кубань, а от Воронежа на Харьков и Донецкий бассейн. Крестьянское и рабочее население в этой полосе, отделяющей северный Кавказ от Украйны, было целиком на стороне красной армии. Продвигаясь по этому направлению, красная армия входила бы как нож в масло. Казаки оставались бы на местах, чтоб охранять свои границы от чужаков, но мы их не трогали бы. Вопрос о казачестве оставался бы самостоятельной задачей, не столько военной, сколько политической. Но нужно было прежде всего стратегически отделить эту задачу от задачи разгрома добровольческой армии Деникина. В конце концов был принят именно этот план, но лишь после того, как Деникин стал угрожать Туле, сдача которой была опаснее, чем сдача Москвы, Мы потеряли несколько месяцев, понесли много излишних жертв, и пережили несколько крайне опасных недель.

Отмечу мимоходом, что стратегическое разногласие по поводу южного фронта имело самое прямое отношение к вопросу об оценке или «недооценке» кре-

стьянства. Я строил весь план, исходя из взаимоотношений крестьян и рабочих, с одной стороны, и казаков, с другой, и именно по этой линии противопоставлял свой план абстрактно академическому замыслу главного командования, которое нашло поддержку большинства ЦК. Если-б я потратил тысячную часть тех усилий, которые пошли на доказательство моей «недооценки» крестьянства, я мог бы построить такое же, т. е. столь же нелепое обвинение не только против Зиновьева, Сталина и других, но и против Ленина, положив в основу наши разногласия насчет южного фронта.

Третий конфликт стратегического порядка возник в связи с походом Юденича на Петроград. Об этом рассказано выше и повторяться надобности нет. Напомню лишь, что под влиянием крайне тяжкого положения на юге, откуда шла главная угроза, и под действием сообщений из Петрограда о необычайном будто бы вооружении и снаряжении армии Юденича, Ленин пришел к мысли о необходимости сократить фронт путем сдачи Петрограда. Это был, пожалуй, единственный случай, когда Зиновьев и Сталин поддержали меня против Ленина, который через несколько дней и сам отказался от своего явно ошибочного плана.

Последнее разногласие, несомненно самое крупное, касалось судьбы польского фронта летом 1920 года.

Тогдашний британский премьер Бонар Лоу цитировал в палате общин мое письмо к французским коммунистам, как доказательство того, что мы собирались будто бы осенью 1920 г. разгромить Польшу. Подобное же утверждение заключается в книге бывшего польского военного министра Сикорского, но уже со ссылкой на мою речь на международном конгрессе в январе 1920 г. Все это с начала до конца чистейший вздор. Разумеется, я нигде не имел случая высказывать свои симпатии Польше Пилсудского, т. е. Польше гнета и притеснения под покровом па-

триотической фразы и героического бахвальства. Можно без труда подобрать немало моих заявлений насчет того, что в случае, если Пилсудский навяжет нам войну, мы постараемся не останавливаться на полдороге. Такого рода заявления вытекали изо всей обстановки. Но делать отсюда вывод, что мы хотели войны с Польшей или подготовляли ее, значит лгать в глаза фактам и здравому смыслу. Мы всеми силами хотели избежать этой войны. Мы не оставили неиспользованной ни одной меры на этом пути. Сикорский признает, что мы с чрезвычайной «ловкостью» вели мирную пропаганду. Он не понимает, или прикидывается непонимающим, что секрет этой ловкости был очень прост: мы изо всех сил стремились к миру, хотя бы ценою крупнейших уступок. Может быть больше всех не хотел этой войны я, так как слишком ясно представлял себе, как трудно нам будет вести ее после трех лет непрерывной гражданской войны. Польское правительство, как ясно опять-таки из книги самого Сикорского, сознательно и преднамеренно начало войну, несмотря на наши неутомимые усилия сохранить мир, которые превращали нашу внешнюю политику в сочетание терпеливости с педагогической настойчивостью. Мы искренно хотели мира. Пилсудский навязал нам войну. Мы могли вести эту войну только потому, что широкие народные массы изо дня в день следили за нашей дипломатической дуэлью с Польшей и были насквозь убеждены, что война нам навязана, и ни на иоту не ошибались в этом убеждении.

Страна сделала еще одно поистине героическое усилие. Захват поляками Киева, лишенный сам по себе какого бы то ни было военного смысла, сослужил нам большую службу: страна встряхнулась. Я снова объезжал армии и города, мобилизуя людей и ресурсы. Мы вернули Киев. Начались наши успехи. Поляки откатывались с такой быстротой, на которую я не расчитывал, так как не допускал той степени легкомыслия, какая лежала в основе похода Пилсуд-

ского. Но и на нашей стороне, вместе с первыми крупными успехами, обнаружилась переоценка открывающихся перед нами возможностей. Стало складываться и крепчать настроение в пользу того, чтоб войну, которая началась, как оборонительная, превратить в наступательную революционную войну. Принципиально я, разумеется, не мог иметь никаких доводов против этого. Вопрос сводился к соотношению сил. Неизвестной величиной было настроение польских рабочих и крестьян. Некоторые из польских товарищей, как покойный Ю. Мархлевский, сподвижник Розы Люксембург, оценивали положение очень трезво. Оценка Мархлевского вошла важным элементом в мое стремление как можно скорее выйти из войны. Но были и другие голоса. Были горячие надежды на восстание польских рабочих. Во всяком случае у Ленина сложился твердый план: довести дело до конца, т. е. вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть правительство Пилсудского и захватить власть. Наметившееся в правительстве решение без труда захватило воображение главного командования и командования восточного фронта. К моменту моего очередного приезда в Москву я застал в центре очень твердое настроение в пользу доведения войны «до конца». Я решительно воспротивился этому. Поляки уже просили мира. Я считал, что мы достигли кульминационного пункта успехов, и, если, не расчитав сил, пройдем дальше, то можем пройти мимо уже одержанной победы — к поражению. После колоссального напряжения, которое позволило 4-й армии в пять недель пройти 650 километров, она могла двигаться вперед уже только силой инерции. Все висело на нервах, а это слишком тонкие нити. Одного крепкого толчка было достаточно, чтоб потрясти наш фронт и превратить совершенно неслыханный и беспримерный, — даже Фош вынужден был признать это — наступательный порыв в катастрофическое отступление. Я требовал немедленного и скорейшего заключения

мира, пока армия не выдохлась окончательно. Меня поддержал, помнится, только Рыков. Остальных Ленин завоевал еще в мое отсутствие. Было решено: наступать.

По сравнению с эпохой Бреста роли резко переменились: тогда я требовал, чтоб не спешить с заключением мира и хотя бы ценою потери территории дать немецкому пролетариату время понять обстановку и сказать свое слово. Теперь Ленин требовал, чтоб наши армии продолжали наступать, и дали, таким образом, польскому пролетариату время оценить обстановку и подняться. Польская война подтвердила с другого конца то, что показала брестская война: события войны и события революционного массового движения измеряются разными масштабами. Где действующие армии измеряют днями и неделями, там движение народных масс считает обычно месяцами и годами. Если не учитывать правильно этой разницы темпов, то зубчатые колеса войны могут только обломать зубья на колесах революции, а не привести их в движение. Во всяком случае, так произошло в короткой брестской войне, так произошло и в большой польской войне. Мы прошли мимо собственной победы — к тяжелому поражению.

Нельзя не отметить, что одной из причин тех чрезвычайных размеров, которые приняла катастрофа под Варшавой, явилось поведение командования южной группы советских армий с направлением на Львов (Лемберг). Главной политической фигурой в революционном военном совете этой группы был Сталин. Он хотел во что бы то ни стало войти во Львов и в то время, как Смилга с Тухачевским войдут в Варшаву. Бывает у людей и такая амбиция! Когда опасность армиям Тухачевского обозначилась полностью, и главное командование приказало юго-западному фронту круто переменить направление, чтобы ударить во фланг польских войск под Варшавой, юго-западное командование, поощряемое Сталиным, продолжало двигаться на запад: разве не более важно

завладеть самим Львовом, чем помочь «другим» взять Варшаву? Только в результате повторных приказов и угроз юго-западное командование переменило направление. Но несколько дней запоздания сыграли роковую роль.

Наши армии откатились на четыреста и более километров. После вчерашних блестящих побед никому не хотелось с этим мириться. Вернувшись с врангелевского фронта, я застал в Москве настроение в пользу второй польской войны. Теперь и Рыков перешел в другой лагерь: «раз начали, говорил он, надо кончать». Командование западного фронта обнадеживало: прибыло достаточно пополнений, артиллерия обновлена и проч. Желание являлось отцом мысли. — Что мы имеем на западном фронте? возражал я. Морально разбитые кадры, в которое теперь влито сырое человеческое тесто. С такой армией воевать нельзя. Вернее сказать, с такой армией можно еще кое-как обороняться, отступая и готовя в тылу вторую армию, но бессмысленно думать, что такая армия может снова подняться в победоносное наступление по пути, усеянному ее собственными обломками. Я заявил, что повторение уже совершенной ошибки обойдется нам в десять раз дороже, и что я не подчиняюсь намечающемуся решению, а буду аппелировать к партии. Хотя Ленин формально и отстаивал продолжение войны, но без той уверенности и настойчивости, что в первый раз. Мое несокрушимое убеждение в необходимости заключить мир, хотя бы и тяжкий, произвело на него должное впечатление. Он предложил отсрочить решение вопроса до того, как я съезжу на западный фронт и вынесу непосредственное впечатление о состоянии наших армий после отката. Это означало для меня, что Ленин, по существу дела, уже присоединяется к моей позиции.

В штабе фронта я застал настроения в пользу второй войны. Но в этих настроениях не было никакой уверенности: они представляли отражение мос-

13

ковских настроений. Чем ниже я спускался по военной лестнице — через армию к дивизии, полку и роте, — тем яснее становилась невозможность наступательной войны. Я отправил Ленину на эту тему письмо, написанное от руки, не сняв для себя даже копии, а сам отправился в дальнейший объезд. Двухтрех дней, проведенных на фронте, было вполне достаточно, чтоб подтвердить вывод, с которым я приехал на фронт. Я вернулся в Москву, и политбюро чуть ли не единогласно вынесло решение в пользу немедленного заключения мира.

Ошибка стратегического расчета в польской войне имела огромные исторические последствия. Польша Пилсудского вышла из войны неожиданно укрепленной. Наоборот, развитию польской революции был нанесен жестокий удар. Граница, установленная по рижскому договору, отрезывала советскую республику от Германии, что имело в дальнейшем исключительное значение в жизни обоих стран... Ленин, разумеется, лучше всякого другого понимал значение «варшавской» ошибки и не раз возвращался к ней мыслью и словом.

В эпигонской литературе Ленин изображается ныне приблизительно так, как суздальские иконописцы изображают святых и Христа: вместо идеального образа получается каррикатура. Как ни стараются богомазы подняться над собою, но в конце концов они отражают на дощечке лишь свои собственные вкусы, и вследствие этого дают свой собственный, но лишь идеализированный портрет. Так как авторитет эпигонского руководства поддерживается запрещением сомневаться в его непогрешимости, то Ленина в эпигонской литературе изображают не революционным стратегом, который гениально разбирался в обстановке, а механическим автоматом безошибочных решений. Слово г е н и й в отношении Ленина было впервые сказано мной, когда другие не решались его произносить. Да, Ленин был гениален, полной человеческой гениальностью. Но Ленин не

был механическим счетчиком, не делающим ошибок. Он делал их гораздо меньше, чем сделал бы всякий другой в его положении. Но ошибки у Ленина были, и очень крупные ошибки, в соответствии с гигантским размахом всей его работы.

ГЛАВА XXXVIII

Переход к Нэп'у и мои отношения с Лениным

Я приближаюсь к последнему периоду моей совместной работы с Лениным. Этот период важен и тем, что в нем уже заложены элементы послеленинской победы эпигонов.

После смерти Ленина создана была сложная и разветвленная историко-литературная организация по искажению истории наших отношений. Главный прием состоит в том, чтобы, вырывая из всего прошлого те моменты, когда мы расходились, и опираясь на отдельные полемические выражения, а еще чаще на прямые вымыслы, представить картину непрерывной борьбы двух «принципов». История церкви, написанная средневековыми апологетами, представляется образцом научности по сравнению с историческими изысканиями школы эпигонов. Работа последних до известной степени облегчалась тем обстоятельством, что когда я расходился с Лениным, я об этом говорил вслух, а когда находил нужным, то и апелировал к партии. Что касается нынешних эпигонов, то в случае расхождений с Лениным, которые у них бывали несравненно чаще, чем у меня, они обычно просто отмалчивались, или, как Сталин, надувались и прятались на несколько дней в деревню под Москвой. В подавляющем большинстве случаев решения, к которым мы приходили порознь с Лениным, во всем основном совпадали. Взаимное понимание достигалось с полуслова. Когда мне казалось, что решение политбюро или совнаркома может сложиться непра-

вильно, я посылал Ленину записочку на клочке бумаги. Он отвечал: «Совершенно верно. Внесите предложение». Иногда он мне посылал запрос, согласен ли я с его предложением и требовал моего выступления на поддержку ему. Сплошь да рядом он сговаривался со мной по телефону о направлении дела, и если вопрос был важный, он настойчиво повторял: «Непременно, непременно приходите». В тех случаях, когда мы выступали совместно, — а это было в подавляющем большинстве принципиальных вопросов, — те, которые были недовольны решением, в том числе и нынешние эпигоны, просто молчали. Сколько раз бывало, что Сталин, Зиновьев или Каменев не соглашались со мной в вопросе первостепенной важности, но немедленно умолкали, как только выяснялось, что Ленин солидарен со мной. Можно как угодно относиться к готовности «учеников» отказаться от своего мнения ради мнения Ленина. Но эта готовность не заключала в себе никакой гарантии того, что они способны приходить к ленинским решениям — без Ленина.

Разногласия с Лениным занимают в этой книге такое место, какого они никогда не занимали в действительной жизни. Это объясняется двумя причинами. Разногласия были исключениями и именно этим привлекали к себе внимание. После смерти Ленина эти разногласия, доведенные эпигонами до астрономических размеров, получили характер самостоятельного политического фактора, вне всякой связи ни с Лениным, ни со мной.

В особой главе я со всей подробностью изложил содержание и развитие моих расхождений с Лениным по поводу брестского мира. Сейчас надо остановиться на другом расхождении, которое месяца на два противопоставило нас друг другу на переломе от 1920 к 1921 году, накануне перехода к новой экономической политике.

Несомненно, что так называемая дискуссия по поводу профессиональных союзов на некоторое время

омрачила наши отношения. Мы оба были слишком революционеры и слишком политики, чтоб уметь или желать отделить личное от общего. Во время этой дискуссии Сталин и Зиновьев получили так сказать легальную возможность вынести свою борьбу против меня из-за кулис на сцену. Они изо всех сил стремились использовать коньюнктуру. Это была для них репетиция будущей кампании против «троцкизма». Но как раз эта сторона больше всего беспокоила Ленина, и он принимал все меры, чтобы парализовать ее.

Политическое содержание дискуссии до такой степени завалено мусором, что я не завидую будущему историку, который захочет добраться до корня вещей. Задним числом, уже после смерти Ленина, эпигоны открыли в моей тогдашней позиции «недооценку крестьянства» и чуть ли не враждебное отношение к нэп'у. На этом в сущности и была построена вся дальнейшая борьба. На самом деле корни дискуссии имели прямо противоположный характер. Чтоб вскрыть это, надо несколько вернуться назад.

Осенью 1919 года, когда число больных паровозов дошло до 60%, считалось твердо установленным, что к весне 1920 г. процент больных паровозов должен дойти до 75. Так утверждали лучшие специалисты. Железнодорожное движение теряло при этом всякий смысл, так как при помощи 25% полуздоровых паровозов можно было бы лишь обслуживать потребности самих железных дорог, живших на громоздком древесном топливе. Инженер Ломоносов, фактически управлявший в те месяцы транспортом, демонстрировал перед правительством диаграмму паровозной эпидемии. Указав математическую точку на протяжении 1920 года, он заявил: «Здесь наступает смерть». — Что же надо сделать? спросил Ленин. — Чудес не бывает, — ответил Ломоносов, — чудес не могут делать и большевики. Мы переглянулись. Настроение царило тем более подавленное, что никто из нас не знал ни техники транспорта, ни техники столь мрачных расчетов. — А мы все-таки

попробуем сделать чудо, — сказал Ленин сухо сквозь зубы.

В ближайшие месяцы положение продолжало, однако, ухудшаться. Для этого было достаточно объективных причин. Но весьма вероятно, что кое-какие инженеры искусственно подгоняли положение на транспорте под свою диаграмму.

Зимние месяцы 1919—20 г. г. я провел на Урале, где руководил хозяйственной работой. Ленин по телеграфу обратился ко мне с предложением: взять на себя руководство транспортом и попытаться поднять его при помощи исключительных мер. Я ответил с пути согласием.

С Урала я привез значительный запас хозяйственных наблюдений, которые резюмировались одним общим выводом: надо отказаться от военного коммунизма. Мне стало на практической работе совершенно ясно, что методы военного коммунизма, навязывавшиеся нам всей обстановкой гражданской войны, исчерпали себя, и что для подъема хозяйства необходимо во что бы то ни стало ввести элемент личной заинтересованности, т. е. восстановить в той или другой степени внутренний рынок. Я представил центральному комитету проект замены продовольственной разверстки хлебным налогом и введения товарообмена.

«. . . Нынешняя политика уравнительной реквизиции по продовольственным нормам, круговой поруки при ссыпке и уравнительного распределения продуктов промышленности направлена на понижение земледелия, на распыление промышленного пролетариата и грозит окончательно подорвать хозяйственную жизнь страны». Так гласило заявление, поданное мною в феврале 1920 г. в центральный комитет.

«. . . Продовольственные ресурсы — продолжало заявление — грозят иссякнуть, против чего не может помочь никакое усовершенствование реквизиционного аппарата. Бороться против таких тенденций хозяй-

ственной деградации возможно следующими методами: 1. заменив изъятие излишков известным процентным отчислением (своего рода подоходный прогрессивный натуральный налог), с таким расчетом, чтобы более крупная запашка или лучшая обработка представляли все же выгоду; 2. установив большее соответствие между выдачей крестьянам продуктов промышленности и количеством ссыпанного ими хлеба не только по волостям и селам, но и по крестьянским дворам».

Предложения были, как видим, крайне осторожные. Но не надо забывать, что не дальше их шли на первых порах и принятые через год основы новой экономической политики.

В начале 1920 г. Ленин выступил решительно против этого предложения. Оно было отвергнуто в центральном комитете одиннадцатью голосами против четырех. Как показал дальнейший ход вещей, решение Ц. К. было ошибочно. Я не перенес вопроса на съезд, который прошел полностью под знаком военного коммунизма. Хозяйство еще целый год после того билось в тупике. Мои разногласия с Лениным выросли из этого тупика. Раз переход на рыночные отношения был отвергнут, я требовал правильного и систематического проведения «военных» методов, чтоб добиться реальных успехов в хозяйстве. В системе военного коммунизма, где все рессурсы, по крайней мере, в принципе, национализованы и распределяются по нарядам государства, я не видел места для самостоятельной роли профессиональных союзов. Если промышленность опирается на государственное обеспечение рабочих необходимыми продуктами, то профессиональные союзы должны быть включены в систему государственного управления промышленностью и распределения продуктов. В этом и состояла суть вопроса об огосударствлении профессиональных союзов, которое неотвратимо вытекало из системы военного коммунизма и в этом смысле отстаивалось мною.

На одобренных IX съездом началах военного коммунизма я основал свою работу на транспорте. Профессиональный союз железнодорожников был теснейшим образом связан с административным аппаратом ведомства. Методы чисто военной дисциплины были распространены на все транспортное хозяйство. Я тесно сблизил военную администрацию, которая была самой сильной и дисциплинированной администрацией того времени, с администрацией транспорта. Это давало серьезные преимущества, тем более, что военные перевозки, с возникновением польской войны, снова заняли главное место в работе транспорта. Каждый день я переезжал из военного ведомства, которое своей работой разрушало железные дороги, в комиссариат путей сообщения, где пытался не только спасти их от окончательного распада, но и поднять вверх.

Год работы на транспорте был для меня лично годом большой школы. Все принципиальные вопросы социалистической организации хозяйства получали в области транспорта наиболее концентрированное выражение. Огромное количество паровозных и вагонных типов загромождало железные дороги и мастерские. Нормализация транспортного хозяйства, которое до революции было наполовину казенным, наполовину частным, стала предметом больших подготовительных работ. Паровозы были подобраны по сериям, ремонт их принял более плановый характер, мастерские получали точные задания, в соответствии с оборудованием. Доведение транспорта до довоенного уровня было расчитано на $4^1/_2$ года. Принятые меры дали несомненные успехи. Весной и летом 1920 г. транспорт начал выходить из паралича. Ленин не упускал ни одного случая, чтоб отметить возрождение железных дорог. Если война, начатая Пилсудским в расчете прежде всего на гибель нашего транспорта, не принесла Польше ожидавшихся результатов, то именно благодаря тому, что кривая железнодорожного транспорта начала уверенно под-

ниматься вверх. Эти результаты были достигнуты чрезвычайными административными мерами, неизбежно вытекавшими как из тяжкого положения транспорта, так и из самой системы военного коммунизма.

Между тем рабочая масса, проделавшая три года гражданской войны, все менее соглашалась терпеть методы военной команды. Ленин почуял наступление критического момента своим безошибочным политическим инстинктом. В то время, как я, исходя из чисто-хозяйственных соображений, на основах военного коммунизма добивался от профессиональных союзов дальнейшего напряжения сил, Ленин, руководясь политическими соображениями, шел в сторону ослабления военного нажима. Накануне 10-го съезда наши линии антагонистически пересеклись. Вспыхнула дискуссия в партии. Дискуссия была совершенно не на тему. Партия рассуждала о том, каким темпом должно итти огосударствление профессиональных союзов, тогда как вопрос шел о хлебе насущном, о топливе, о сырье для промышленности. Партия лихорадочно спорила о «школе коммунизма», тогда как по существу дело шло о надвинувшейся вплотную хозяйственной катастрофе. Восстания в Кронштадте и в тамбовской губернии ворвались в дискуссию последним предостережением. Ленин формулировал первые, очень осторожные тезисы о переходе к новой экономической политике. Я немедленно к ним присоединился. Для меня они были только возобновлением тех предложений, которые я внес год тому назад. Спор о профессиональных союзах сразу потерял всякое значение. На съезде Ленин не принял в этом споре никакого участия, предоставив Зиновьеву забавляться гильзой расстрелянного патрона. В прениях на съезде я предупредил, что принятая большинством резолюция о профессиональных союзах не доживет до следующего съезда, ибо новая экономическая ориентировка потребует полного пересмотра профессиональной стратегии. Действительно, уже через несколько месяцев Ленин выработал со-

вершенно новые положения о роли и задачах профессиональных союзов на основах нэпа. Я полностью присоединился к его резолюции. Солидарность была восстановлена. Ленин опасался, однако, что в результате дискуссии, длившейся два месяца, сложатся устойчивые группировки в партии, которые отравят отношения и затруднят работу. Но я еще во время съезда ликвидировал какие бы то ни было совещания с единомышленниками по профессиональному вопросу. Через несколько недель после съезда Ленин убедился, что я не менее его озабочен тем, чтоб ликвидировать временные группировки, под которыми уже не оставалось никакой принципиальной базы. У Ленина сразу отлегло от сердца. Он воспользовался каким-то наглым замечанием по моему адресу со стороны Молотова, впервые избранного в ЦК, чтобы обвинить его в усердии не по разуму и тут же присовокупить: «Лойальность товарища Троцкого во внутрипартийных отношениях совершенно безупречна». Он настойчиво повторял эту фразу. Было ясно, что он дает отпор не только Молотову, но и еще кое-кому. Дело в том, что Сталин и Зиновьев пытались искусственно продлить дискуссионную коньюнктуру.

Сталин как раз на десятом съезде был намечен — по инициативе Зиновьева и против воли Ленина — в генеральные секретари. Съезд был уверен, что дело идет о кандидатуре, выдвинутой центральным комитетом в целом. Никто, впрочем, не придавал этому избранию особого значения. Должность генерального секретаря, впервые на Х-м съезде установленная, могла, при Ленине, иметь технический, а не политический характер. И тем не менее Ленин опасался: «сей повар будет готовить только острые блюда», говорил он о Сталине. Именно поэтому Ленин на одном из первых заседаний Ц. К. после Съезда так настойчиво подчеркнул «лойальность Троцкого»: он давал отпор нетерпеливой интриге.

Слова Ленина не были вскользь брошенным за-

мечанием. Во время гражданской войны Ленин однажды выразил — не словом, а делом — свое моральное ко мне доверие в такой предельной степени, выше которой человек вообще не может ни требовать от другого, ни дать другому. Повод к этому подала все та же военная оппозиция, закулисно руководившаяся Сталиным. В годы войны в моих руках сосредоточивалась власть, которую практически можно назвать беспредельной. В моем поезде заседал революционный трибунал, фронты были мне подчинены, тылы были подчинены фронтам, а в известные периоды почти вся незахваченная белыми территория республики представляла собою тылы и укрепленные районы. У тех, кто попадал под колесо военной колесницы, были свои родные и друзья, которые делали, что могли, для облегчения участи близкого им человека. По разным каналам ходатайства, жалобы, протесты сосредоточивались в Москве, главным образом в президиуме ЦИК. Первые эпизоды на эту тему разыгрались еще в связи с событиями свияжского месяца. Я рассказывал выше о предании мною трибуналу командира четвертого латышского полка — за угрозу увести с позиции полк. Трибунал приговорил виновного к пяти годам заключения. Уже через несколько месяцев пошли ходатайства об его освобождении. Особенно нажимали на Свердлова. Он внес вопрос в политбюро. Я кратко изложил военную обстановку того момента, когда командир полка пригрозил мне «последствиями, опасными для революции». Во время рассказа лицо Ленина все больше серело. Едва я успел закончить, как он воскликнул придушенным голосом с той хрипотой, которая означала у него высшее волнение: «Пусть сидит, пусть сидит» . . . Свердлов поглядел на Ленина, на меня, и сказал: «Я думаю то же самое».

Второй эпизод, несравненно более значительный, связан с расстрелом командира и комиссара, которые увели полк с позиции, захватили с оружием в руках пароход и собирались отплыть на Нижний. Полк

этот формировался в Смоленске, где работой руководили противники моей военной политики, ставшие впоследствии ее горячими сторонниками. Но в тот момент они подняли шум. Назначенная, по требованию моему, комиссия центрального комитета единогласно признала действия военных властей совершенно правильными, т. е. вызывавшимися всей обстановкой. Двусмысленные слухи, однако, не прекращались. Мне несколько раз казалось, что источники их где-то тут же, совсем близко от политбюро. Но мне было не до розысков и распутывания интриг. Один раз только я упомянул на заседании политбюро, что еслиб не драконовские меры под Свияжском, мы не заседали бы в политбюро. «Абсолютно верно!» подхватил Ленин и тут же стал быстро-быстро, как всегда, писать красными чернилами внизу чистого бланка со штемпелем совнаркома. Заседание приостановилось, так как Ленин председательствовал. Через две минуты он передал мне лист бумаги со следующими строками:

Председатель Совета
Народных Комиссаров,
Москва, Кремль,
....июля 1919 г.

Товарищи!

Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело.

В. Ульянов-Ленин.

«Я вам выдам, — сказал Ленин, — сколько угодно таких бланков». В тягчайшей обстановке гражданской войны, спешных и бесповоротных решений, среди которых могли быть и ошибочные, Ленин ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду нужным вынести в будущем. Между тем от этих решений зависела жизнь и смерть человеческих существ. Может ли вообще быть большее доверие человека к человеку? Самая мысль о таком необычайном документе могла возникнуть у Ленина только потому, что он лучше моего знал или подозревал источники интриги и считал необходимым дать ей наивысший отпор. Но решиться на такой шаг Ленин мог только потому, что был до глубины души уверен в невозможности с моей стороны нелойальных действий или злоупотребления властью. Эту уверенность он выразил в немногих строках с предельной силой. Тщетно эпигоны стали бы искать у себя какого-либо подобия такого документа. Сталин мог бы наткнуться в своем архиве разве лишь на скрываемое им от партии «Завещание» Ленина, где о самом Сталине сказано, как о нелойальном человеке, способном на злоупотребления властью. Достаточно сопоставить эти два текста: выданную мне Лениным неограниченную моральную доверенность и выданный им же Сталину моральный волчий паспорт, чтоб получить полную меру отношений Ленина ко мне и к Сталину.

ГЛАВА XXXIX

Болезнь Ленина

Первый отпуск я взял перед вторым конгрессом Коминтерна, весною 1920 года. Я провел около двух месяцев под Москвой. Время делилось между лечением — около этого времени я начал серьезно лечиться, — тщательной работой над Манифестом,

который заменял в течение ближайших лет программу Коминтерна, и — охотой. Потребность в отдыхе после годов напряжения была сильна. Но не было привычки к отдыху. Прогулки не были для меня отдыхом, не являются им и сейчас. Привлекательность охоты состоит в том, что она действует на сознание, как оттяжной пластырь на больное место...

В воскресенье, в начале мая 1922 года я ловил сетью рыбу на старом русле Москвы-реки. Шел дождь, трава намокла, я поскользнулся на откосе, упал и порвал себе сухожилья ноги. Ничего серьезного не было, мне нужно было провести несколько дней в постели. На третий день ко мне пришел Бухарин. «И вы в постели!» воскликнул он в ужасе. — А кто еще, кроме меня? спросил я. — С Ильичем плохо: удар, — не ходит, не говорит. Врачи теряются в догадках.

Ленин очень следил за здоровьем своих сотрудников и нередко вспоминал при этом слова какого-то эмигранта: старики вымрут, а молодые сдадут. «Многие ли у нас знают, что такое Европа, что такое мировое рабочее движение? Пока мы с нашей революцией одни, повторял Ленин, международный опыт нашей партийной верхушки ничем не заменим». Сам Ленин считался крепышем, и здоровье его казалось одним из несокрушимых устоев революции. Он был неизменно активен, бдителен, ровен, весел. Только изредка я подмечал тревожные симптомы. В период первого конгресса Коминтерна он поразил меня усталым видом, неровным голосом, улыбкой больного. Я не раз говорил ему, что он слишком расходует себя на второстепенные дела. Он соглашался, но иначе не мог. Иногда жаловался — всегда мимоходом, чуть застенчиво — на головные боли. Но две-три недели отдыха восстанавливали его. Казалось, что Ленину не будет износу.

В конце 1921 г. состояние его ухудшилось. 7 декабря он извещал членов политбюро запиской: «Уезжаю сегодня. Несмотря на уменьшение мною порции

работы и увеличение порции отдыха за последние дни, бессоница чертовски усилилась. Боюсь, не смогу докладывать ни на партконференции, ни на съезде советов». Значительную часть времени Ленин стал проводить в деревне под Москвой. Но он внимательнейшим образом следил оттуда за ходом дел. Шла подготовка к генуэзской конференции. Ленин пишет 23 января (1922) членам политбюро:

«Я сейчас получил два письма от Чичерина (от 20 и 22). Он ставит вопрос о том, не следует ли, за приличную компенсацию, согласиться на маленькие изменения нашей конституции, именно представительство паразитических элементов в советах. Сделать это в угоду американцам. Это предложение Чичерина показывает, по моему, что его надо немедленно отправить в санаторию, всякое попустительство в этом отношении, допущение отсрочки и т. п. будет, по моему мнению, величайшей угрозой для всех переговоров». В каждом слове этой записки, где политическая беспощадность сочетается с лукавым добродушием, живет и дышит Ленин.

Состояние здоровья его продолжало ухудшаться. В марте усилились головные боли. Врачи не нашли, однако, никаких органических поражений и предписали длительный отдых. Ленин безвыездно поселился в подмосковной деревне. Здесь в начале мая его и настиг первый удар.

Ленин заболел, оказывается, еще третьего дня. Почему мне сразу не сказали? Тогда мне и в голову не приходили какие-либо подозрения. — Бухарин говорил вполне искренно, повторяя то, что ему внушили «старшие». В тот период Бухарин был привязан ко мне чисто бухаринской, т. е. полуистерической, полуребяческой привязанностью. Свой рассказ о болезни Ленина Бухарин кончил тем, что повалился ко мне на кровать и, обхватив меня через одеяло, стал причитать: «не болейте, умоляю вас, не болейте... есть два человека, о смерти которых я всегда думаю с ужасом... это Ильич и вы». Я его дружелюбно

устыжал, чтоб привести в равновесие. Он мешал мне сосредоточиться на тревоге, вызванной вестью, которую он принес. Удар был оглушающий. Казалось, что сама революция затаила дыхание.

«Первые слухи о болезни Ленина, — говорит в своих записях Н. И. Седова — передавались шепотом. Никто как-будто никогда не думал о том, что Ленин может заболеть. Многим было известно, что Ленин зорко следил за здоровьем других, но сам, казалось, он не был подвержен болезни. Почти у всего старшего поколения революционеров сдавало сердце, уставшее от слишком большой нагрузки. «Моторы дают перебои почти у всех», жаловались врачи. «Только и есть два исправных сердца, — говорил Льву Давыдовичу профессор Гетье, — это у Владимира Ильича да у вас. С такими сердцами до ста лет жить». Исследование иностранных врачей подтвердило, что два сердца из всех ими выслушанных в Москве работают на редкость хорошо: это сердца Ленина и Троцкого. Когда в здоровьи Ленина произошел внезапный для широких кругов поворот, он воспринимался, как сдвиг в самой революции. Неужели Ленин может заболеть, как всякий другой, и умереть? Нестерпимо было, что Ленин лишился способности двигаться и говорить. И верилось крепко в то, что он все одолеет, поднимется и поправится»... Таково было настроение всей партии.

Гораздо позже, оглядываясь на прошлое, я опять вспомнил со свежим удивлением то обстоятельство, что мне о болезни Ленина сообщили только на третий день. Тогда я не останавливался на этом. Но это не могло быть случайно. Те, которые давно готовились стать моими противниками, в первую голову Сталин, стремились выиграть время. Болезнь Ленина была такого рода, что могла сразу принести трагическую развязку. Завтра же, даже сегодня могли ребром встать все вопросы руководства. Противники считали важным выгадать на подготовку хоть день Они шушукались между собою и нащупы-

вали пути и приемы борьбы. В это время, надо полагать, уже возникла идея «тройки» (Сталин-Зиновьев-Каменев), которую предполагалось противопоставить мне. Но Ленин оправился. Подгоняемый непреклонной волей организм совершил гигантское усилие. Мозг, задыхавшийся от недостатка крови и потерявший способность связывать воедино звуки и буквы, вдруг ожил снова.

В конце мая я ездил на рыбную ловлю верст за 80 от Москвы. Там оказался детский санаторий имени Ленина. Дети сопровождали меня вдоль озера, распрашивали про здоровье Владимира Ильича, послали ему через меня полевые цветы и письмо. Ленин сам еще не писал. Он продиктовал через своего секретаря несколько строк: «Владимир Ильич поручил мне написать вам, что он приветствует вашу мысль отвезти от него подарок детям санатории на ст. Подсолнечная. Владимир Ильич просит вас также передать детишкам, что он очень благодарит их за их сердечное письмо и цветы и жалеет, что не может воспользоваться их приглашением; он не сомневается, что непременно поправился бы среди них».

В июле Ленин уже был на ногах и, не возвращаясь до октября официально к работе, следил за всем и вникал во все. В эти месяцы выздоровления процесс эсеров, в числе многого другого, очень занимал его внимание. Эсеры убили Володарского, убили Урицкого, тяжело ранили Ленина, дважды собирались взорвать мой поезд. Мы не могли относиться к этому слегка. Хоть и не под идеалистическим углом зрения, как наши враги, но мы умели ценить «роль личности в истории». Мы не могли закрывать глаза на то, какая опасность грозит революции, если мы дадим врагам перестрелять всю нашу верхушку.

Наши гуманитарные друзья, из породы ни горячих ни холодных, не раз разъясняли нам, что они еще могут понять неизбежность репрессий вообще; но расстреливать п о й м а н н о г о врага значит нересту-

пать границы необходимой самообороны. Они требовал от нас «великодушия». Клара Цеткин и другие европейские коммунисты, которые тогда еще отваживались — против Ленина и меня — говорить то, что думают, настаивали на том, чтоб мы пощадили жизнь обвиняемых. Нам предлагали ограничиться тюремным заключением. Это казалось самым простым. Но вопрос о личной репрессии в революционную эпоху принимает совсем особый характер, от которого бессильно отскакивают гуманитарные общие места. Борьба идет непосредственно за власть, борьба на жизнь и на смерть — в этом и состоит революция, — какое же значение может иметь в этих условиях тюремное заключение для людей, которые надеются в ближайшие недели овладеть властью и посадить в тюрьму или уничтожить тех, которые стоят у руля? С точки зрения так называемой абсолютной ценности человеческой личности революция подлежит «осуждению», как и война, как, впрочем, и вся история человечества в целом. Однако, же самое понятие личности выработалось лишь в результате революций, причем процесс этот еще очень далек от завершения. Чтоб понятие личности стало реальным и чтоб полупрезрительное понятие «массы» перестало быть антитезой философски привиллегированного понятия «личности», нужно, чтоб сама масса краном революции, вернее сказать, ряда революций, подняла себя на новую историческую ступень. Хорош или плох этот путь с точки зрения нормативной философии, я не знаю, и, признаться, не интересуюсь этим. Зато я твердо знаю, что это единственный путь, который знало до сих пор человечество.

Эти соображения ни в каком случае не являются попыткой «оправдания» революционного террора. Пытаться оправдывать его значило бы считаться с обвинителями. Но кто они? Организаторы и эксплоататоры великой мировой бойни? Новые богачи, возносящие в честь «неизвестного солдата» благоухание своей послеобеденной сигары? Пацифисты, которые

боролись против войны, пока ее не было, и готовы снова повторить свой отвратительный маскарад? Ллойд-Джордж, Вильсон и Пуанкаре, которые за преступления Гогенцоллерна (и их собственные) считали себя вправе морить голодом немецких детей? Английские консерваторы или французские республиканцы, разжигавшие гражданскую войну в России со стороны и в полной безопасности пытавшиеся из крови ее чеканить свои барыши? Эту перекличку можно продолжить без конца. Дело для меня идет не о философском оправдании, а о политическом объяснении. Революция потому и революция, что все противоречия развития она сводит к альтернативе: жизнь или смерть. Можно ли думать, что люди, которые вопрос о принадлежности Эльзаса и Лотарингии решают заново каждые полвека при помощи горных хребтов из человеческих трупов, способны перестроить свои общественные отношения при помощи одного лишь парламентского чревовещания? Во всяком случае никто еще не показал нам, как это делается. Мы ломали сопротивление старых горных пород при помощи стали и динамита. И когда враги стреляли в нас, чаще всего из винтовок самых цивилизованных и демократических наций, мы отвечали тем же. Бернард Шоу кивал при этом укоризненно бородой по адресу одних и других. Но никто не замечал этого сакраментального аргумента.

Летом 1922 г., вопрос о репрессиях принял тем более острую форму, что дело шло на этот раз о вождях партии, которая в свое время рядом с нами вела революционную борьбу против царизма, а после октябрьского переворота повернула оружие террора против нас. Перебежчики из лагеря самих эсеров раскрыли нам, что важнейшие террористические акты были организованы не одиночками, как мы склонны были думать сначала, а партией, хотя она и не решалась брать на себя официальную ответственность за совершавшиеся ею убийства. Смертный приговор со стороны трибунала был неизбежен. Но приведение

его в исполнение означало бы неотвратимо ответную волну террора. Ограничиться тюрьмой, хотя бы и долголетней, значило просто поощрить террористов, ибо они меньше всего верили в долголетие советской власти. Не оставалось другого выхода, как поставить выполнение приговора в зависимость от того, будет или не будет партия продолжать террористическую борьбу. Другими словами: вождей партии превратить в заложников.

Первое свидание мое с Лениным после его выздоровления произошло как раз в дни суда над социалистами-революционерами. Он сразу и с облегчением присоединился к решению, которое я предложил: «правильно, другого выхода нет».

Выздоровление явно окрыляло Ленина. Но в нем жила еще внутренняя тревога. «Понимаете, — говорил он с недоумением, — ведь ни говорить, ни писать не мог, пришлось учиться заново» . . . И он вскидывал на меня быстрый и как бы допрашивающий взгляд.

В октябре Ленин вернулся уже официально к работе, председательствовал в политбюро и в совнаркоме, а в ноябре произносил программные речи, которые, по всей видимости, дорого обходились его кровеносной системе.

Ленин чуял, что, в связи с его болезнью, за его и за моей спиною плетутся пока еще почти неуловимые нити заговора. Эпигоны еще не сжигали мостов и не взрывали их. Но кое-где они уже подпиливали балки, кое-где подкладывали незаметно пироксилиновые шашки. При каждом подходящем случае они выступали против моих предложений, как бы упражняясь в самостоятельности, и тщательно подготовляя такого рода демонстрации. Входя в работу и с возростающим беспокойством отмечая происшедшие за десять месяцев перемены, Ленин до поры до времени не называл их вслух, чтоб тем самым не обострить отношений. Но он готовился дать «тройке» отпор и начал его давать на отдельных вопросах.

В числе десятка других работ, которыми я руководил в партийном порядке, т. е. негласно и неофициально, была анти-религиозная пропаганда, которою Ленин интересовался чрезвычайно. Он настойчиво и не раз просил меня не спускать с этой области глаз. В недели выздоровления он каким то образом узнал, что Сталин и здесь маневрирует против меня, обновляя аппарат антирелигиозной пропаганды и отодвигая его от меня. Ленин прислал из деревни в политбюро письмо, в котором, без особенной на первый взгляд надобности, цитировал мою книгу против Каутского, с большей похвалой по адресу автора, которого он при этом не называл, как не называл и книги. Я, признаться, не сразу догадался, что это был обходный способ сказать, что Ленин осуждает направленные против меня сталинские маневры. На руководство анти-религиозной пропагандой был тем временем продвинут Ярославский, кажется, под видом моего заместителя. Вернувшись к работе и узнав об этом, Ленин на одном из заседаний политбюро неистово накинулся на Молотова, т. е. в действительности, на Сталина: «Я-ро-слав-ский? Да разве вы не знаете Я-ро-слав-ского? Ведь это же курам на смех. Где же ему справиться с этой работой?» и пр. Горячность Ленина непосвященным могла казаться чрезмерной. Но дело шло не о Ярославском, которого Ленин, правда, с трудом выносил, дело шло о руководстве партией. Таких эпизодов было не мало.

По существу дела, Сталин с тех пор, как ближе соприкоснулся с Лениным, т. е. особенно после октябрьского переворота, не выходил из состояния глухой, беспомощной, но тем более раздраженной оппозиции к нему. При огромной и завистливой амбициозности, он не мог не чувствовать на каждом шагу своей интеллектуальной и моральной второсортности. Он пытался, видимо, сблизиться со мной. Только позже я отдал себе отчет в его попытках создать нечто вроде фамильярности отношений. Но он отталкивал меня теми чертами, которые составили впослед-

ствии его силу на волне упадка: узостью интересов, эмпиризмом, психологической грубостью и особым цинизмом провинциала, которого марксизм освободил от многих предрассудков, не заменив их, однако, насквозь продуманным и перешедшим в психологию миросозерцанием. По некоторым разрозненным его замечаниям, которые мне в свое время казались случайными, но вряд ли были такими на деле, Сталин пытался найти во мне поддержку против невыносимого для него контроля со стороны Ленина. При каждой такой его попытке я делал инстинктивный шаг назад и — проходил мимо. Думаю, что в этом надо искать источников холодной, на первых порах трусливой и насквозь вероломной вражды ко мне Сталина. Он систематически подбирал вокруг себя либо людей, схожих с ним по типу, либо простаков, стремившихся жить не мудрствуя лукаво, либо, наконец, обиженных. И тех, и других, и третьих было не мало.

Нет никакого сомнения в том, что для текущих дел Ленину было во многих случаях удобнее опираться на Сталина, Зиновьева или Каменева, чем на меня. Озабоченный неизменно сбережением своего и чужого времени, Ленин старался к минимуму сводить расход сил на преодоление внутренних трений. У меня были свои взгляды, свои методы работы, свои приемы для осуществления уже принятых решений. Ленин достаточно знал это и умел уважать. Именно поэтому он слишком хорошо понимал, что я не гожусь для поручений. Там, где ему нужны были повседневные исполнители его заданий, он обращался к другим. Это могло в некоторые периоды, особенно, когда у меня с Лениным бывали расхождения, вызывать у его помощников представление об их особенной близости к Ленину. Так, своими заместителями по председательствованию в Совете народных комиссаров Ленин привлек сперва Рыкова и Цюрупу, а затем, в дополнение к ним, Каменева. Я считал этот выбор правильным. Ленину нужны были послушные практические помощники. Для такой роли я не го-

дился. И я мог быть только благодарен Ленину за то, что он не обратился ко мне с предложением заместительства. В этом я видел отнюдь не недоверие ко мне, а наоборот, определенную и отнюдь не обидную для меня оценку моего характера и наших взаимных отношений. Я получил позже слишком яркую возможность убедиться в этом. В промежутке между первым и вторым ударом Ленин мог работать только в половину своей прежней силы. Мелкие, но грозные толчки со стороны кровеносной системы происходили все время. На одном из заседаний политбюро, встав, чтобы передать кому то записочку — Ленин всегда обменивался такими записочками для ускорения работы, — он чуть-чуть качнулся. Я заметил это только потому, что Ленин сейчас же изменился в лице. Это было одно из многих предупреждений со стороны жизненных центров. Ленин не делал себе на этот счет иллюзий. Он со всех сторон обдумывал, как пойдет работа без него и после него. В это время у него складывался в голове тот документ, который получил впоследствии известность под именем «Завещания». В этот же период — последние недели перед вторым ударом — Ленин имел со мной большой разговор о моей дальнейшей работе. Разговор этот, в виду его политического значения я тогда же повторил ряду лиц (Раковскому, И. Н. Смирнову, Сосновскому, Преображенскому и другим). Уже благодаря одному этому беседа отчетливо сохранилась в моей памяти.

Дело было так. Центральный комитет союза работников просвещения нарядил делегацию ко мне и к Ленину с ходатайством о том, чтоб я взял на себя дополнительно комиссариат народного просвещения, подобно тому, как я в течение года руководил комиссариатом путей сообщения. Ленин спросил моего мнения. Я ответил, что трудность в деле просвещения, как и во всяком другом деле, будет со стороны аппарата. — Да, бюрократизм у нас чудовищный, — подхватил Ленин, — я ужаснулся после возвращения

к работе... Но именно поэтому вам не следует, по моему, погружаться в отдельные ведомства сверх военного. — Горячо, настойчиво, явно волнуясь, Ленин излагал свой план. Силы, которые он может отдавать руководящей работе, ограничены. У него три заместителя. «Вы их знаете. Каменев, конечно, умный политик, но какой же он администратор? Цюрупа болен. Рыков, пожалуй, администратор, но его придется вернуть на ВСНХ. Вам необходимо стать заместителем. Положение такое, что нам нужна радикальная личная перегруппировка». Я опять сослался на «аппарат», который все более затрудняет мне работу даже и по военному ведомству. — Вот вы и сможете перетряхнуть аппарат, — живо подхватил Ленин, намекая на употреебленное мною некогда выражение. — Я ответил, что имею в виду не только государственный бюрократизм, но и партийный; что суть всех трудностей состоит в сочетании двух аппаратов, и во взаимном укрывательстве влиятельных групп, собирающихся вокруг иерархии партийных секретарей. Ленин слушал напряженно и подтверждал мои мысли тем глубоким грудным тоном, который у него появлялся, когда он, уверившись в том, что собеседник понимает его до конца, и отбросив неизбежные условности беседы, открыто касался самого важного и тревожного. Чуть подумав, Ленин поставил вопрос ребром: «вы, значит, предлагаете открыть борьбу не только против государственного бюрократизма, но и против Оргбюро ЦК?» Я рассмеялся от неожиданности. Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского аппарата. — Пожалуй, выходит так. — Ну, что-ж, — продолжал Ленин, явно довольный тем, что мы назвали по имени существо вопроса, — я предлагаю вам блок: против бюрократизма вообще, против оргбюро в частности. — С хорошим человеком лестно заключить хороший блок, ответил я. — Мы условились встретиться снова через некоторое время. Ленин предлагал обдумать организационную сторону дела. Он намечал создание при ЦК комиссии по

борьбе с бюрократизмом. Мы оба должны были войти в нее. По существу эта комиссия должна была стать рычагом для разрушения сталинской фракции, как позвоночника бюрократии, и для создания таких условий в партии, которые дали бы мне возможность стать заместителем Ленина, по его мысли: преемником на посту председателя совнаркома.

Только в этой связи становится полностью ясен смысл так называемого завещания. Ленин называет в нем всего шесть лиц и дает их характеристики, взвешивая каждое слово. Бесспорная цель завещания: облегчить мне руководящую работу. Ленин хочет достигнуть этого, разумеется, с наименьшими личными трениями. Он говорит обо всех с величайшей осторожностью. Он придает оттенок мягкости уничтожающим по существу суждениям. В то же время слишком решительное указание на первое место он смягчает ограничениями. Только в характеристике Сталина слышен другой тон, который в позднейшей приписке к завещанию становится прямо уничтожающим.

О Зиновьеве и Каменеве Ленин говорит, как бы мимоходом, что их капитуляция в 1917 году была «неслучайна»; другими словами, что это у них в крови. Ясно, что такие люди руководить революцией не могут. Но не нужно все же их попрекать прошлым. Бухарин не марксист, а схоласт, но зато очень симпатичен. Пятаков способный администратор, но негодный политик. Может быть, впрочем, эти двое, Бухарин и Пятаков еще научатся. Самый способный — Троцкий; его недостаток — избыток самоуверенности. Сталин груб, нелойален и склонен злоупотреблять властью, которую ему доставляет партийный аппарат. Сталина надо снять, чтоб избежать раскола. Вот суть завещания. Она дополняет и поясняет то предложение, которое сделал мне Ленин в последней беседе.

По настоящему Ленин узнал Сталина только после Октября. Он ценил его качества твердости и

практического ума, состоящего на три четверти из хитрости. В то же время Ленин на каждом шагу наталкивался на невежество Сталина, крайнюю узость политического кругозора, на исключительную моральную грубость и неразборчивость. На пост генерального секретаря Сталин был выбран против воли Ленина, который мирился с этим, пока сам возглавлял партию. Но вернувшись после первого удара к работе с ущербленным здоровьем, Ленин поставил перед собою проблему руководства во всем ее объеме. Отсюда беседа со мною. Отсюда же Завещание. Последние строки его были написаны 4 января. После того прошло еще два месяца, в течение которых положение окончательно определилось. Теперь уже Ленин подготовляет не только снятие Сталина с поста генерального секретаря, но и его дисквалификацию перед партией. По вопросу о монополии внешней торговли, по национальному вопросу, по вопросу о режиме в партии, о рабоче-крестьянской инспекции и о контрольной комиссии Ленин систематически и настойчиво ведет дело к тому, чтобы нанести на XII съезде, в лице Сталина, жесточайший удар бюрократизму, круговой поруке чиновников, самоуправству, произволу и грубости.

Смог ли бы Ленин провести намеченную им перегруппировку партийного руководства? В тот момент — безусловно. Прецендентов на этот счет было не мало, один — совсем свежий и очень выразительный. В то время, как выздоравливавший Ленин жил еще в деревне, а я отсутствовал из Москвы, центральный комитет единогласно принял в ноябре 1922 г. решение, наносившее непоправимый удар монополии внешней торговли. И Ленин и я, независимо друг от друга, подняли тревогу, затем списались друг с другом и согласовали свои шаги. Уже через несколько недель центральный комитет столь же единогласно отменил свое решение, как единогласно вынес его. 21 декабря Ленин торжествующе писал мне: «Т. Троцкий, как будто удалось взять позицию без единого выстрела,

простым маневренным движением. Я предлагаю не останавливаться и продолжать наступление...» Совместное наше выступление против центрального комитета в начале 1923 г. обеспечило бы победу наверняка. Более того. Я не сомневаюсь, что если-б я выступил накануне XII съезда в духе «блока» Ленина—Троцкого» против сталинского бюрократизма, я бы одержал победу и без прямого участия Ленина в борьбе. Насколько прочна была бы эта победа, вопрос другой. Для разрешения его необходимо привлечь к учету ряд объективных процессов в стране, в рабочем классе и в самой партии. Это особая и большая тема. Крупская однажды сказала в 1927 г., что если-б жив был Ленин, то вероятно уже сидел бы в сталинской тюрьме. Я думаю, что она была права. Ибо дело не в Сталине, а в тех силах, которые Сталин выражает, не понимая того. Но в 1922—23 году вполне возможно было еще завладеть командной позицией открытым натиском на быстро складывавшую фракцию национал-социалистических чиновников, аппаратных узурпаторов, незаконных наследников Октября, эпигонов большевизма. Главным препятствием на этом пути было, однако, состояние самого Ленина. Ждали, что он снова поднимется, как после первого удара, и примет участие в XII съезде, как принял в XI-м. Он сам на это надеялся. Врачи обнадеживали, хотя все с меньшей твердостью. Идея «блока Ленина и Троцкого» против аппаратчиков и бюрократов была в тот момент полностью известна только Ленину и мне, остальные члены политбюро смутно догадывались. Письма Ленина по национальному вопросу, как и его Завещание, никому не были известны. Мое выступление могло быть понято, вернее сказать, изображено, как моя личная борьба за место Ленина в партии и государстве. Я не мог без внутреннего содрогания думать об этом. Я считал, что это может внести такую деморализацию в наши ряды, за которую, даже в случае победы, пришлось бы жестоко расплачиваться. Во всех планах и рассче-

тах был решающий элемент неопределенности: это сам Ленин, со своим физическим состоянием. Сможет ли он высказаться? Успеет ли? Поймет ли партия, что дело идет о борьбе Ленина и Троцкого за будущность революции, а не о борьбе Троцкого за место больного Ленина? Благодаря исключительному месту, занимавшемуся в партии Лениным, неопределенность его личного состояния превратилась в неопределенность состояния всей партии. Провизориум затягивался. А затяжка была целиком на руку эпигонам, поскольку Сталин, как генеральный секретарь, естественно превращался в аппаратного мажордома на весь период «междуцарствия».

* * *

Стояли первые дни марта 1923 года. Ленин лежал в своей комнате, в большом здании судебных установлений. Надвигался второй удар, предшествуемый рядом мелких толчков. Меня на несколько недель приковал к постели lumbago (прострел). Я лежал в здании бывшего кавалерского корпуса, где помещалась наша квартира, отделенный от Ленина огромным кремлевским двором. Ни Ленин, ни я не могли подойти даже к телефону, к тому же телефонные переговоры были Ленину строго воспрещены врачами. Два секретаря Ленина, Фотиева и Глассер, служат связью. Вот что они мне передают. Владимир Ильич до крайности взволнован сталинской подготовкой предстоящего партийного съезда, особенно же в связи с его фракционными махинациями в Грузии. «Владимир Ильич готовит против Сталина на съезде бомбу». Это дословная фраза Фотиевой. Слово «бомба» принадлежит Ленину, а не ей. «Владимир Ильич просит вас взять грузинское дело в свои руки, тогда он будет спокоен». 5-го марта Ленин диктует мне записку:

«Уважаемый товарищ Троцкий. Я просил бы вас очень взять на себя защиту грузинского дела на

Ц. К. партии. Дело это сейчас находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив. Если бы вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокойным. Если вы почему-нибудь не согласитесь, то верните мне все дело. Я буду считать это признаком вашего несогласия. С наилучшим товарищеским приветом. Ленин».

Почему вопрос так обострился? спрашиваю я. Оказывается, Сталин снова обманул доверие Ленина: чтоб обеспечить себе опору в Грузии, он за спиною Ленина и всего Ц. К., совершил там при помощи Орджоникидзе и не без поддержки Дзержинского организованный переворот против лучшей части партии, ложно прикрывшись авторитетом центрального комитета. Пользуясь тем, что больному Ленину недоступны были свидания с товарищами, Сталин пытался окружить его фальшивой информацией. Ленин поручил своему секретариату собрать полный материал по грузинскому вопросу и решил выступить открыто. Что его при этом потрясло больше: личная нелойальность Сталина или его грубо-бюрократическая политика в национальном вопросе, трудно сказать. Вернее, сочетание того и другого. Ленин готовился к борьбе, но опасался, что не сможет на съезде выступить сам, и это волновало его. — Не переговорить ли с Зиновьевым и Каменевым? подсказывают ему секретари. Но Ленин досадливо отмахивается рукой. Он отчетливо предвидит, что, в случае его отхода от работы, Зиновьев и Каменев составят со Сталиным «тройку» против меня и следовательно изменят ему. — А вы не знаете, как относится к грузинскому вопросу Троцкий? спрашивает Ленин. — Троцкий на пленуме выступал совершенно в вашем духе, отвечает Глассер, которая секретарствовала на пленуме. — Вы не ошибаетесь? — Нет, Троцкий обвинял Орджоникидзе, Ворошилова и Калинина в непонимании национального вопроса. — Проверьте еще раз! требует Ленин. На второй день Глассер подает

мне на заседании ЦК, у меня на квартире, записку с кратким изложением моей вчерашней речи и заключает ее вопросом: «правильно ли я вас поняла?» — Зачем вам это? спрашиваю я. — Для Владимира Ильича, отвечает Глассер. — Правильно, отвечаю я. Сталин тем временем тревожно следит за нашей перепиской. Но в этот момент я еще не догадываюсь, в чем дело... «Прочитав нашу с вами переписку, рассказывает мне Глассер, Владимир Ильич просиял: ну, теперь другое дело! и поручил передать вам все те рукописные материалы, которые должны были войти в состав его бомбы к XII-му съезду». Намерения Ленина стали мне теперь совершенно ясны: на примере политики Сталина он хотел вскрыть перед партией, и притом беспощадно, опасность бюрократического перерождения диктатуры.

— Каменев едет завтра в Грузию на партийную конференцию, — говорю я Фотиевой. Я могу познакомить его с ленинскими рукописями, чтоб побудить его действовать в Грузии в надлежащем духе. Спросите об этом Ильича. — Через четверть часа Фотиева возвращается, запыхавшись: «Ни в коем случае!» — Почему? — Владимир Ильич говорит: «Каменев сейчас же все покажет Сталину, а Сталин заключит гнилой компромисс и обманет». — Значит, дело зашло так далеко, что Ильич уже не считает возможным заключить компромисс со Сталиным даже на правильной линии? — Да, Ильич не верит Сталину, он хочет открыто выступить против него перед всей партией. Он готовит бомбу.

Примерно через час после этой беседы Фотиева снова пришла ко мне с запиской Ленина, адресованной старому революционеру Мдивани и другим противникам сталинской политики в Грузии. Ленин пишет им: «Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь». В копии эти строки адресованы не только мне, но и Каменеву. Это удивило меня. — Значит, Владимир

Ильич передумал? спросил я. Да, его состояние ухудшается с часу на час. Не надо верить успокоительным отзывам врачей, Ильич уже с трудом говогит... Грузинский вопрос волнует его до крайности, он боится, что свалится совсем, не успев ничего предпринять. Передавая записку, он сказал: «чтоб не опоздать, приходится прежде времени выступить открыто». — Но это значит, что я могу теперь поговорить с Каменевым? — Очевидно. — Вызовите его ко мне.

Каменев явился через час. Он был совершенно дезориентирован. Идея тройки: Сталин, Зиновьев, Каменев была уже давно готова. Острием своим тройка была направлена против меня. Вся задача заговорщиков состояла в том, чтоб, подготовив достаточную организационную опору, короновать тройку, в качестве законной преемницы Ленина. Маленькая записочка врезывалась в этот план острым клином. Каменев не знал, как быть, и довольно откровенно мне в этом признался. Я дал ему прочитать рукописи Ленина. Каменев был достаточно опытным политиком, чтобы сразу понять, что для Ленина дело шло не о Грузии только, но обо всей вообще роли Сталина в партии. Каменев сообщил мне дополнительные сведения. Только что он был у Надежды Константиновны Крупской, по ее вызову. В крайней тревоге она ему сообщила: «Владимир только что продиктовал стенографистке письмо Сталину о разрыве с ним всяких отношений». Непосредственный повод имел полуличный характер. Сталин стремился всячески изолировать Ленина от источников информации и проявлял в этом смысле исключительную грубость по отношению к Надежде Константиновне. — «Но ведь вы знаете Ильича, прибавила Крупская: он бы никогда не пошел на разрыв личных отношений, если-б не считал необходимым разгромить Сталина политически». Каменев был взволнован и бледен. Почва уплывала у него из под ног. Он не знал, с какой ноги ступить и в какую сторону повернуться.

Возможно, что он просто боялся недоброжелательных действий с моей стороны против него лично. Я изложил ему свой взгляд на обстановку. «Иногда из страха перед мнимой опасностью — говорил я — люди способны накликать на себя опасность действительную. Имейте в виду и передайте другим, что я меньше всего намерен поднимать на съезде борьбу ради каких-либо организационных перестроек. Я стою за сохранение status quo. Если Ленин до съезда встанет на ноги, что, к несчастью, мало вероятно, то мы с ним вместе обсудим вопрос заново. Я против ликвидации Сталина, против исключения Орджоникидзе, против снятия Дзержинского с путей сообщения. Но я согласен с Лениным по существу. Я хочу радикального изменения национальной политики, прекращения репрессий против грузинских противников Сталина, прекращения административного зажима партии, более твердого курса на индустриализацию и честного сотрудничества на верху. Сталинская резолюция по национальному вопросу никуда не годится. Грубый и наглый великодержавный зажим ставится в ней на один уровень с протестом и отпором малых, слабых и отсталых народностей. Я придал своей резолюции форму поправок к резолюции Сталина, чтоб облегчить ему необходимую перемену курса. Но нужен крутой поворот. Кроме того, необходимо, чтоб Сталин сейчас же написал Крупской письмо с извинениями за грубости, и чтоб он на деле переменил свое поведение. Пусть не зарывается. Не нужно интриг. Нужно честное сотрудничество. Вы же — обратился я к Каменеву — должны на конференции в Тифлисе добиться полной перемены курса по отношению к грузинским сторонникам ленинской национальной политике».

Каменев вздохнул с облегчением. Он принял все мои предложения. Он опасался только, что Сталин заупрямится: «груб и капризен». Не думаю, — отвечал я, — вряд ли у Сталина есть сейчас другой выход. Глубокой ночью Каменев сообщил мне, что был у

Сталина в деревне, и что тот принял все условия. Крупская уже получила от него письмо с извинениями. Но она не могла показать письмо Ленину, так как ему хуже. Мне показалось, однако, что тон Каменева звучит иначе, чем при расставаньи со мною несколько часов тому назад. Только позже мне стало ясно, что эту перемену внесло ухудшение в состоянии Ленина. По дороге или сейчас же по прибытии в Тифлис Каменев получил шифрованную телеграмму Сталина о том, что Ленин снова в параличе: не говорит и не пишет. На грузинской конференции Каменев проводил политику Сталина против Ленина. Скрепленная личным вероломством, тройка стала фактом.

Наступление Ленина было направлено не только против Сталина лично, но и против его штаба, прежде всего, против его помощников, Дзержинского и Орджоникидзе. Оба они неизменно упоминаются в переписке Ленина по вопросу о Грузии.

Дзержинский был человеком великой взрывчатой страсти. Его энергия поддерживалась в напряжении постоянными электрическими разрядами. По каждому вопросу, даже и второстепенному, он загорался, тонкие ноздри дрожали, глаза искрились, голос напрягался и нередко доходил до срыва. Несмотря на такую высокую нервную нагрузку, Дзержинский не знал периодов упадка или апатии. Он как бы всегда находился в состоянии высшей мобилизации. Ленин как-то сравнил его с горячим кровным конем. Дзержинский влюблялся нерассуждающей любовью во всякое дело, которое выполнял, ограждая своих сотрудников от вмешательства и критики со страстью, с непримиримостью, с фанатизмом, в которых, однако, не было ничего личного: Дзержинский бесследно растворялся в деле.

Самостоятельной мысли у Дзержинского не было. Он сам не считал себя политиком, по крайней мере, при жизни Ленина. По разным поводам он неоднократно говорил мне: я может быть не плохой ре-

волюционер, но я не вождь, не государственный человек, не политик. В этом была не только скромность. Самооценка была верна по существу. Политически Дзержинский всегда нуждался в чьем-нибудь непосредственном руководстве. В течение долгих лет он шел за Розой Люксембург и проделал ее борьбу не только с польским патриотизмом, но и с большевизмом. В 1917 году он примкнул к большевикам. Ленин мне говорил с восторгом: «никаких следов старой борьбы не осталось». В течение двух-трех лет Дзержинский особенно тяготел ко мне. В последние годы поддерживал Сталина. В хозяйственной работе он брал темпераментом: призывал, подталкивал, увлекал. Продуманной концепции хозяйственного развития у него не было. Он разделял все ошибки Сталина и защищал их со всей страстью, на какую был способен. Он умер почти стоя, едва успев покинуть трибуну, с которой страстно громил оппозицию.

Другого из союзников Сталина, Орджоникидзе, Ленин считал необходимым, за бюрократическое самоуправство на Кавказе, исключить из партии. Я возражал. Ленин отвечал через секретаря: «По крайней мере на два года». Как далек был Ленин в тот момент от мысли, что Орджоникидзе станет во главе Контрольной Комиссии, которую Ленин намечал для борьбы против сталинского бюрократизма и которая должна была воплощать совесть партии.

Помимо обще-политических задач, открытая Лениным кампания имела непосредственно своей целью создать наиболее благоприятные условия для моей руководящей работы, либо рядом с Лениным, если-б ему удалось оправиться, либо на его месте, если-б болезнь одолела его. Но недоведенная до конца, ни даже до середины, борьба дала прямо противоположные результаты. Ленин успел в сущности только объявить войну Сталину и его союзникам, причем и об этом узнали лишь непосредственно заинтересованные, но не партия. Фракция Сталина — тогда это была еще фракция «тройки» — сплотилась после

первого предостережения теснее. Провизориум сохранился. Сталин стоял у рукоятки аппарата. Искусственный отбор в аппарате пошел бешенным темпом. Чем слабее чувствовала себя тройка идейно, чем больше она меня боялась, — а боялась она меня именно потому, что хотела меня свалить, — тем туже пришлось ей подвинчивать все гайки партийного и государственного режима. Значительно позже, в 1925 г., Бухарин ответил мне в частной беседе на мою критику партийного зажима: «у нас нет демократии, потому что мы боимся вас». — А вы попробуйте перестать бояться, посоветовал я, и давайте, как следует работать. Но совет не пошел в прок.

1923 год стал первым годом напряженного, но еще бездумного удушения и разгрома большевистской партии. Ленин боролся со страшным недугом. Тройка боролась с партией. В атмосфере было тяжкое напряжение, которое к осени разрешилось «дискуссией» против оппозиции. Началась вторая революция: борьба против троцкизма. По существу это была борьба с идейным наследством Ленина.

ГЛАВА XL

Заговор эпигонов

Шли первые недели 1923 года. Близился XII съезд. На участие в нем Ленина надежды почти не оставалось. Возникал вопрос, кому читать основной политический доклад. Сталин сказал на заседании политбюро: «Конечно, Троцкому». Его сейчас же поддержали Калинин, Рыков и, явно против своей воли, Каменев. Я возражал. Партии будет не по себе, если кто-нибудь из нас попытается как бы персонально заменить больного Ленина. Обойдемся на этот раз без вводного политического доклада. Скажем то, что нужно, по отдельным пунктам порядка дня. К тому же, добавил я, у нас с вами разногласия

по хозяйственным вопросам. — Какие там разногласия? ответил Сталин. Калинин прибавил: «Почти по всем вопросам в политбюро проходят всегда ваши решения». Зиновьев был в отпуску на Кавказе. Вопрос остался не решенным. Я во всяком случае взял на себя доклад о промышленности.

Сталин знал, что со стороны Ленина на него надвигается гроза и со всех сторон охаживал меня. Он повторял, что политический доклад должен быть сделан наиболее после Ленина влиятельным и популярным членом ЦК, т. е. Троцким, что партия ничего другого не ждет и не поймет. В своих попытках фальшивого дружелюбия он казался мне еще более чуждым, чем в откровенных проявлениях вражды, тем более, что побудительные мотивы его слишком торчали наружу.

Вернулся с Кавказа Зиновьев. За моей спиной шли непрерывные фракционные совещания, в то время еще очень тесные. Зиновьев требовал для себя политического доклада. Каменев допрашивал наиболее доверенных «старых большевиков», из которых большинство лет на 10, на 15 покидало партию: «неужели же мы допустим, чтоб Троцкий стал единоличным руководителем партии и государства?» Все чаще стали по углам шевелить прошлое, поминая старые мои разногласия с Лениным. Это стало специальностью Зиновьева. Тем временем положение Ленина резко ухудшилось, и с этой стороны никакой «опасности» не грозило. «Тройкой» решено было, что политический доклад сделает Зиновьева. Я не возражал, когда вопрос, после надлежащей закулисной подготовки, был внесен в политбюро. На всем была печать провизориума. Явных разногласий не было, как не было у «тройки» никакой своей линии. Мои тезисы о промышленности были сперва приняты без прений. Но когда выяснилось, что на возвращение Ленина к работе надежд нет, тройка сделала крутой поворот, испугавшись слишком мирной подготовки партийного съезда. Теперь она уже искала возможности проти-

вопоставить себя мне в верхнем слое партии. В последний момент перед съездом Каменев внес к моей уже одобренной резолюции дополнение насчет крестьянства. Нет смысла останавливаться здесь на существе поправки, которая имела не теоретический, не политический, а провокационный характер. Она должна была дать опору для обвинений меня, пока еще за кулисами, в «недооценке» крестьянства. Спустя три года после своего разрыва со Сталиным, Каменев со свойственным ему добродушным цинизмом поведал мне, как готовилось на кухне это обвинение, которого никто из авторов, разумеется, не брал в серьез.

Оперировать в политике отвлеченными моральными критериями — заведомо безнадежная вещь. Политическая мораль вытекает из самой политики, является ее функцией. Только политика, состоящая на службе великой исторической задачи, может обеспечить себе морально-безупречные методы действия. Наоборот, снижение уровня политических задач неизбежно ведет к моральному упадку. Фигаро, как известно, отказывался вообще делать различие между политикой и интригой. А ведь он жил до наступления эры парламентаризма! Когда моралисты буржуазной демократии пытаются в революционной диктатуре, как таковой, видеть источник дурных политических нравов, приходится только соболезнующе пожать плечами. Было бы очень поучительно заснять фильму современного парламентаризма хотя бы за один лишь год. Только аппарат надо устанавливать не рядом с креслом президента палаты депутатов, в момент вынесения патриотической резолюции, а совсем в других местах: в бюро у банкиров и промышленников, в укромных уголках редакций, у князей церкви, в салонах политических дам, в министерствах, а заодно уж заснять и секретную переписку лидеров партий... Но зато будет совершенно правильно сказать, что к политическим нравам революционной диктатуры надо предъявлять совсем не те требования, что к нравам парламентаризма. Самая острота орудий и методов

диктатуры требует бдительной антисептики. Грязная туфля не страшна. Неопрятно содержимая бритва очень опасна. Методы «тройки» сами по себе означали, в моих глазах, политическое сползание.

Главная трудность для заговорщиков состояла в открытом выступлении против меня пред лицом массы. Зиновьева и Каменева рабочие знали и охотно слушали. Но поведение их в 1917 году было слишком еще свежо в памяти у всех. Морального авторитета в партии они не имели. Сталина, за пределами узкого круга старых большевиков, не знали почти совершенно. Некоторые из моих друзей говорили: «Они никогда не посмеют выступить против вас открыто. В сознании народа ваше имя слишком неразрывно связано с именем Ленина. Ни октябрьской революции, ни красной армии, ни гражданской войны вычеркнуть нельзя». Я с этим не был согласен. Личные авторитеты в политике, особенно революционной, играют большую роль, даже гигантскую, но все же не решающую. Более глубокие, т. е. массовые процессы определяют в последнем счете судьбу личных авторитетов. Клевета против вождей большевизма на подъеме революции только укрепила большевиков. Клевета против тех же лиц на спуске революции могла стать победоносным орудием термидорианской реакции.

Объективные процессы в стране и на мировой арене помогали моим противникам. Но все же задача их была не легка. Партийная литература, печать, агитаторы жили еще вчерашним днем, который стоял под знаком Ленина — Троцкого. Нужно было все это повернуть на 180°, не сразу, конечно, а в несколько приемов. Чтоб показать размеры поворота, необходимо дать здесь хоть несколько иллюстраций того тона, который господствовал в печати партии в отношении руководящих фигур революции.

14 октября 1922 года, т. е. когда Ленин вернулся уже к работе после первого приступа, Радек писал в «Правде»:

«Если т. Ленина можно назвать разумом революции, господствующим через трансмиссию воли, то т. Троцкого можно охарактеризовать, как стальную волю, обузданную разумом. Как голос колокола, призывающего к работе, звучала речь Троцкого. Все ее значение, весь смысл ее и смысл нашей работы ближайших лет выступает с полной ясностью» . . . и т. д. Правда, личная экспансивность Радека вошла в пословицу: он может так, но может и иначе. Гораздо важнее то, что слова эти были напечатаны в центральном органе партии при жизни Ленина и никто их не воспринимал, как диссонанс.

В 1923 году, когда заговор тройки был уж налицо, Луначарский одним из первых начал поднимать авторитет Зиновьева. Но как ему пришлось приступить к этой работе? «Конечно, — писал он в своей характеристике Зиновьева, — Ленин и Троцкий сделались популярнейшими (любимыми или ненавистными) личностями нашей эпохи, едва ли не для всего земного шара. Зиновьев несколько отступает перед ними, но ведь зато Ленин и Троцкий давно уже числились в наших рядах людьми столь огромного дарования, столь бесспорными вождями, что особенного удивления колоссальный рост их во время революции ни в ком вызывать не мог».

Если я привожу эти напыщенные панегирики сомнительного вкуса, то только потому, что они нужны мне, как элементы общей картины, или, если угодно, как свидетельские показания на судебном процессе.

С прямым отвращением должен я еще процитировать третьего свидетеля, Ярославского, панегирики которого, пожалуй, более несносны, чем его пасквили. Этот человек играет сейчас крупнейшую роль в партии, измеряя своим ничтожным духовным ростом глубину падения ее руководства. К своей нынешней роли Ярославский поднялся исключительно по ступеням клеветы против меня. В качестве официального фальсификатора истории партии, он изображает прошлое, как непрерывную борьбу Троцкого против Ле-

нина. Незачем говорить, что Троцкий «недооценивал» крестьянство, «игнорировал» крестьянство, «не замечал» его. Между тем в феврале 1923 г., т. е. в такой момент, когда Ярославский уже должен был достаточно хорошо знать, мои отношения с Лениным и мой взгляд на крестьянство, он следующими словами характеризовал мое прошлое в большой статье, посвященной первым шагам моей литературной деятельности (1900—1902 г.г.):

«Блестящая литературно-публицистическая деятельность т. Троцкого составила ему всемирное имя «короля памфлетистов»: так называет его английский писатель Бернард Шоу. Кто следил в течение четверти века за этой деятельностью, тот должен убедиться, что особенно ярко этот талант . . .» и т. д. и т. д.

«Вероятно, многие видели довольно широко распространенный снимок юноши Троцкого . . . (и т. д.). Под этим высоком лбом уже тогда кипел бурный поток образов, мыслей, настроений, иногда увлекавших т. Троцкого несколько в сторону от большой исторической дороги, заставлявших его иногда выбирать или слишком далекие обходные пути или наоборот итти неустрашимо напролом там, где нельзя было пройти. Но во всех этих исканиях перед нами был глубочайше преданный революции человек, выросший для роли трибуна, с остро отточенным и гибким, как сталь, языком, разящим противника» . . . и т. д. и т. д.

«Сибиряки с увлечением читали — захлебывается Ярославский — эти блестящие статьи и с нетерпением ждали их появления. Лишь немногие знали, кто их автор, а знавшие Троцкого менее всего думали в то время, что он будет одним из признанных руководителей самой революционной армии и самой величайшей революции в мире».

Еще хуже, если возможно, обстоит у Ярославского дело с моим «игнорированием» крестьянства. Начало моей литературной деятельности было посвящено деревне. Вот, что говорит об этом Ярославский:

«Троцкий не мог усидеть в сибирской деревне, чтобы не вникнуть во все мелочи ее жизни. И прежде всего он обращает внимание на административный аппарат сибирской деревни. В ряде корреспонденций он дает этому аппарату блестящую характеристику»... И далее: «Вокруг себя Троцкий видел только деревню. Он болел ее нуждами. Его угнетала забитость деревни, ее бесправие». Ярославский требует, чтоб мои статьи о деревне вошли в хрестоматии. Все это в феврале 1923 г., т. е. в том самом месяце, когда впервые была создана версия о моем невнимании к деревне. Но Ярославский находился в Сибири и потому не был еще в курсе «ленинизма».

Последний пример, который я хочу привести, относятся к самому Сталину. Уже в первую годовщину октябрьской революции он написал статью, замаскированно направленную против меня. В пояснение этого надо напомнить, что в период подготовки октябрьского переворота Ленин скрывался в Финляндии, Каменев, Зиновьев, Рыков, Калинин были противниками восстания, о Сталине же никто ничего не знал. В результате этого партия связывала октябрьский переворот преимущественно с моим именем. В первую годовщину октября Сталин сделал попытку ослабить такое представление, противопоставив мне общее руководство центрального комитета. Но для того, чтоб сделать свое изложение сколько-нибудь приемлемым, он вынужден был написать:

«Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя петроградского совета Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и, главным образом, т. Троцкому».

Если Сталин писал так, то потому что в тот период даже для него невозможно было писать иначе. Нужно было, чтоб прошли годы необузданной травли,

прежде чем Сталин мог отважиться заявить вслух: «Никакой особой роли ни в партии, ни в октябрьской революции не играл и не мог играть т. Троцкий...» Когда ему указали на противоречие, он ответил удвоенной грубостью, и только.

«Тройка» ни в каком случае не могла противопоставить мне себя самое. Она могла противопоставить мне лишь Ленина. Но для этого нужно было, чтоб Ленин потерял возможность противопоставить себя тройке. Другими словами, для успеха кампании тройке нужен был либо безнадежно-больной Ленин, либо набальзамированный труп его в мавзолее. Но и этого было мало. Нужно, чтобы и я на время кампании выбыл из строя. Это и случилось осенью 1923 года.

Я занимаюсь здесь не философией истории, а рассказываю свою жизнь на фоне событий, с которыми она была связана. Но нельзя не отметить мимоходом, как услужливо случайное помогает закономерному. Широко говоря, весь исторический процесс есть преломление закономерного через случайное. Если пользоваться языком биологии, то можно сказать, что историческая закономерность осуществляется через естественный отбор случайностей. На этой основе развертывается сознательная человеческая деятельность, которая подвергает случайности искусственному отбору...

* *

Но здесь я должен прервать свое изложение, чтоб сказать о моем приятеле Иване Васильевиче Зайцеве из села Калошина, что на реке Дубне. Местность эта зовется Заболотье и, как намекает самое имя ее, богата болотной дичью. Река Дубна здесь дает большие разливы. Болота, озера, и мелкие плеса, обрамленные камышами, тянутся широкой лентой без малого на сорок километров. Весною здесь тянут гуси, журавли, утки всех пород, кроншнепа, ду-

пеля, турухтаны и вся прочая болотная братия. В двух километрах, в мелколесье, меж мховых кочек, на бруснике, токуют тетерева. Одним коротким веслом гонит Иван Васильевич долбленный челн узкой бороздою меж болотных берегов. Борозда прорыта неведомо когда, может быть 200—300 или больше лет тому назад и ее приходится ежегодно расчищать, чтоб не засосало. Надо выезжать из Калошина в полночь, чтоб поспеть засесть в шалаше до зари. Торфяное болото подымает при каждом шаге колышущийся живот. Когда то я этого опасался. Но Иван Васильевич еще в первое мое посещение сказал: ступай смело, в озере тонуть тонули, а на болоте еще никто не погибал.

Челн так легок и неустойчив, что лучше всего лежать на спине не шевелясь, особенно при ветре. Лодочники для безопасности стоят обычно на коленях. Только Иван Васильевич, даром, что хром на одну ногу, стоит во весь рост. Иван Васильевич утиный герцог этих мест. Его отец, его дед и прадед были утятниками. Надо думать, что его пращур доставлял уток, гусей и лебедей ко столу Ивана Грозного. Глухарем, тетеревом, кроншнепом Зайцев не интересуется. «Не моего цеха», говорит он коротко. Зато утку знает насквозь, ее перо, ее голос и ее утиную душу. Стоя в челне, Иван Васильевич на ходу снимает с воды одно перо, другое, третье и поглядев объявляет: «на Гущино с тобой поедем, вечер туда утка садилась»... А ты почем знаешь? — А перо, видишь, поверх воды держится, не отмокло, свежее перо, вечор летела, а больше как на Гущино ей тут и лететь некуда.

И вот в то время, как другие охотники привозят пару или две пары, мы с Иваном Васильевичем привозим десяток, а то и полтора. Ему заслуга, мне честь. Так часто бывает в жизни. В камышевом шалаше Иван Васильевич приложит к губам корявую ладонь и так нежно крякает чирковой самкой, что самый осторожный, много раз стреляный селезень

никак не устоит против этих чар, непременно опишет вокруг шалаша круг, а то прямо плюхнется на воду в пяти шагах, так что стрелять совестно. Зайцев все замечает, все знает, все чует. — Готовься, шепчет он мне, кряковой прямо на тебя идет. Я вижу далеко над лесом две запятые крыльев, но разгадать, что это кряковой селезень, — нет, это доступно только Ивану Васильевичу, великому мастеру утиного цеха. Но кряковой и впрямь идет на меня. Когда промажешь, Иван Васильевич тихо, чуть-чуть, вежливо покрехтит. Но лучше б не родиться на свет, чем услышать за своим затылком это кряхтенье.

Зайцев до войны работал на текстильной фабрике. И теперь он на зиму уходит в Москву, то в истопники, то на электростанцию. В первые годы после переворота шли по стране бои, горели леса и торфяные болота, стояли голые поля — не летела утка вовсе. Зайцев сомневался в новом строе. Но с 1920 года утка снова пошла, вернее сказать, валом повалила, и Иван Васильевич полностью признал советскую власть.

Год целый работала в двух километрах отсюда небольшая советская фитильная фабрика. Директором ее был бывший шофер с моего военного поезда. Жена и дочь Зайцева приносили с фабрики по 30 рублей в месяц. Это было неслыханное богатство. Но скоро фабрика снабдила фитилями всю округу и закрылась. Опять утка стала основой семейного благополучия.

1-ого мая Иван Васильевич попал в большой московский театр, на сцену, где помещаются почетные гости. Иван Васильевич сидел в переднем ряду, поджав хромую ногу, чуть смущенно, но, как всегда, с достоинством и слушал мой доклад. Привел его сюда Муралов, с которым мы обычно делили охотничьи радости и невзгоды. Докладом Иван Васильевич остался доволен, все решительно понял, и в Калошине пересказал. Это еще больше скрепило нашу

тройственную дружбу. Нужно сказать, что старые егеря, особенно подмосковные, народ порченый, они слишком близко терлись около больших господ, мастера польстить, прилгнуть и прихвастнуть. Но Иван Васильевич не таков. В нем много простоты, наблюдательности и личного достоинства. Это потому, что в душе он не промышленник, а артист своего дела.

К Зайцеву приезжал на охоту и Ленин, и Иван Васильевич всегда показывал место в деревянном сарае, где Ленин лежал на сене. Ленин был страстный охотник, но охотился редко. На охоте горячился, несмотря на большую выдержку в больших делах. Так же, как великие стратеги бывают обычно плохими шахматистами, люди с гениальным политическим прицелом могут быть посредственными охотниками. Помню, с каким прямо-таки отчаянием, в сознании чего-то навсегда непоправимого, Ленин жаловался мне, как он промазал на облаве по лисице в 25-ти шагах. Я понимал его, и сердце мое наливалось сочувствием.

Нам с Лениным ни разу не довелось охотиться вместе, хотя много раз сговаривались и твердо уславливались. В первые годы после переворота было вообще не до того. Ленин еще выезжал изредка из Москвы на простор, а я почти не выходил из вагона, из штабов, из автомобиля, и ни разу не брал в руки дробовика. А в последние годы, после конца гражданской войны, всегда что-либо непредвиденное мешало либо ему, либо мне. Потом Ленин стал хворать. Незадолго до того, как он слег, мы условились съехаться на реке Шоше, в тверской губернии. Но автомобиль Ленина застрял на проселочной дороге, и я его не дождался. Когда Ленин оправился от первого удара, он настойчиво боролся за право охоты. В конце концов врачи уступили ему, под условием не утомляться. На каком то, кажется агрономическом, совещании Ленин подсел к Муралову. — Вы с Троцким частенько охотитесь? — Бывает. — Ну,

и как, удачно? — Случается и это. — Возьмите меня с собой, а? — А вам можно? спрашивает осторожно Муралов. — Можно, можно, разрешили... так возьмете? — Как же вас не взять, Владимир Ильич? — Так я звякну, а? — Будем ждать. Но Ильич не звякнул. Звякнула вторично болезнь. А потом звякнула смерть.

Все это отступление мне нужно было для того, чтобы объяснить, как и почему я в одно из октябрьских воскресений 1923 года оказался в Заболотье, на болоте, средь камышей. Ночью стоял морозец, и я в шалаше сидел в валенках. Но утром солнце хорошо пригрело, болото оттаяло. На подъеме дожидался автомобиль. Шофер Давыдов, с которым мы плечо к плечу прошли через гражданскую войну, горел, как всегда, нетерпением узнать, какова добыча. До автомобиля от челна надо было пройти шагов сто, не более. Но едва я ступил валенками на болото, как ноги мои оказались в холодной воде. Пока я в припрыжку добежал до автомобиля, ноги совсем простыли. Я сел рядом с Давыдовым и разувшись грел ноги теплом мотора. Но простуда осилила. Я слег. После инфлуэнцы открылась какая то криптогенная температура. Врачи запретили вставать с постели. Так я пролежал весь остаток осени и зиму. Это значит, что я прохворал дискуссию 1923 года против «троцкизма». Можно предвидеть революцию и войну, но нельзя предвидеть последствия осенней охоты на утку.

* * *

Ленин лежал в Горках, я — в Кремле. Эпигоны расширяли круги заговора. Они выступали на первых порах осторожно, вкрадчиво, подмешивая к хвале все большие порции яду. Даже наиболее нетерпеливый из них, Зиновьев, окружал клевету десятками оговорок. «Авторитет тов. Троцкого всем

известен, — говорил Зиновьев 15 декабря (1923) на партийном собрании в Петрограде — так же, как его заслуги. В нашей среде об этом можно не распространяться. Но ошибки не перестают быть ошибками. Когда мне случалось ошибаться, партия меня одергивала довольно серьезно»... И так далее, в таком же трусливо-наступательном тоне, который долго оставался основным тоном заговорщиков. Лишь по мере прощупывания почвы и захвата позиций тон их становился смелее.

Создана была целая наука: фабрикации искусственных репутаций, сочинения фантастических биографий, рекламы вождей по назначению. Особая, малая наука была посвящена вопросу о почетном президиуме. Со времени Октября повелось так, что на бесчисленных собраниях в почетный президиум выбирались Ленин и Троцкий. Сочетание этих двух имен входило в разговорную речь, в статьи, в стихи и в частушки. Надо было разъединить два имени, хотя бы механически, чтобы затем политически противопоставить друг другу. Теперь в президиум стали включать всех членов политбюро. Потом стали их размещать по алфавиту. Затем алфавитный порядок был нарушен в пользу новой иерархии вождей. На первое место стали ставить Зиновьева. Пример подал Петроград. Еще через некоторое время стали появляться почетные президиумы без Троцкого. Из состава собрания всегда раздавались бурные протесты. Нередко председатель оказывался вынужден объяснять опущение моего имени недоразумением. Но газетный отчет, разумеется, умалчивал об этом. Потом первое место стало отводиться Сталину. Если председатель не догадывался провести то, что нужно, его неизменно поправлял газетный отчет. Карьеры создавались и разрушались в зависимости от расстановки имен в почетном президиуме. Эта работа, наиболее упорная и систематическая из всех, мотивировалась необходимостью бороться против «культа вождей». На московской конференции в январе 1924 г.

Преображенский сказал эпигонам: «Да, мы против культа вождей, но мы и против того, чтобы, вместо культа одного вождя, практиковался культ других вождей, только масштабом поменьше».

«Это были тяжелые дни, — рассказывает в своих записках моя жена, — дни напряженной борьбы Л. Д. в политбюро с его членами. Он был один, был болен и боролся против всех. Из-за болезни Л. Д. заседания происходили в нашей квартире, я сидела в спальне рядом и слышала его выступления. Он говорил всем своим существом, казалось, что с каждой такой речью он теряет часть своих сил, с такой «кровью» он говорил им. И я слышала в ответ холодные безразличные ответы. Ведь все предрешалось заранее. Зачем им было волноваться? Каждый раз после такого заседания у Л. Д. подскакивала температура, он выходил из кабинета мокрый до костей, раздевался и ложился в постель. Белье и платье приходилось сушить, будто он промок под дождем. Заседания происходили в то время часто, в комнате Л. Д., с тусклым старым ковром, который мне из ночи в ночь снился в виде живой пантеры: дневные заседания ночью превращались в кошмар. Таков был первый этап борьбы, пока она еще не вырвалась наружу»...

В позднейшей борьбе Зиновьева и Каменева со Сталиным тайны этого периода были раскрыты самими участниками заговора. Ибо это был подлинный заговор. Создано было тайное политбюро (семерка), в которое входили все члены официального политбюро, кроме меня, плюс Куйбышев, нынешний председатель ВСНХ. Все вопросы предрешались в этом тайном центре, участники которого были связаны круговой порукой. Они обязались не полемизировать друг с другом и в то же время искать поводов для выступлений против меня. В местных организациях были такого же рода тайные центры, связанные с московской «семеркой» строгой дисциплиной. Для сношений существовали особые шифры. Это была

стройная нелегальная организация внутри партии, направленная первоначально против одного человека. Ответственные работники партии и государства систематически подбирались под одним критерием: против Троцкого. Во время длительного «междуцарствия», созданного болезнью Ленина, эта работа велась неутомимо, но в то же время осторожно, замаскированно, чтобы на случай выздоровления Ленина сохранить в целости минированные мосты. Заговорщики действовали намеками. От кандидатов на ту или иную должность требовалось догадаться, чего от них хотят. Кто «догадывался», тот поднимался вверх. Так создался особый вид карьеризма, который позже получил открытое имя «антитроцкизма». Лишь смерть Ленина полностью развязала руки этой конспирации, позволив ей выйти наружу. Процесс персонального отбора спустился этажом ниже. Уже нельзя стало занять пост директора завода, секретаря цеховой ячейки, председателя волостного исполкома, бухгалтера, переписчицы, не зарекомендовав себя антитроцкизмом.

Члены партии, которые поднимали голос протеста против этого заговора, становились жертвами вероломных аттак по совершенно посторонним, нередко вымышленным поводам. Наоборот, нравственно шаткие элементы, которые в первое пятилетие советской власти подвергались беспощадному изгнанию из партии, страховали себя теперь одной враждебной репликой против Троцкого. Та же самая работа производилась с конца 1923 г. во всех партиях Коминтерна: одни вожди низлагались, другие назначались на их место, исключительно в зависимости от того, как они относились к Троцкому. Совершался напряженный искусственный отбор не лучших, но наиболее приспособленных. Общий курс свелся к замене самостоятельных и даровитых людей посредственностями, которые обязаны своим положением только аппарату. Как высшее выражение аппаратной посредственности, и поднялся Сталин.

ГЛАВА XLI

Смерть Ленина и сдвиг власти

Меня не раз спрашивали, спрашивают иногда и сейчас: как вы могли потерять власть! Чаще всего за этим вопросом скрывается довольно наивное представление об упущении из рук какого-то материального предмета: точно потерять власть это то же, что потерять часы или записную книжку. На самом же деле, когда революционеры, руководившие завоеванием власти, начинают на известном этапе терять ее — «мирно» или катастрофически, — то это само по себе означает упадок влияния определенных идей и настроений в правящем слое революции, или упадок революционных настроений в самих массах, или то и другое вместе. Руководящие кадры партии, вышедшей из подполья, были одушевлены революционными тенденциями, которые вождями первого периода революции яснее и лучше формулировались, полнее и успешнее проводились на практике. Именно это и делало их вождями партии, через партию — рабочего класса, через рабочий класс — страны. Таким путем определенные лица сосредоточивали власть в своих руках. Но идеи первого периода революции теряли незаметно власть над сознанием того партийного слоя, который непосредственно имел власть над страной. В самой стране происходили процессы, которые можно охватить общим именем реакции. Эти процессы захватили в той или другой степени и рабочий класс, в том числе и его партийную часть. У того слоя, который составлял аппарат власти, появились свои самодовлеющие цели, которым он стремился подчинить революцию. Между вождями, которые выражали историческую линию класса и умели глядеть поверх аппарата, и между этим аппаратом — огромным, тяжеловесным, разнородным по составу, легко засасывающим среднего коммуниста, — стало намечаться раздвоение. Сперва оно имело больше

психологический, чем политический характер. Вчерашний день был еще слишком свеж. Лозунги Октября еще не выветрились из памяти. Личные авторитеты вождей первого периода были высоки. Но под покровом традиционных форм уже складывалась другая психология. Международные перспективы тускнели. Повседневная работа поглощала людей целиком. Новые методы, которые должны были служить старым целям, создавали новые цели и, прежде всего, новую психологию. Временная обстановка стала превращаться для многих и многих в конечную станцию. Создавался новый тип.

Революционеры сделаны в последнем счете из того же общественного материала, что и другие люди. Но у них должны быть какие-то резкие личные особенности, которые дали возможность историческому процессу отделить их от других и сгруппировать особо. Общение друг с другом, теоретическая работа, борьба под определенным знаменем, коллективная дисциплина, закал под огнем опасностей постепенно формируют революционный тип. Можно с полным правом говорить о психологическом типе большевика в противоположность, например, меньшевику. При достаточной опытности глаз даже по внешности различал большевика от меньшевика, с небольшим процентом ошибок.

Это не значит, однако, что в большевике все и всегда было большевистским. Претворить определенное миросозерцание в плоть и кровь, подчинить ему все стороны своего сознания и согласовать с ним мир собственных чувств — это дано не всем, скорее немногим. У рабочей массы это заменяется классовым инстинктом, который в критические эпохи достигает большой изощренности. Есть, однако, в партии и в государстве большой слой революционеров, которые, хотя и вышли в большинстве из массы, но давно уж оторвались от нее и положением своим противопоставлены ей. Классовый инстинкт уже выветрился из них. С другой стороны им не хватает

теоретической устойчивости и кругозора, чтоб охватить процесс в целом. В психологии их остается немало незащищенных мест, через которые — при перемене обстановки — свободно проникают инородные и враждебные идейные влияния. В периоды подпольной борьбы, восстаний, гражданской войны, такого рода элементы были только солдатами партии. В их сознании звучала почти только одна струна, и она звучала по камертону партии. Когда же напряжение отошло, и кочевники революции перешли к оседлому образу жизни, в них пробудились, ожили и развернулись обывательские черты, симпатии и вкусы самодовольных чиновников.

Нередко отдельные, случайно вырвавшиеся замечания Калинина, Ворошилова, Сталина, Рыкова, заставляли тревожно настораживаться. Откуда это? спрашивал я себя. Из какой трубы это прет? Прийдя на какое-нибудь заседание, я заставал групповые разговоры, которые при мне нередко обрывались. В разговорах не было ничего, направленного против меня. Не было ничего противоречащего принципу партии. Но было настроение моральной успокоенности, самоудовлетворенности и тривиальности. У людей появлялась потребность исповедываться друг другу в этих новых настроениях, в которых не малое место, к слову сказать, стал занимать элемент мещанской сплетни. Раньше они стеснялись не только Ленина и меня, но и себя. Если пошлость прорывалась наружу, например, у Сталина, то Ленин, не поднимая низко склоненной над бумагой головы, чуть-чуть поводил по сторонам глазами, как бы проверяя, почувствовал ли еще кто-либо другой невыносимость сказанного. Достаточно было в таких случаях беглого взгляда или интонации голоса, чтобы солидарность наша в этих психологических оценках непререкаемо обнаружилась для нас обоих.

Если я не участвовал в тех развлечениях, которые все больше входили в нравы нового правящего слоя, то не из моральных принципов, а из нежелания

подвергать себя испытаниям худших видов скуки. Хождение друг к другу в гости, прилежное посещение балета, коллективные выпивки, связанные с перемыванием косточек отсутствующих, никак не могли привлечь меня. Новая верхушка чувствовала, что я не подхожу к этому образу жизни. Меня даже и не пытались привлечь к нему. По этой самой причине многие групповые беседы прекращались при моем появлении, и участники расходились с некоторым конфузом за себя и с некоторой враждебностью ко мне. Вот это и означало, если угодно, что я начал терять власть.

Я ограничиваюсь здесь психологической стороной дела, оставляя в стороне социальную подоплеку, т. е. изменения анатомии революционного общества. В последнем счете решают, конечно, эти изменения. Но непосредственно приходится сталкиваться с их психологическими отражениями. Внутренние события развивались сравнительно медленно, облегчая молекулярные процессы перерождения верхнего слоя и почти не открывая места для противопоставления двух непримиримых позиций пред лицом широких масс. К этому надо еще прибавить, что новые настроения долго оставались, остаются еще и сейчас, прикрытыми традиционными формулами. Это делало тем более трудным определить, насколько глубоко зашел процесс перерождения. Термидорианский заговор в конце XVIII века, подготовленный предшествующим ходом революции, разразился одним ударом и принял форму кровавой развязки. Наш термидор получил затяжной характер. Гильотину заменила, по крайней мере, до поры до времени, кляуза. Систематическая, организованная методом конвейера, фальсификация прошлого стала орудием идейного перевооружения официальной партии. Болезнь Ленина и ожидание его возвращения к руководству создавали неопределенность провизориума, длившуюся, с перерывом, свыше двух лет. Если бы революционное развитие пошло к подъему, оттяжка оказалась бы на

руку оппозиции. Но революция терпела в международном масштабе поражение за поражением, и оттяжка шла на руку национальному реформизму, автоматически укрепляя сталинскую бюрократию против меня и моих политических друзей.

Насквозь филистерская, невежественная и просто глупая травля теории перманентной революции выросла из этих именно психологических источников. Сплетничая за бутылкой, или возвращаясь с балета, один самодовольный чиновник говорил по моему адресу другому самодовольному чиновнику: «у него только перманентная революция на уме». С этим тесно связаны обвинения в неартельности, в индивидуализме, в аристократизме. «Не все же и не всегда для революции, надо и для себя», — это настроение переводилось так: «долой перманентную революцию!». Протест против теоретической требовательности марксизма и политической требовательности революции, постепенно принимал для этих людей форму борьбы против «троцкизма». Под этим флагом шло освобождение мещанина в большевике. Вот в чем состояла потеря мною власти, и вот что определяло те формы, в каких эта потеря произошла.

Я рассказывал, как со смертного одра Ленин направлял свой удар против Сталина и его союзников, Дзержинского и Орджоникидзе. Ленин Дзержинского очень ценил. Охлаждение между ними началось тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую хозяйственную работу. Это собственно и толкнуло Дзержинского на сторону Сталина. Тут уж Ленин счел нужным ударить по Дзержинскому, как по опоре Сталина. Орджоникидзе Ленин хотел, за проявление генерал-губернаторских качеств, исключить из партии. Свою записку, в которой он обещал грузинским большевикам полную поддержку против Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе, Ленин адресовал Мдивани. На судьбе этих четырех лиц ярче всего обнаруживается переворот, произведенный сталинской

фракцией в партии. Дзержинский после смерти Ленина был поставлен во главе ВСНХ, т. е. всей государственной промышленности. Орджоникидзе, намеченный к исключению, был поставлен во главе Центральной Контрольной Комиссии. Сталин не только остался, вопреки Ленину, генеральным секретарем, но и получил от аппарата неслыханные полномочия. Наконец, Буду Мдивани, с которым Ленин солидаризировался против Сталина, сидит сейчас в тобольской тюрьме. Подобная «перегруппировка» произведена во всем руководстве партии, сверху донизу. Мало того: во всех без исключения партиях Интернационала. Эпоху эпигонов от эпохи Ленина отделяет не только идейная пропасть, но и законченный организационный переворот.

Сталин — главное орудие этого переворота. Он одарен практическим смыслом, выдержкой и настойчивостью в преследовании поставленных целей. Политический его кругозор крайне узок. Теоретический уровень совершенно примитивен. Его компилятивная книжка «Основы ленинизма», в которой он пытался отдать дань теоретическим традициям партии, кишит ученическими ошибками. Незнакомство с иностранными языками вынуждает его следить за политической жизнью других стран только с чужих слов. По складу ума это упорный эмпирик, лишенный творческого воображения. Верхнему слою партии (в более широких кругах его вообще не знали) он казался всегда человеком, созданным для вторых и третьих ролей. И то, что он играет сейчас первую роль, характеризует не столько его, сколько переходный период политического сползания. Еще Гельвеций сказал: «каждый период имеет своих великих людей, а если их нет, — он их выдумывает». Сталинизм это прежде всего работа безличного аппарата на спуске революции.

* * *

Ленин скончался 21-го января 1924 года. Смерть уже явилась для него только избавлением от физических и нравственных страданий. Свою беспомощность и прежде всего отсутствие речи при полной ясности сознания Ленин не мог не ощущать, как невыносимое унижение. Он уже не терпел врачей, их покровительственного тона, их банальных шуточек, их фальшивых обнадеживаний. Пока он еще владел речью, он как бы мимоходом задавал врачам проверочные вопросы, незаметно для них ловил их на противоречиях, добивался дополнительных разъяснений и заглядывал сам в медицинские книги. Как во всяком другом деле, он и тут стремился достигнуть, прежде всего, ясности. Единственный из медиков, которого он терпел, был Федор Александрович Гетье. Хороший врач и человек, чуждый царедворческих черт, Гетье был привязан к Ленину и Крупской настоящей человеческой привязанностью. В тот период, когда Ленин уже не подпускал к себе остальных врачей, Гетье продолжал беспрепятственно навещать его. Гетье был в то же время близким другом и домашним врачем моей семьи в течение всех годов революции. Благодаря этому, мы всегда имели наиболее добросовестные и продуманные отзывы о состоянии Владимира Ильича, дополнявшие и исправлявшие безличные официальные бюллетени.

Не раз я допрашивал Гетье о том, сохранит ли, в случае выздоровления, ленинский интеллект свою силу? Гетье отвечал примерно так: увеличится утомляемость, не будет прежней чистоты работы, но виртуоз останется виртуозом. В промежутке между первым и вторым ударом этот прогноз подтвердился целиком. К концу заседаний политбюро Ленин производил впечатление безнадежно уставшего человека. Все мышцы лица опускались, блеск глаз потухал, увядал даже могучий лоб, тяжело свисали вниз плечи, — выражение лица и всей фигуры резюмировалось одним словом: усталость. В такие жуткие минуты Ленин казался мне обреченным. Но проведя одну

хорошую ночь, он снова обретал силу своей мысли. Статьи, написанные им в промежутке между двумя ударами, стоят на уровне его лучших работ. Влага в источнике была та же, но ее становилось все меньше и меньше. И после второго удара Гетье не отнимал совсем последней надежды. Но оценки его становились все сумрачнее. Болезнь затягивалась. Без злобы, но и без сожаления, слепые силы природы погрузили великого больного в бессилие и безвыходность. Ленин не мог и не должен был жить инвалидом. Но мы все еще не теряли надежды на его выздоровление.

Мое недомогание приняло тем временем затяжной характер. «По настоянию врачей — пишет Н. И. Седова — перевезли Л. Д. в деревню. Там Гетье часто навещал больного, к которому он относился с искренней заботой и нежностью. Политикой он не интересовался, но жестоко страдал за нас, не зная, как выразить свое сочувствие. Травля застигла его врасплох. Он не понимал, выжидал, томился. В Архангельском он мне с волнением говорил о необходимости отвезти Л. Д. в Сухум. В конце концов мы решились на это. Путешествие, длинное само по себе — через Баку, Тифлис, Батум, — удлинялось еще снежными заносами. Но дорога действовала скорее успокаивающим образом. По мере того, как отъезжали от Москвы, мы отрывались несколько от тяжести обстановки ее за последнее время. Но все же чувство у меня было такое, что везу тяжело больного. Томила неизвестность, как сложится жизнь в Сухуме, окружающие нас там будут ли друзья или враги?»

21 января застигло нас на вокзале в Тифлисе, по пути в Сухум. Я сидел с женой в рабочей части своего вагона, — как всегда в тот период, с повышенной температурой. Постучав, вошел мой верный сотрудник Сермукс, сопровождавший меня в Сухум. По тому, как он вошел, с серо-зеленым лицом, и как, глядя мимо меня остекленевшими глазами, подал мне листок бумаги, я почуял катастрофическое. Это была

расшифрованная телеграмма Сталина о том, что скончался Ленин. Я передал бумагу жене, которая уже успела понять все...

Тифлисские власти получили вскоре такую же телеграмму. Весть о смерти Ленина быстро расходилась кругами. Я соединился прямым проводом с Кремлем. На свой запрос я получил ответ: «похороны в субботу, все равно не поспеете, советуем продолжать лечение». Выбора, следовательно, не было. На самом деле похороны состоялись только в воскресенье, и я вполне мог бы поспеть в Москву. Как это ни кажется невероятным, но меня обманули насчет дня похорон. Заговорщики по своему правильно расчитывали, что мне не придет в голову проверять их, а позже можно будет всегда придумать объяснение. Напоминаю, что о первом заболевании Ленина мне сообщили только на третий день. Это был метод. Цель состояла в том, чтоб «выиграть темп».

Тифлисские товарищи требовали, чтоб я немедленно откликнулся на смерть Ленина. Но у меня была одна потребность: остаться одному. Я не мог поднять руку к перу. Короткий текст московской телеграммы гудел в голове. Собравшиеся, однако, ждали отклика. Они были правы. Поезд задержали на полчаса. Я писал прощальные строки: «Ленина нет. Нет более Ленина»... Несколько написанных от руки страниц я передал на прямой провод.

«Приехали совсем разбитые, —пишет жена. — Первый раз видели Сухум. Цвели мимозы — их там много. Великолепные пальмы. Камелии. Был январь, в Москве стояли лютые морозы. Встретили нас абхазцы очень дружески. В столовой дома отдыха висели рядом два портрета, один в трауре — Владимира Ильича, другой — Л. Д. Хотелось снять этот последний — но мы не решились, опасаясь, что будет похоже на демонстрацию».

В Сухуме я лежал долгими днями на балконе лицом к морю. Несмотря на январь, ярко и тепло горело в небе солнце. Между балконом и сверкаю-

щим морем высились пальмы. Постоянное ощущение повышенной температуры сочеталось с гудящей мыслью о смерти Ленина. Я перебирал в уме этапы своей жизни, встречи с Лениным, расхождения, полемику, сближение, совместную работу. Отдельные эпизоды всплывали с фантастической яркостью. Постепенно и целое стало вырисовываться со все большей отчетливостью. Я гораздо яснее представил себе тех «учеников», которые бывали верны учителю в малом, но не в большом. Вместе с дыханием моря я всем существом своим ассимилировал уверенность в своей исторической правоте против эпигонов...

27 января 1924 года. Над пальмами, над морем царила сверкающая под голубым покровом тишина. Вдруг ее перерезало залпами. Частая стрельба пачками шла где-то внизу, со стороны моря. Это был салют Сухума вождю, которого в этот час хоронили в Москве. Я думал о нем и о той, которая долгие годы была его подругой и весь мир воспринимала через него, а теперь хоронит его и не может не чувствовать себя одинокой, среди миллионов, которые горюют рядом с ней, но по иному, не так, как она. Я думал о Надежде Константиновне Крупской. Мне хотелось сказать ей отсюда слово привета, сочувствия, ласки. Но я не решился. Все слова казались легковесными перед тяжестью совершившегося. Я боялся, что они прозвучат условностью. И я был насквозь потрясен чувством благодарности, когда неожиданно получил через несколько дней письмо от Надежды Константиновны. Вот оно:

«Дорогой Лев Давидович,

Я пишу, чтобы рассказать вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечесть ему это место, слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам.

И еще вот что хочу сказать: то отношение, которое сложилось у В. И. к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти.

Я желаю вам, Лев Давидович, сил и здоровья и крепко обнимаю. Н. Крупская».

В книжке, которую Владимир Ильич просматривал за месяц до смерти, я сопоставлял Ленина с Марксом. Я слишком хорошо знал отношение Ленина к Марксу, полное благодарной любви ученика и — пафоса дистанции. Отношение учителя к ученику стало ходом истории отношением теоретического предтечи к первому свершителю. Я нарушал в своей статье традиционный пафос дистанции. Маркс и Ленин, исторически столь тесно связанные и в то же время столь разные, были для меня двумя предельными вершинами духовного могущества человека. И мне было отрадно, что Ленин, незадолго до кончины, со вниманием и, может быть, с волнением, читал мои строки о нем, ибо масштаб Маркса был и в его глазах самым титаническим масштабом для измерения человеческой личности.

С неменьшим волнением читал я теперь письмо Крупской. Она брала две крайние точки связи с Лениным: октябрьский день 1902 г., когда я, после побега из Сибири, поднял Ленина ранним утром с его жесткой лондонской постели, и конец декабря 1923 г., когда Ленин дважды перечитывал мою оценку его жизненного дела. Между этими двумя точками прошли два десятилетия, сперва совместной работы, затем жестокой фракционной борьбы и снова совместной работы на более высокой исторической основе. По Гегелю: тезис, антитезис, синтезис. И Крупская свидетельствовала, что отношение ко мне Ленина, несмотря на длительный период антитезиса, оставалось «лондонским»: это значит отношением горячей поддержки и дружеской приязни, но уже на более высокой исторической основе. Даже еслиб не было

ничего другого, все фолианты фальсификаторов не перевесили бы пред судом истории маленькой записочки, написанной Крупской через несколько дней после смерти Ленина.

«Со значительными запозданиями из-за снежных заносов стали приходить газеты и приносили нам траурные речи, некрологи, статьи. Друзья ждали Л. Д. в Москву, думали, что он возвратится с пути, никому в голову не приходило, что Сталин своей телеграммой отрезал ему путь. Помню письмо сына, полученное нами в Сухуме. Он был потрясен смертью Ленина, простуженный, с температурой в 40° он ходил в своей совсем не теплой куртке в колонный зал, чтоб проститься с ним и ждал, ждал, ждал с нетерпением нашего приезда. В его письме слышались горькое недоумение и неуверенный упрек». Это я привожу снова из записей жены.

В Сухум приезжала ко мне делегация Центрального Комитета, в составе Томского, Фрунзе, Пятакова и Гусева, чтоб согласовать со мной перемены в личном составе военного ведомства. По существу это была уже чистейшая комедия. Обновление личного состава в военном ведомстве давно совершалось полным ходом за моей спиною, и дело шло лишь о соблюдении декорума.

Первый удар внутри военного ведомства пришелся по Склянскому. На нем прежде всего выместил Сталин свои неудачи под Царицыным, свой провал на южном фронте, свою авантюру под Львовом. Кляуза высоко подняла змеиную голову. Для подкопа под Склянского, в перспективе — и против меня, был водворен в военное ведомство за несколько месяцев перед тем Уншлихт, амбициозный и бездарный интриган. Склянский был смещен. На его место был назначен Фрунзе, командовавший до того войсками на Украине. Фрунзе был серьезной фигурой. Его партийный авторитет, благодаря каторжным работам в прошлом, был выше, чем молодой еще авторитет Склянского. Фрунзе обнаружил, кроме того,

во время войны несомненные способности полководца. Как военный администратор, он был несравненно слабее Склянского. Его увлекали абстрактные схемы, он плохо разбирался в людях и легко подпадал под влияние специалистов, преимущественно второстепенных.

Но я хочу досказать о Склянском. Его грубо, т. е. чисто по сталински, даже не побеседовав с ним, перевели на хозяйственную работу. Дзержинский, который рад был избавиться от Уншлихта, своего заместителя в ГПУ, и приобрести для промышленности такого первоклассного администратора, как Склянский, поставил последнего во главе суконного треста. Пожав на ходу плечами, Склянский вошел в новую работу с головой. Через несколько месяцев он решил съездить в Соединенные Штаты, посмотреть, поучиться и обзавестись машинами. Перед отъездом он зашел ко мне, проститься и посоветоваться. Годы гражданской войны мы проработали с ним рука об руку. Но мы гораздо больше говорили о маршевых ротах, военных уставах, ускоренных выпусках комсостава, о запасах меди и аллюминия для военных заводов, о гимнастерках и приварке, чем о чисто партийных вопросах. Нам обоим было слишком некогда. После заболевания Ленина, когда интрига эпигонов стала просовывать свои щупальцы в военное ведомство, я избегал разговоров на партийные темы, особенно с военными работниками. Положение было слишком неопределенно, разногласия едва намечались, создание фракций в армии таило в себе слишком большие опасности. Потом я хворал. В это свидание со Склянским, летом 1925 г., когда я не стоял уже во главе военного ведомства, мы переговорили о многом, если не обо всем.

— Скажите мне, — спросил Склянский, — что такое Сталин?

Склянский сам достаточно знал Сталина. Он хотел от меня определения его личности и вместе объяснения его успехов. Я задумался.

— Сталин, — сказал я, — это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии. Это определение впервые во время нашей беседы предстало предо мною во всем своем не только психологичском, но и социальном значении. По лицу Склянского я сразу увидел, что помог собеседнику прощупать нечто значительное.

— Знаете, — сказал он, — поражаешься тому, как за последний период во всех областях выпирает наверх золотая середина, самодовольная посредственность. И все это находит в Сталине своего вождя. Откуда это?

— Это реакция после великого социального и психологического напряжения первых лет революции. Победоносная контр-революция может иметь своих больших людей. Но первая ступень ее, термидор, нуждается в посредственностях, которые не видят дальше своего носа. Их сила в их политической слепоте, как у той мельничной лошади, которой кажется, что она идет вверх, тогда как на деле она лишь толкает вниз покатый приводной круг. Зрячая лошадь на такую работу не способна.

В этой беседе я впервые с полной ясностью, я бы сказал, с физической убедительностью подошел к проблеме термидора. Мы уговорились со Склянским вернуться к беседе после его возвращения из Америки. Через небольшое число недель получилась телеграмма, извещавшая, что Склянский утонул в каком-то американском озере, катаясь на лодке. Жизнь неистощима на злые выдумки.

Урну с прахом Склянского доставили в Москву. Никто не сомневался, что она будет замурована в кремлевской стене, на Красной площади, которая стала пантеоном революции. Но секретариат ЦК решил хоронить Склянского за городом. Прощальный визит ко мне Склянского был, таким образом, записан и учтен. Ненависть была перенесена на урну. Кроме того умаление Склянского входило в план общей борьбы против того руководства, которое обес-

печило победу в гражданской войне. Не думаю, чтобы Склянский при жизни интересовался вопросом о том, где его похоронят. Но решение ЦК получало характер политической и личной низости. Преодолевая брезгливость, я позвонил Молотову. Но решение осталось непреклонным. История перерешит и этот вопрос по своему.

* * *

Температура возобновилась у меня осенью 1924 года. К этому времени вновь разыгралась дискуссия. На этот раз она была вызвана сверху, по заранее разработанному плану. В Ленинграде, в Москве, в провинции происходили предварительно сотни и тысячи тайных совещаний по подготовке так называемой «дискуссии», т. е. систематической и планомерной травли, направленной на этот раз не против оппозиции, а против меня лично. Когда тайная подготовительная работа была закончена, по сигналу из «Правды» открылась единовременно со всех концов, со всех трибун, со всех страниц и столбцов, во всех углах и щелях кампания против троцкизма. Это было в своем роде величественное зрелище. Клевета получила видимость вулканического извержения. Широкая партийная масса была потрясена. Я лежал с температурой и молчал. Пресса и ораторы ничем другим не занимались, кроме разоблачения троцкизма. Никто точно не мог сказать, что это значит. Изо дня в день преподносили эпизоды прошлого, полемические цитаты из статей Ленина, написанных двадцать лет тому назад, путая, перевирая, искажая, а главное, так, как еслибы все это было вчера. Никто ничего не понимал. Если все это было в действительности, то ведь Ленин это должен был знать. Ведь октябрьская революция совершилась после всего этого. Ведь после переворота была гражданская война. Ведь Троцкий вместе с Лениным создавал Коминтерн. Ведь портреты Троцкого висят везде рядом

с портретами Ленина. Ведь . . . Ведь . . . Но клевета извергалась холодной лавой. Она механически давила на сознание, и еще более уничтожающе — на волю.

Отношение к Ленину, как к революционному вождю, было подменено отношением к нему, как к главе церковной иерархии. На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей. В такие же мавзолеи превращались официальные книги о Ленине. Его мысль разрезали на цитаты для фальшивых проповедей. Набальзамированным трупом сражались против живого Ленина и — против Троцкого. Масса была оглушена, сбита с толку, запугана. Благодаря своему количеству, невежественная стряпня приобретала политические качества. Она оглушала, подавляла, деморализовала. Партия оказалась обреченной на молчание. Воцарился режим чистой диктатуры аппарата над партией. Другими словами: партия переставала быть партией.

По утрам мне приносили в постель газеты. Я просматривал перечень телеграмм, заглавия статей и подписи. Я достаточно хорошо знал этих людей, знал, что они думают про себя, что они способны сказать, и что им приказано сказать. В большинстве своем это были люди, уже исчерпанные революцией. Были ограниченные фанатики, которые дали себя обмануть. Были молодые карьеристы, которые спешили доказать свою незаменимость. Все противоречили друг другу и самим себе. Но неумолкающая клевета ревела с газетных страниц неистовым ревом, выла бешенным воем, заглушая свои противоречия и свою пустоту. Она брала количеством.

«Второй приступ болезни Л. Д. — пишет Н. И. Седова — совпадает с чудовищной травлей против него, которая переживалась нами, как жесточайшая болезнь. Страницы «Правды» казались огромными, безконечными, каждая строчка газеты, каждая буква ее лгала. Л. Д. молчал. Но чего

стоило ему это молчание! Друзья навещали его в продолжении дня, а иногда и ночи. Помню кто-то спросил Л. Д., не читал ли он сегодняшней газеты? Он ответил, что вообще не читает газет. Действительно, он брал их в руки, едва скользил глазами и откидывал. Казалось, ему достаточно было посмотреть на них, чтоб знать их содержание. Он слишком хорошо знал поваров, готовивших это блюдо, притом каждый день одно и то же. Читать газету того времени было все равно, говорил он, что «ламповую щетку затыкать себе в горло». Можно было бы сделать над собой такое насилие, если бы Л. Д. решил отвечать. Но он молчал. Простуда затягивалась, благодаря тяжкому нервному состоянию. Он сильно похудел и побледнел. В семье нашей мы избегали разговора на тему о травле, но ни о чем другом тоже не могли говорить. Помню, с каким чувством я ходила ежедневно на работу в Народный Комиссариат Просвещения. Точно проходила сквозь строй. Но ни разу никто не позволил себе никакого выпада или неприятного намека: наряду с враждебным молчанием небольшой верхушки было несомненное сочувствие большинства работников. В партии как бы протекали две жизни: внутренняя, скрытая, и внешняя, показная, находившиеся в полном противоречии одна с другой. Только отдельные смельчаки решались открывать то, что чувствовало и думало подавляющее большинство, которое скрывало свои симпатии под «монолитным» голосованием».

К этому же времени относится опубликование моего письма к Чхеидзе против Ленина. Эпизод этот, относившийся к апрелю 1913 г., был связан с тем, что легальная большевистская газета, выходившая в Петербурге, усвоила себе титул моего венского издания: «Правда, рабочая газета». Это привело к одному из острых столкновений, какими так богата жизнь эмиграции. Я написал Чхеидзе, который одно время стоял между меньшевиками и большевиками, письмо, в котором дал волю своему возмущению про-

тив большевистского центра и Ленина. Двумя или тремя неделями позже я сам несомненно подверг бы свое письмо цензуре, через год — два оно мне показалось бы просто курьезом. Но письмо постигла особая судьба. Департамент полиции перехватил его. В полицейском архиве оно пролежало до Октябрьской революции. После переворота перешло в архив Института партийной истории. Ленин прекрасно знал об этом письме. Оно было для него, как и для меня, прошлогодним снегом, не более того. За эмигрантские годы достаточно было написано всяких писем! В 1924 году эпигоны извлекли это письмо из архива и бросили его на голову партии, которая к тому времени на три четверти состояла из совершенно новых людей. Не случайно были выбраны месяцы, непосредственно следовавшие за смертью Ленина. Это условие было необходимо вдвойне. Во-первых, Ленин не мог уже подняться, чтоб назвать этих господ их настоящим именем. Во-вторых, народные массы были охвачены чувством скорби по умершему вождю. Не имея понятия о вчерашнем дне партии, массы прочитали враждебные отзывы Троцкого о Ленине. Они были оглушены. Правда, отзывы были написаны за 12 лет перед тем. Но хронология исчезала перед лицом голых цитат. Употребление, которое сделано было эпигонами из моего письма к Чхеидзе, представляет собой один из величайших обманов в мировой истории. Фальшивые документы французских реакционеров во время дела Дрейфуса — ничто перед этим политическим подлогом Сталина и его соучастников.

Клевета становится силой только в том случае, если отвечает какой-то исторической потребности. Что-то значит сдвинулось — так рассуждал я про себя — в социальных отношениях или в политических настроениях, если клевета находит такой грандиозный сбыт. Надо проанализировать содедржание клеветы. В постели у меня для этого было достаточно времени. Откуда взялось обвинение Троцкого в стремле-

нии «ограбить мужика», — формула, которую реакционные аграрии, христианские социалисты и фашисты всегда направляют против социалистов и тем более коммунистов? Откуда эта злобная травля марксовой идеи перманентной революции? Откуда это национальное самохвальство, обещающее построить свой собственный социализм? Какие слои предъявляют спрос на эту реакционную пошлость? Наконец, откуда и почему это снижение теоретического уровня, это политическое поглупение? Я перелистываю в постели свои старые статьи и наталкиваюсь глазами на следующие строки, написанные мною в 1909 году, в разгар столыпинской реакции:

«Когда кривая исторического развития поднимается вверх, общественная мысль становится проницательнее, смелее, умнее. Она ловит факты налету и налету же связывает их нитью обобщения . . . Когда же политическая кривая опускается вниз, в общественной мысли воцаряется глупость. Драгоценный талант политического обобощения куда-то бесследно исчезает. Глупость наглеет и, оскалив зубы, глумится над всякой попыткой серьезного обобщения. Чувствуя, что поле за ней, она начинает орудовать своими средствами». Одним из важнейших средств ее является клевета.

Я говорю себе: мы проходим через период реакции. Происходит политическая передвижка классов. Происходит изменение в сознании классов. После великого напряжения совершается откат назад. До какой грани он дойдет? Во всяком случае не до исходной. Но заранее этой грани никто не укажет. Она определится в борьбе внутренних сил. Прежде всего нужно понять, что происходит. Глубокие молекулярные процессы реакции выпирают наружу. Они стремятся ликвидировать или хоть ослабить зависимость общественного сознания от идей, лозунгов и живых фигур Октября. Вот смысл того, что происходит. Не будем же впадать в субъективизм. Не будем капризничать и обижаться на исто-

рию, что она ведет свое дело сложными и путанными путями. Понять, что происходит, значит уже наполовину обеспечить победу.

ГЛАВА XLII

Последний период борьбы внутри партии

В январе 1925 года я был освобожден от обязанностей народного комиссара по военным делам. Это решение было тщательно подготовлено предшествующей борьбой. Наряду с традициями октябрьского переворота, эпигоны больше всего боялись традиций гражданской войны и моей связи с армией. Я уступил военный пост без боя, даже с внутренним облегчением, чтобы вырвать у противников орудие инсинуаций насчет моих военных замыслов. Для оправдания своих действий эпигоны сперва выдумывали эти фантастические замыслы, а затем на половину поверили в них сами. Личные мои интересы еще с 1921 г. передвинулись в другую область. Война была закончена, армия сокращена с пяти миллионов трехсот тысяч до шестисот тысяч. Военная работа вступила в бюрократическое русло. Первое место в стране заняли вопросы хозяйства, которые с момента окончания войны в гораздо большей мере поглощали мое время и внимание, чем военные вопросы.

В мае 1925 г. я был назначен председателем концессионного комитета, начальником электротехнического управления и председателем научно-технического управления промышленности. Эти три области ничем не были связаны между собой. Выбор их происходил за моей спиною и определялся специфическими соображениями: изолировать меня от партии, завалить текущей работой, поставить под особый контроль и пр. Я сделал тем не менее добросовестную попытку сработаться на новых основах. Приступив к работе в трех незнакомых мне учреждениях,

я ушел в нее с головой. Больше всего меня заинтересовали научно-технические институты, которые, благодаря централизованному характеру промышленности, получили у нас довольно широкий размах. Я усердно посещал многочисленные лаборатории, с огромным интересом присутствовал на опытах, выслушивал объяснения лучших ученых, штудировал в свободные часы учебники химии и гидродинамики и чувствовал себя наполовину администратором, наполовину студентом. Недаром же в юные годы я собирался поступить на физико-математический факультет. Я как бы отдыхал от политики на вопросах естествознания и технологии. В качестве начальника Электротехнического Управления, я посещал строющиеся электростанции и совершил в частности поездку на Днепр, где производились широкие подготовительные работы для будущей гидростанции. Два лодочника спустили меня меж порогов по водоворотам на рыбачьей ладье, по старому пути запорожских казаков. Это был, разумеется, чисто спортивный интерес. Но я глубоко заинтересовался днепровским предприятием, и с хозяйственной точки зрения и с технической. Чтоб застраховать гидростанцию от просчетов, я организовал американскую экспертизу, дополненную впоследствии немецкой. Свою новую работу я пытался связывать не только с текущими задачами хозяйства, но и с основными проблемами социализма. В борьбе против тупоумного национального подхода к хозяйственным вопросам («независимость» путем самодовлеющей изолированности) я выдвинул проблему разработки системы сравнительных коэффициентов нашего хозяйства и мирового. Эта проблема вытекала из необходимости правильной ориентировки на мировом рынке, что должно было, в свою очередь, служить задачам импорта, экспорта и концессионной политики. По самому существу своему проблема сравнительных коэффициентов, вытекавшая из признания господства мировых производительных сил над национальными, означала поход про-

тив реакционной теории социализма в отдельной стране. Я читал по вопросам своей новой деятельности доклады, выпускал книжки и брошюры. Принимать бой на этой почве противники не могли и не хотели. Они формулировали для себя положение так: Троцкий создал себе новый плацдарм. Электротехническое управление и научные институты стали их теперь беспокоить почти так же, как ранее военное ведомство и красная армия. Сталинский аппарат шел за мною по пятам. Каждый практический шаг мой становился поводом для сложной закулисной интриги. Каждое теоретическое обобщение питало невежественную мифологию «троцкизма». Практическая работа моя была поставлена в невозможные условия. Я не преувеличу, если скажу, что значительная доля творчества Сталина и его помощника Молотова была направлена на организацию вокруг меня прямого саботажа. Получать необходимые средства стало для подчиненных мне учреждений почти невыполнимой задачей. Лица, работавшие в этих учреждениях, боялись за свою судьбу или, по крайней мере, за свою карьеру.

Попытка отвоевать себе политические каникулы, таким образом, явно не удалась. Эпигоны уже не могли остановиться на полдороге. Они слишком боялись того, что сами сделали. Вчерашняя клевета тяготела над ними и требовала от них сегодня удвоенного вероломства. Я кончил тем, что потребовал освободить меня от электротехнического управления и научно-технических институтов. Главный концессионный комитет давал все же меньше поля для интриг, так как судьба каждой концессии решалась в политбюро.

Тем временем жизнь партии подошла к новому кризису. В первый период борьбы мне была противопоставлена «тройка». Но сама она была далека от единства. Как Зиновьев, так и Каменев в теоретическом и политическом отношении были, пожалуй, выше Сталина. Но им обоим не хватало той мелочи,

которая называется характером. Более интернациональный, чем у Сталина, кругозор, приобретенный ими в эмиграции под руководством Ленина, не усиливали, а, наоборот, ослабляли их. Курс шел на самодовлеющее национальное развитие, и старая формула русского патриотизма «шапками закидаем» усердно переводилась теперь на ново-социалистический язык. Попытка Зиновьева и Каменева хоть частично отстоять интернациональные взгляды превращала их в глазах бюрократии в «троцкистов» второго сорта. Тем неистовее пытались они вести кампанию против меня, чтоб упрочить на этом пути доверие к себе аппарата. Но и эти усилия были напрасны. Аппарат все более явно открывал в Сталине наиболее крепкую кость от своих костей. Зиновьев и Каменев оказались вскоре враждебно противопоставлены Сталину, а когда они попытались из тройки перенести спор в центральный комитет, то обнаружилось, что у Сталина несокрушимое большинство.

Каменев считался официальным руководителем Москвы. Но после того разгрома, какой, при участии Каменева, был учинен над московской партийной организацией в 1923 г., когда она большинством выступила на поддержку оппозиции, рядовая масса московских коммунистов угрюмо молчала. При первых попытках сопротивления Сталину Каменев повис в воздухе. Иначе сложилось дело в Ленинграде. От оппозиции 1923 года ленинградские коммунисты были ограждены тяжелой крышкой зиновьевского аппарата. Но теперь очередь дошла и до них. Ленинградских рабочих взволновал курс на кулака и на социализм в одной стране. Классовый протест рабочих совпал с сановной фрондой Зиновьева. Так возникла новая оппозиция, в состав которой входила на первых порах и Надежда Константиновна Крупская. К великому удивлению для всех и прежде всего для себя самих, Зиновьев и Каменев оказались вынуждены повторять по частям критику оппозиции и вскоре были зачислены в лагерь «троцкистов». Не-

мудрено, если в нашей среде сближение с Зиновьевым и Каменевым казалось, по меньшей мере, парадоксом. Среди оппозиционеров было не мало таких, которые противились этому блоку. Были даже такие — правда, их было немного — которые считали возможным вступить в блок со Сталиным против Зиновьева и Каменева. Один из близких моих друзей, Мрачковский, старый революционер и один из лучших военачальников гражданской войны, высказался против блока с кем бы то ни было, и дал классическое обоснование своей позиции: «Сталин обманет, а Зиновьев убежит». Но в конце концов такого рода вопросы решаются не психологическими, а политическими оценками. Зиновьев и Каменев открыто признали, что «троцкисты» были правы в борьбе против них с 1923 года. Они приняли основы нашей платформы. Нельзя было при таких условиях не заключить с ними блока, тем более, что за их спиною стояли тысячи ленинградских рабочих-революционеров.

С Каменевым мы, вне официальных заседаний, не встречались три года, т. е. с той самой ночи, когда он, выезжая в Грузию, обещал поддерживать позицию Ленина и мою, но, узнав о тяжелом состоянии Ленина, встал на сторону Сталина. При первом же свидании со мною Каменев заявил: «стоит вам с Зиновьевым появиться на одной трибуне, и партия найдет свой настоящий центральный комитет». Я мог только посмеяться над этим бюрократическим оптимизмом. Каменев явно недооценивал ту работу по разложению партии, которую «тройка» производила в течение трех лет. Без всякого снисхождения я ему указал на это.

Революционный отлив, начавшийся с конца 1923 года, т. е. после поражения революционного движения в Германии, получил международный размах. В России реакция против октября шла полным ходом. Партийный аппарат все больше равнялся направо. При таких условиях ребячеством было думать, что стоит нам объединиться, и победа упадет к нашим ногам,

как зрелый плод. «Нам надо брать дальный прицел», повторял я десятки раз Каменеву и Зиновьеву, «нужно готовиться к борьбе всерьез и надолго». Сгоряча новые союзники храбро приняли эту формулу. Но их хватило не надолго. Они увядали не по дням, а по часам. В своих персональных оценках Мрачковский оказался полностью прав: Зиновьев в конце концов убежал. Но он увел за собой далеко не всех своих единомышленников. Легенде троцкизма двойной поворот Зиновьева нанес, во всяком случае, неисцелимую рану.

* *
*

Весною 1926 года мы совершили с женою путешествие в Берлин. Теряясь перед затяжной моей температурой, московские врачи, чтоб не брать на себя всей ответственности, давно настаивали на заграничной поездке. Я тоже хотел найти выход из тупика: температура парализовала меня в наиболее критические моменты и являлась надежным союзником моих противников. Вопрос о поездке заграницу рассматривался в политбюро. Оно высказалось в том смысле, что по всем имеющимся у него данным и по всей политической обстановке, считает мою поездку крайне опасной, но окончательное решение предоставляет мне самому. К решению приложена была справка ГПУ в духе недопустимости моей поездки заграницу. Политбюро несомненно опасалось, что в случае каких-либо неприятных приключений со мной заграницей ответственность будет возложена партией на него. Мысль о принудительной высылке меня заграницу, притом в Константинополь, тогда еще не осеняла полицейской головы Сталина. Возможно, что политбюро опасалось также каких-либо действий моих заграницей по части сплочения иностранной оппозиции. Так или иначе, но посоветовавшись с друзьями, я решил ехать.

С немецким посольством без труда достигнуто было необходимое соглашение, и в середине апреля я выехал с женою по дипломатическому паспорту, выданному на имя члена Украинской коллегии комиссариата просвещения Кузьменко. Нас сопровождали мой секретарь Сермукс, бывший начальник моего поезда и уполномоченный ГПУ. Зиновьев и Каменев прощались со мной почти что трогательно: им очень не хотелось оставаться со Сталиным с глазу на глаз.

Я достаточно хорошо знал в довоенные годы гогенцоллернский Берлин. Он имел свою физиономию, которую никто не называл приятной, хотя многие считали внушительной. Берлин изменился. Он не имел теперь физиономии вовсе, по крайней мере я не находил ее. Город медленно оправлялся после долгой и тяжкой болезни, сопровождавшейся рядом хирургических операций. Инфляция была уже ликвидирована, но твердая марка стала только орудием измерения всеобщего худосочия. На улицах, в магазинах, на лицах прохожих, чувствовалось оскудение и нетерпеливое, иногда жадное стремление снова подняться наверх. Немецкая аккуратность и чистота за тяжкие годы войны, поражений и версальского грабежа, были побеждены нищетой. Человеческий муравейник упорно, но безрадостно восстанавливал свои ходы, корридоры и склады, раздавленные сапогом войны. В ритме улицы, в движениях и жестах прохожих чувствовался трагический оттенок фатализма: ничего не поделаешь, жизнь есть бессрочная каторга, надо начинать сначала.

В течение нескольких недель я стал объектом медицинских наблюдений в одной из частных клиник Берлина. В поисках корней таинственной температуры врачи перебрасывали меня друг другу. В конце концов горловик выдвинул гипотезу, что источником температуры являются миндалевидные железы и посоветовал их на всякий случай вырезать. Диагносты и терапевты колебались: это были пожилые люди и тыловики. Хирург, с опытом войны за спиною, отно-

сился к ним с уничтожающим презрением. У него выходило, что миндалевидные железы теперь удаляют также легко, как бреют усы. Пришлось согласиться.

Ассистенты собирались было связать мне руки, но оператор удовлетворился гарантиями морального порядка. За поощрительными прибаутками хирурга явно слышались напряженность и сдерживаемое волнение. Самое неприятное было лежать неподвижно на спине и захлебываться собственной кровью. Процедура длилась 40-50 минут. Все обошлось благополучно, если не считать того, что операция оказалась повидимому бесполезной: через некоторое время температура возобновилась.

Время в Берлине, вернее в клинике, не пропадало для меня даром. Я с головою окунулся в немецкую печать, от которой был почти совершенно оторван с августа 1914 года. Мне приносили ежедневно десятка два немецких и несколько иностранных изданий, которые, по мере прочтения, я сбрасывал на пол. Профессорам, навещавшим меня, приходилось шагать по ковру из газет всех возможных направлений. Впервые, в сущности, услышал я полную гамму немецкой республиканской политики. Ничего неожиданного, признаться, я не нашел. Республика, как подкидыш военного разгрома, республиканцы — в силу версальской необходимости, социалдемократы, как душеприказчики ими же задушенной ноябрьской революции, Гинденбург, как демократический президент. Приблизительно так я себе это и представлял. Но все же очень поучительно было посмотреть на все это вблизи . . .

В день 1-го мая мы объезжали с женой город на автомобиле, были в главных районах, наблюдали шествия, плакаты, слушали речи, проехали на Александер-плац,вмешались в толпу. Я видел много первомайских шествий, более внушительных, более многочисленных и более декоративных, но давно уже не имел возможности двигаться в массе, не обращая на

себя ничьего внимания, чувствуя себя частицей безымянного целого, слушая и наблюдая. Только один раз сопровождавший нас сотрудник сказал мне осторожно: «вот ваши карточки продаются». Но по этим карточкам никто не мог бы узнать члена коллегии наркомпросса Кузьменко. На тот случай, если-б эти строки попались на глаза графу Вестарпу, Герману Мюллеру, Штреземану, графу Ревентлову, Гильфердингу или другим противникам моего допущения в Германию, считаю нужным довести до их сведения, что никаких предосудительных лозунгов я не провозглашал, никаких возмутительных плакатов не расклеивал и вообще был только наблюдателем, которому предстояло через несколько дней подвергнуться операции.

Мы побывали также на «празднике вина» за городом. Здесь было несметное количество народу. Несмотря на весеннее настроение, подкрепляемое солнцем и вином, серая тень прошедших годов лежала на гуляющих и веселящихся, или пробующих веселиться. Стоило внимательнее приглядеться, и все казались медленно выздоравливающими: веселье требовало от них еще слишком большого усилия. Мы провели в толпе несколько часов, наблюдали, вступали в разговоры, ели с бумажных тарелочек сосиски и даже пили пиво, самый вкус которого успели забыть с 1917 года.

Я быстро оправлялся после операции и намечал день отъезда. Но тут произошел неожиданный эпизод, который до сих пор остался для меня не совсем ясным. За неделю примерно до отъезда в коридоре клиники появились два штатских господина той неопределенной внешности, которая с полной определенностью свидетельствует о полицейской профессии. Выглянув через окно во двор, я обнаружил там не менее полудюжины таких же господ, которые, крайне различаясь между собою, были в то же время совершенно похожи друг на друга. Я обратил на это внимание Крестинского, который находился в этот час

у меня. Через несколько минут постучался один из ассистентов и взволнованно сообщил мне, по поручению своего профессора, что на меня готовится покушение. — Надеюсь не со стороны полиции? — спросил я, указывая на многочисленных агентов. Врач высказал гипотезу, что полиции явилась для предупреждения покушения. Через две-три минуты прибыл полицейрат и сообщил Крестинскому, что полиция действительно получила сведения о готовящемся на меня покушении и приняла чрезвычайные меры охраны. Вся клиника пришла в движения. Сестры передавали друг другу и больным, что в клинике находится Троцкий, и что по этому поводу в здание будет брошено несколько бомб. Создалась атмосфера, мало подходящая для лечебного учреждения. Я условился с Крестинским о немедленном переезде в здание советского посольства. Улица перед клиникой была оцеплена полицией. При переселении меня сопровождали полицейские автомобили.

Официальная версия была приблизительно такова. Один из арестованных, в связи с раскрытием нового заговора, немецких монархистов сделал будто бы заявление следователю в том смысле, что русские белогвардейцы затевают в ближайшие дни покушение на Троцкого, находящегося в Берлине. Нужно сказать, что немецкая дипломатия, с которой была согласована моя поездка, намеренно не сообщила о ней полиции, ввиду слишком большого наличия в ее рядах монархических элементов. Полиция отнеслась к показанию арестованного монархиста с недоверием, но все же проверила показание о моем нахождении в клинике: к ее величайшему изумлению оно подтвердилось. Так как справки наводились и через профессоров, то я получил одновременно два предупреждения: через ассистента и через полицейского советника. Готовилось ли на самом деле покушение, и действительно ли полиция узнала обо мне через арестованного монархиста, этого я, разумеется, не знаю по сей день. Но подозреваю, что дело было проще.

Дипломатия, надо полагать, «тайны» не удержала, а полиция, обидевшись за недоверие, решила показать не то Штреземану, не то мне, что без ее участия нельзя благополучно удалить миндалевидные желёзы. Так или иначе, но клиника была перевернута вверх дном, а я под могучей защитой от проблематических врагов переселился в посольство. В немецкую печать проникли позже слабые и неуверенные отголоски этой истории; видимо, ей никто не хотел верить.

Дни моего пребывания в Берлине совпали с крупными европейскими событиями: всеобщей стачкой в Англии и переворотом Пилсудского в Польше. Оба эти события чрезвычайно углубили мои разногласия с эпигонами и предопределили более бурное развитие нашей дальнейшей борьбы. Об этом здесь надо сказать несколько слов. Сталин, Бухарин, а в первый период и Зиновьев считали венцом своей политики дипломатический блок между верхушкой советских профессиональных союзов и генеральным советом британских трэд-юнионов. В своей провинциальной ограниченности Сталин воображал, что Персель и другие вожди трэд-юнионов готовы или способны оказать в трудную минуту поддержку советской республике против британской буржуазии. Что касается трэд-юнионистских вождей, то они не без основания считали, что, в виду кризиса британского капитализма и растущего недовольства масс, им выгодно иметь прикрытие слева, в виде ни к чему их не обязывающей официальной дружбы с вождями советских профессиональных союзов. Обе стороны тщательно ходили при этом вокруг да около, больше всего опасаясь называть вещи своими именами. Гнилая политика не раз уже расшибалась о большие события. Всеобщая стачка в мае 1926 года явилась большим событием не только в жизни Англии, но и во внутренней жизни нашей партии.

Судьба Англии после войны представляла исключительный интерес. Резкое изменение ее мирового положения не могло не вызвать столь же рез-

кого изменения во внутреннем соотношении сил. Было совершенно ясно, что, даже если Европа, в том числе Англия, снова достигнет известного социального равновесия на более или менее длительный период, Англия не сможет притти к этому равновесию иначе, как через ряд серьезнейших столкновений и встрясок. Я считал вероятным, что конфликт в угольной промышленности может именно в Англии привести ко всеобщей стачке. Из этого я выводил неизбежность обнаружения в ближайший период глубокого противоречия между старыми организациями рабочего класса и его новыми историческими задачами. Зимою и весною 1925 г., я написал на Кавказе на эту тему книжку («Куда идет Англия»). По существу книжка направлялась против официальной концепции политбюро, с его надеждами на полевение генерального совета и постепенное, безболезненное проникновение коммунизма в ряды рабочей партии и трэд-юнионов. Частью для избежания излишних осложнений, частью для того, чтобы проверить своих противников, я дал рукопись книги на просмотр политбюро. Так как дело шло о прогнозе, а не о критике задним числом, то никто из членов политбюро вообще не решился высказаться. Книжка благополучно прошла через цензуру и была напечатана так, как была написана, без малейших изменений. Она появилась вскоре и на английском языке. Официальные лидеры английского социализма отнеслись к ней, как к фантазии иностранца, который не знает английских условий и мечтает перенести на почву великобританских островов «русскую» всеобщую стачку. Таких отзывов можно насчитать десятки, если не сотни, начиная с самого Макдональда, которому на конкурсе политических банальностей принадлежит бесспорно первое место. Между тем, едва прошло несколько месяцев, как стачка углекопов превратилась во всеобщую стачку. На такое скорое подтверждение прогноза я совсем не расчитывал. Если всеобщая стачка доказывала правоту марксистского прогноза против само-

дельных оценок британского реформизма, то поведение генерального совета во время всеобщей стачки означало крушение сталинских надежд на Перселя. Я с большой жадностью собирал в клинике и сводил воедино все сведения, характеризовавшие ход всеобщей стачки и особенно взаимоотношение масс и вождей. Больше всего возмущал характер статей московской «Правды». Главная ее задача состояла в том, чтоб прикрыть банкротство и спасти лицо. Достигнуть этого нельзя было иначе, как циничным извращением фактов. Не может быть большего идейного падения для революционного политика, как обманывать массы!

По приезде в Москву я потребовал немедленного разрыва блока с генеральным советом. Зиновьев, после неизбежных колебаний, присоединился ко мне. Радек был против. Сталин цеплялся за блок, даже за его видимость изо всех сил. Британские трэд-юнионисты выждали конца острого внутреннего кризиса, а затем отпихнули своего щедрого, но бестолкового союзника невежливым движением ноги.

Не менее знаменательные события произошли одновременно в Польше. Мелкая буржуазия, мечась в поисках выхода, встала на путь восстания и подняла на щите Пилсудского. Вождь коммунистической партии Варский решил, что на его глазах развертывается «демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», и призвал компартию на помощь Пилсудскому. Я знал Варского давно. При жизни Розы Люксембург Варский мог еще занимать свое место в рядах революции. Сам по себе он всегда был пустым местом. В 1924 году Варский после больших колебаний объявил, что понял, наконец, вред «троцкизма», т. е. недооценку крестьянства для дела демократической диктатуры. В награду за послушание он получил вождя и нетерпеливо ждал подходящего случая, чтобы обновить свои с таким запозданием полученные шпоры. В мае 1926 г. Варский не преминул воспользоваться столь исключительным случаем, чтоб осрамить себя и запятнать знамя партии. Он остался,

разумеется, безнаказанным: от возмущения польских рабочих его прикрыл сталинский аппарат.

Борьба в течение 26 года разворачивалась все острее. К осени оппозиция сделала открытую вылазку на собраниях партийных ячеек. Аппарат дал бешенный отпор. Идейная борьба заменилась административной механикой: телефонными вызовами партийной бюрократии на собрания рабочих ячеек, бешенным скоплением автомобилей, ревом гудков, хорошо организованным свистом и ревом при появлении оппозиционеров на трибуне. Правящая фракция давила механической концентрацией своих сил, угрозой репрессий. Прежде, чем партийная масса успела, что-нибудь услышать, понять и сказать, она испугалась раскола и катастрофы. Оппозиции пришлось отступить. Мы сделали 16-го октября заявление в том смысле, что, считая свои взгляды правильными и сохраняя за собой право бороться за них в рамках партии, отказываемся от таких действий, которые порождают опасность раскола. Заявление 16-го октября имело в виду не аппарат, а партийную массу. Оно было демонстрацией нашего желания оставаться в партии и служить ей. Хотя сталинцы на другой же день начали срывать заключенное перемирие, мы все же выгадали время. Зима 26—27 г. дала известную передышку, которая позволила нам достигнуть теоретического углубления в ряде вопросов.

Уже к началу 1927 года Зиновьев был готов капитулировать, если не сразу, то в несколько приемов. Но тут произошли потрясающие события в Китае. Преступность сталинской политики ударила в глаза. Это отодвинуло на время капитуляцию Зиновьева и всех, кто последовал позже за ним.

Руководство эпигонов в Китае означало попрание всех традиций большевизма. Китайская коммунистическая партия была, против ее воли, введена в состав буржуазной партии Гоминдан и подчинена ее военной дисциплине. Создание Советов было запрещено. Коммунистам рекомендовалось сдерживать аграрную

революцию и не вооружать рабочих без разрешения буржуазии. Задолго до того, как Чан-Кай-Ши разгромил шанхайских рабочих и сосредоточил власть в руках военной клики, мы предупреждали о неизбежности этого исхода. С 1925 г. я требовал выхода коммунистов из Гоминдана. Политика Сталина-Бухарина не только подготовляла и облегчала разгром революции, но, при помощи репрессий государственного аппарата, страховала контр-революционную работу Чан-Кай-Ши от нашей критики. В апреле 1927 года Сталин на партийном собрании в Колонном зале все еще защищал политику коалиции с Чан-Кай-Ши, призывая доверять ему. Через пять-шесть дней после того Чан-Кай-Ши утопил шанхайских рабочих и коммунистическую партию в крови.

Волна возбуждения прошла по партии. Оппозиция подняла голову. Нарушая все правила конспирации, — а в это время мы уже вынуждены были в Москве защищать китайских рабочих против Чан-Кай-Ши конспиративными методами, — оппозиционеры десятками приходили ко мне в здание главного концессионного комитета. Многим молодым товарищам казалось, что столь очевидное банкротство сталинской политики должно приблизить победу оппозиции. В первые дни после государственного переворота Чан-Кай-Ши я вылил не один ушат холодной воды на слишком горячие головы молодых, да и не только молодых друзей. Я доказывал, что оппозиция никак не может подняться вверх на **поражении** китайской революции. Подтверждение нашего прогноза привлечет к нам тысячу, пять тысяч, десять тысяч новых единомышленников. Для миллионов же имеет решающее значение не прогноз, а самый факт разгрома китайского пролетариата. После поражения немецкой революции в 1923 году, после срыва английской всеобщей стачки в 1925 году, новое поражение в Китае может только усилить разочарование масс в отношении международной революции. Между тем это разочарование и служит ведь основным пси-

хологическим источником сталинской политики национал-реформизма.

Уже очень скоро обнаружилось, что, как фракция, мы действительно стали сильнее, т. е. идейно сплоченнее и многочисленнее. Но пуповина, нас связывающая с властью, оказалась рассечена мечом Чан-Кай-Ши. Его в конец скомпрометированному русскому союзнику Сталину оставалось только дополнить шанхайский разгром рабочих организационным разгромом оппозиции. Ядро оппозиции составляла группа старых революционеров. Но мы были уже не одни. Вокруг нас группировались сотни и тысячи революционеров нового поколения, которое впервые было пробуждено к политической жизни октябрьской революцией, проделало гражданскую войну, искренне держало руки по швам перед гигантским авторитетом ленинского центрального комитета и, только начиная с 23-го года, стало самостоятельно мыслить, критиковать, применять методы марксизма к новым поворотам развития и, что еще труднее, училось брать на свои плечи ответственность революционной инициативы. Сейчас тысячи таких молодых революционеров углубляют свой политический опыт изучением теории в тюрьмах и ссылках сталинского режима.

Основная группа оппозиции шла навстречу этой развязке с открытыми глазами. Мы слишком ясно понимали, что сделать наши идеи достоянием нового поколения рабочих можно не дипломатничаньем и влияньем, а лишь открытой борьбой, не останавливающейся ни пред какими практическими последствиями. Мы шли навстречу непосредственному разгрому, уверенно подготовляя свою идейную победу в более отдаленном будущем.

Применение материальной силы играло и играет огромную роль в человеческой истории: иногда прогрессивную, чаще реакционную, в зависимости от того, какой класс и для каких целей применяет насилие. Но отсюда бесконечно далеко до вывода, будто насилием можно разрешить в с е вопросы и справиться

со всеми препятствиями. Задержать развитие прогрессивных исторических тенденций при помощи оружия возможно. Перегородить прогрессивным идеям дорогу навсегда — нельзя. Вот почему, когда дело идет о борьбе великих принципов, революционер может руководствоваться только одним правилом: fais ce que dois, advienne que pourra.

* * *

По мере приближения XV-го съезда, назначенного на конец 27-го года, партия все более чувствовала себя на историческом перекрестке. Глубокая тревога пронеслась по ее рядам. Несмотря на чудовищный террор, в партии пробудилось стремление услышать оппозицию. Этого нельзя было достигнуть иначе, как на нелегальном пути. В разных концах Москвы и Ленинграда происходили тайные собрания рабочих, работниц, студентов, собиравшихся в числе от 20 до 100 и 200 человек, для того, чтобы выслушать одного из представителей оппозиции. В течение дня я посещал два-три, иногда четыре таких собрания. Они происходили обычно на рабочих квартирах. Две маленькие комнаты бывали битком набиты, оратор стоял в дверях посредине. Иногда все сидели на полу, чаще, за недостатком места, приходилось беседовать стоя. Представители контрольной комиссии являлись нередко на такого рода собрания с требованием разойтись. Им предлагали принять участие в прениях. Если они нарушали порядок, их выставляли за дверь. В общем на этих собраниях в Москве и Ленинграде перебывало до 20.000 человек. Приток возрастал. Оппозиция очень искусно подготовила большое собрание в зале высшего технического училища, который был захвачен изнутри. Набилось свыше двух тысяч человек. Большая толпа оставалась на улице. Попытки администрации мешать нам оказались бессильным. Я и Каменев говорили

около двух часов. В конце концов центральный комитет выпустил воззвание к рабочим о необходимости разгонять собрания оппозиции силой. Это воззвание было только прикрытием для тщательно подготовленных нападений на оппозицию со стороны боевых дружин под руководством ГПУ. Сталин хотел кровавой развязки. Мы дали сигнал к временному прекращению больших собраний. Но это произошло уже после демонстрации 7-го ноября.

В октябре 1927 г. сессия центрального исполнительного комитета заседала в Ленинграде. В честь сессии устроен была массовая демонстрация. Случайным стечением обстоятельств демонстрация эта получила совершенно неожиданное направление. С Зиновьевым и еще несколькими лицами мы объезжали в автомобиле город, чтоб посмотреть размеры и настроение демонстрации. Мы проезжали под конец мимо Таврического дворца, где на грузовиках сооружены были трибуны для членов центрального исполнительного комитета. Наш автомобиль уперся в цепь: дальше проезда не было. Не успели мы еще обдумать, как выбраться из тупика, как комендант подскочил к нашему автомобилю и, не мудрствуя лукаво, предложил нам провести нас к трибуне. Прежде, чем мы успели преодолеть собственные колебания, как уже два ряда милицейских проложили нам путь к последнему грузовику, который был еще пуст. Как только массам стало известно, что мы находимся на крайней трибуне, демонстрация сразу изменила свою физиономию. Массы безразлично проходили мимо первых грузовиков, не отвечая на приветствия и спеша к нам. Возле нашего грузовика образовалась скоро многотысячная запруда. Рабочие и красноармейцы задерживались, глядели вверх, выкрикивали приветственные возгласы и продвигались вперед только под нетерпеливым напором задних рядов. Наряд милиции, направленный к нашему грузовику для наведения порядка, сам был захвачен общей атмосферой и не проявлял активности. В толпу посланы

были сотни наиболее верных агентов аппарата. Они пробовали свистеть, но одинокие свистки безнадежно тонули в возгласах сочувствия. Чем дальше, тем более явно положение становилось невыносимым для официальных руководителей демонстрации. В конце концов председатель ВЦИКа и несколько наиболее видных членов его сошли с первой трибуны, вокруг которой зияла пустота, и взобрались на нашу, занимавшую последнее место и предназначенную для наименее видных гостей. Однако, и этот отважный шаг не спас положения: масса упорно выкликала имена, и это не были имена официальных хозяев положения.

Зиновьев немедленно преисполнился оптимизма и ждал от манифестации величайших последствий. Я не разделял его импульсивной оценки. Свое недовольство рабочая масса Ленинграда демонстрировала в форме платонического сочувствия по адресу вождей оппозиции, но она еще не была способна помешать аппарату расправиться с нами. На этот счет я не делал себе никаких иллюзий. С другой стороны, манифестация должна была подсказать правящей фракции необходимость ускорить расправу над оппозицией, чтоб поставить массу перед совершившимся фактом.

Следующей вехой была московская демонстрация в честь десятой годовщины октябрьского переворота. В качестве организаторов демонстрации, авторов юбилейных статей и ораторов выступали сплошь да рядом люди, которые во время октябрьского переворота стояли по другую сторону баррикады или просто укрывались под семейной кровлей, пережидая, что выйдет, и примкнули к революции только после ее твердой победы. Скорее с юмором, чем с горечью, я читал статьи или слушал по радио речи, в которых эти прихлебатели обвиняли меня в измене октябрьской революции. Когда понимаешь динамику исторического процесса и видишь, как твоего противника дергает за нитки неведомая ему самому рука, тогда самые отвратительные гнусности и вероломства теряют над тобою силу.

Оппозиционеры решили принять участие в общей процессии со своими плакатами. Лозунги этих плакатов ни в каком случае не были направлены против партии: «Повернем огонь направо — против кулака, нэпмана и бюрократа». «Выполним завещание Ленина», «Против оппортунизма, против раскола — за единство ленинской партии». Сегодня эти лозунги составляют официальное кредо сталинской фракции в ее борьбе против правых. В день 7-го ноября 1927 года плакаты оппозиции вырывались из рук, рвались на части, а носители этих плакатов подвергались избиениям со стороны специальных дружин. Опыт ленинградской манифестации пошел официальным руководителям в прок. На этот раз они подготовились неизмеримо лучше. В массе чувствовалось недомогание. Она участвовала в демонстрации в состоянии глубокой тревоги. Над огромной растерянной и обеспокоенной массой возвышались две активные группы: оппозиция и аппарат. В качестве добровольцев по борьбе с «троцкистами» поднимались на помощь аппарату заведомо нереволюционные, отчасти прямо фашистские элементы московской улицы. Милицейский, под видом предупреждения, открыто стрелял по моему автомобилю. Кто-то водил его рукою. Пьяный чиновник пожарной команды вскочил с площадными ругательствами на подножку моего автомобиля и разбил стекло. Кто умеет глядеть, для того на улицах Москвы 7-го ноября 27-го года разыгрывалась репетиция термидора.

Подобная же манифестация происходила в Ленинграде. Зиновьев и Радек, выезжавшие туда, подверглись аттаке специального отряда и, под видом ограждения от толпы, были заперты на время демонстрации в одном из зданий. Зиновьев писал нам в тот же день в Москву: «Все сведения говорят о том, что все это безобразие принесет нашему делу большую пользу. Беспокоимся, что было у вас. «Смычки» (т. е. нелегальные беседы с рабочими) идут у нас очень хорошо. Перелом большой в нашу пользу.

Ехать отсюда пока не собираемся». Это была последняя вспышка оппозиционной энергии Зиновьева. Через день он был уже в Москве и настаивал на капитуляции.

16 ноября покончил с собой Иоффе, и смерть его врезалась в развертывающуюся борьбу.

Иоффе был глубоко больной человек. Из Японии, где он был послом, его привезли в тяжком состоянии. С большим трудом удалось добиться отправки Иоффе заграницу. Поездка была слишком краткой. Она дала благотворные результаты, но недостаточные. Иоффе стал моим заместителем в главном концессионном комитете. Вся текущая работа лежала на нем. Он тяжело переживал кризис партии. Что его больше всего потрясало, это вероломство. Он несколько раз порывался ринуться в борьбу по настоящему. Я его удерживал, боясь за его здоровье. Особенно возмущала Иоффе кампания по поводу перманентной революции. Он никак не мог переварить подлой травли против тех, которые задолго предвидели ход и характер революции, со стороны других, которые лишь пользуются ее плодами. Иоффе передавал мне свой разговор с Лениным, кажется, в 1919 году, на тему о перманентной революции. Ленин сказал ему: «Да, Троцкий оказался прав». Иоффе хотел опубликовать этот разговор. Я всячески удерживал его. Я представлял себе заранее, какая лавина гнусностей обрушится на него. Иоффе был настойчив особой, мягкой по форме, но внутренне непреклонной настойчивостью. При каждом новом взрыве агрессивного невежества и политического вероломства он снова являлся ко мне, осунувшийся и возмущенный, и повторял: нет, надо опубликовать. Я снова доказывал ему, что такого рода «свидетельское показание» ничего не изменит, что нужно переучивать новое поколение партии и брать далекий прицел.

Физическое состояние Иоффе, которому не удалось заграницей долечиться, ухудшалось со дня на

день. К осени он вынужден был прекратить работу, а затем и вовсе слечь в постель. Друзья снова поставили вопрос об его посылке заграницу. На этот раз ЦК начисто отказал. Сталинцы собирались теперь ссылать оппозиционеров совсем в другом направлении. Исключение меня из центрального комитета, а затем из партии потрясло Иоффе больше, чем кого бы то ни было. К политическому и личному возмущению присоединялось острое сознание собственной физической беспомощности. Иоффе безошибочно чувствовал, что дело идет о судьбе революции. Бороться он не мог. Вне борьбы жизнь для него не имела смысла. И он сделал для себя последний вывод.

Я жил уже не в Кремле, а на квартире у моего друга Белобородова, который все еще числился народным комиссаром внутренних дел, хотя его самого по пятам преследовали агенты ГПУ. В те дни Белобородов находился на родном Урале, где в борьбе с аппаратом пытался найти путь к рабочим. Я позвонил на квартиру Иоффе, чтоб справиться о его здоровье. Он откликнулся сам: аппарат стоял у его постели. В тоне его голоса — я отдал себе в этом отчет лишь позже — было нечто необычное, напряженное, тревожное. Он просил меня приехать к нему. Что-то помешало мне выполнить его просьбу немедленно. То были бурные дни, когда на квартиру Белобородова непрерывно являлись товарищи для совещания по неотложным вопросам. Через час или через два незнакомый мне голос сообщил по телефону: «Адольф Абрамович застрелился. На столике его лежит пакет для вас». На квартире Белобородова всегда дежурило несколько военных оппозиционеров. Они сопровождали меня при моих передвижениях по городу. Мы спешно отправились к Иоффе. На наш звонок и стук, из-за двери справились об имени и открыли не сразу: за дверьми происходило что-то неясное. На покрытой кровью подушке вырисовывалось спокойное, проникнутое высшей мягкостью

лицо Адольфа Абрамовича. За его письменным столом хозяйничал Б., член коллегии ГПУ. Пакета на столике не оказалось. Я потребовал немедленно вернуть мне письмо. Б. бормотал, что никакого письма не было. Вид его и голос не оставляли места сомнениям в том, что он лжет. Через несколько минут в квартиру стали приходить друзья со всех концов города. Официальные представители комиссариата иностранных дел и партийных учреждений чувствовали себя одиноко в массе оппозиционеров. За ночь на квартире перебывало несколько тысяч человек. Весть о похищенном письме распространилась по городу. Иностранные журналисты передали об этом в своих телеграммах. Скрывать письмо дальше оказалось невозможным. В конце концов Раковскому вручена была фотографическая копия письма. Почему письмо, написанное Иоффе для меня и запечатанное им в конверт с моей фамилией, было вручено Раковскому, и притом не в оригинале, а в фотографической копии, объяснить не берусь. Письмо Иоффе отражает моего покойного друга до конца, но оно его отражает за полчаса до смерти. Иоффе знал мое отношение к нему, был связан со мной глубоким нравственным доверием и дал мне право вычеркнуть из письма то, что могло быть излишним или неуместным при опубликовании. После того, как не удалось скрыть письмо от всего мира, циничный враг тщетно пытался использовать для своих целей те строки, которые как раз и не предназначались для опубликования.

Свою смерть Иоффе стремился поставить на службу тому делу, которому служил всю жизнь. Рукою, которая через полчаса должна была спустить курок против его собственного виска, он записывал последние показания свидетеля и последние советы друга. Вот что сказал в своем прощальном письме Иоффе лично по моему адресу:

«Нас с вами, дорогой Лев Давидович, связывают десятилетия совместной работы и личной дружбы тоже, смею надеяться. Это дает мне право сказать

вам на прощание то, что мне кажется в вас ошибочным. Я никогда не сомневался в правильности намечавшегося вами пути, и вы знаете, что более 20 лет иду вместе с вами, со времен «перманентной революции». Но я всегда считал, что вам недостает ленинской непреклонности, неуступчивости, его готовности остаться хоть одному на признаваемом им правильном пути, в предвидении будущего большинства, будущего признания всеми правильности этого пути. Вы политически всегда были правы, начиная с 1905 года, и я неоднократно вам заявлял, что собственными ушами слышал, как Ленин признавал, что и в 1905 году не он, а вы были правы. Перед смертью не лгут, и я еще раз повторяю вам это теперь... Но вы часто отказывались от собственной правоты, в угоду переоцениваемому вами соглашению, компромиссу. Это — ошибка. Повторяю, политически вы всегда были правы, а теперь более правы, чем когда-либо. Когда-нибудь партия это поймет, а история обязательно оценит. Так не пугайтесь же теперь, если кто-нибудь от вас даже отойдет или, тем паче, если не многие так скоро, как этого бы всем нам хотелось, к вам придут. Вы — правы, но залог победы вашей правоты — именно в максимальной неуступчивости, в строжайшей прямолинейности, в полном отсутствии всяких компромиссов, точно также, как всегда в этом именно был секрет побед Ильича. Это я много раз хотел сказать вам, но решился только теперь, на прощанье».

Похороны Иоффе были назначены на рабочий день и час, чтоб помешать участию московских рабочих. Но они собрали все же не менее десяти тысяч человек и превратились во внушительную оппозиционную манифестацию.

Тем временем фракция Сталина вела подготовку съезда, торопясь поставить его перед совершившимся фактом раскола. Так называемые выборы на мест-

ные конференции, посылавшие делегатов на съезд, произведены были до официального объявления насквозь фальшивой «дискуссии», во время которой организованные на военный лад отряды свистунов срывали собрания по чисто фашистскому образцу. Трудно себе вообще представить что-либо более постыдное, чем подготовка XV съезда. Зиновьеву и его группе не трудно было догадаться, что съезд лишь увенчает политически тот физический разгром, который начался на улицах Москвы и Ленинграда в 10-ю годовщину октябрьского переворота. Единственной заботой Зиновьева и его друзей стало теперь: своевременно капитулировать. Они не могли не понимать, что подлинного врага сталинские бюрократы видели не в них, оппозиционерах второго призыва, а в основном ядре оппозиции, связанным со мной. Они надеялись, если не заслужить благоволение, то купить прощение демонстративным разрывом со мной в момент XV-го съезда. Они не расчитали, что двойной изменой политически ликвидируют себя. Если нашу группу они своим ударом в спину временно ослабили, то себя они обрекли на политическую смерть. XV-й съезд постановил исключение оппозиции в целом. Исключенные поступали в распоряжение ГПУ.

ГЛАВА XLIII

Ссылка

О высылке в центральную Азию приведу целиком рассказ жены.

«16 января 1928 г., с утра упаковка вещей. У меня повышена температура, кружится голова от жара и слабости — в хаосе только что перевезенных из Кремля вещей и вещей, которые укладываются для отправки с нами. Затор мебели, ящиков, белья, книг и бесконечных посетителей-друзей, приходивших проститься. Ф. А. Гетье, наш врач и друг, наивно со-

ветовал отсрочить отъезд в виду моей простуды. Он себе неясно представлял, что означает наша поездка и что значит теперь отсрочка. Мы надеялись, что в вагоне я скорей оправлюсь, так как дома, в условиях «последних дней» перед отъездом, скоро не выздороветь. В глазах мелькают все новые и новые лица, много таких, которых я вижу первый раз. Обнимают, жмут руки, выражают сочувствие и пожелания... Хаос увеличивается приносимыми цветами, книгами, конфектами, теплой одеждой и пр. Последний день хлопот, напряжения, возбуждения подходит к концу. Вещи увезены на вокзал. Друзья отправились туда же. Сидим в столовой всей семьей, готовые к отъезду, ждем агентов ГПУ. Смотрим на часы... девять... девять с половиной... Никого нет. Десять. Это время отхода поезда. Что случилось? Отменили? Звонок телефона. Из ГПУ сообщают, что отъезд наш отложен, причин не объясняют. Надолго? спрашивает Л. Д. — На два дня, — отвечают ему, — отъезд послезавтра. Через полчаса прибегают вестники с вокзала, сперва молодежь, затем Раковский и другие. На вокзале была огромная демонстрация. Ждали. Кричали «да здравствует Троцкий». Но Троцкого не видно. Где он? У вагона, назначенного для нас, бурная толпа. Молодые друзья выставили на крыше вагона большой портрет Л. Д. Его встретили восторженными «ура». Поезд дрогнул. Один, другой толчок... поднялся вперед и внезапно остановился. Демонстранты забегали вперед паровоза, цеплялись за вагоны и остановили поезд, требуя Троцкого. В толпе прошел слух, будто агенты ГПУ провели Л. Д. в вагон незаметно и препятствуют ему показаться провожающим. Волнение на вокзале было неописуемое. Пошли столкновения с милицией и агентами ГПУ, были пострадавшие с той и другой стороны, произведены были аресты. Поезд задержали часа на полтора. Через некоторое время с вокзала привезли обратно наш багаж. Долго еще раздавались телефонные звонки друзей, желавших убе-

диться, что мы дома, и сообщавшие о событиях на вокзале. Далеко за полночь мы отправились спать. После волнений последних дней проспали до 11 часов утра. Звонков не было. Все было тихо. Жена старшего сына ушла на службу: ведь еще два дня впереди. Но едва успели позавтракать, раздался звонок — пришла Ф. В. Белобородова . . . потом М. М. Иоффе. Еще звонок — и вся квартира заполнилась агентами ГПУ в штатском и во форме. Л. Д. вручили ордер об аресте и немедленной отправке под конвоем в Алма-Ата. А два дня, о которых ГПУ сообщило накануне? Опять обман! Эта военная хитрость была применена, чтоб избежать новой демонстрации при отправке. Звонки по телефону непрерывны. Но у телефона стоит агент и с довольно добродушным видом мешает отвечать. Лишь благодаря случайности удалось передать Белобородову, что у нас засада, и что нас увозят силой. Позже нам сообщили, что «политическое руководство» отправкой Л. Д. возложено было на Бухарина. Это вполне в духе сталинских махинаций . . . Агенты заметно волновались. Л. Д. отказался добровольно ехать. Он воспользовался предлогом, чтоб внести в положение полную ясность. Дело в том, что политбюро старалось придать ссылке по крайней мере наиболее видных оппозиционеров видимость добровольного соглашения. В этом духе ссылка изображалась перед рабочими. Надо было разбить эту легенду и показать, то, что есть, притом в такой форме, чтоб нельзя было ни замолчать, ни исказить. Отсюда возникло решение Л. Д. заставить противников открыто применить насилие. Мы заперлись вместе с двумя нашими гостьями в одной комнате. С агентами ГПУ переговоры велись через запертую дверь. Они не знали, как быть, колебались, вступили в разговоры со своим начальством по телефону, затем получили инструкции и заявили, что будут ломать дверь, так как должны выполнить приказание. Л. Д. тем временем диктовал инструкцию о дальнейшем поведении оппозиции.

Мы не открывали. Раздался удар молотка, стекло двери превратилось в осколки, просунулась рука в форменном обшлаге. «Стреляйте в меня, т. Троцкий, стреляйте», суетливо-взволнованно повторял Кишкин, бывший офицер, не раз сопровождавший Л. Д. в поездках по фронту. — «Не говорите вздора, Кишкин, — отвечал ему спокойно Л. Д., — никто в вас не собирается стрелять, делайте свое дело». Дверь отперли и вошли, взволнованные и растерянные. Увидя, что Л. Д. в комнатных туфлях, агенты разыскали его ботинки и стали надевать их ему на ноги. Отыскали шубу, шапку . . . надели. Л. Д. отказался итти. Они его взяли на руки. Мы поспешили за ними. Я накинула шубу, боты . . . Дверь за мной сразу захлопнулась. За дверью шум. Криком останавливаю конвой, несший Л. Д. по лестнице и требую, чтоб пропустили сыновей: старший должен ехать с нами в ссылку. Дверь распахнулась, оттуда выскочили сыновья, а также обе наши гостьи, Белобородова и Иоффе. Все они прорвались силой. Сережа применил свои приемы спортсмэна. Спускаясь с лестницы, Лева звонит во все двери и кричит: «несут т. Троцкого». Испуганные лица мелькают в дверях квартир и по лестнице. В этом доме живут только видные советские работники. Автомобиль набили битком. С трудом вошли ноги Сережи. С нами и Белобородова. Едем по улицам Москвы. Сильный мороз. Сережа без шапки, не успел в спешке захватить ее, все без галош, без перчаток, ни одного чемодана, нет даже ручной сумки, все совсем налегке. Везут нас не на Казанский вокзал, а куда то в другом направлении, — оказывается, на Ярославский. Сережа делает попытку выскочить из автомобиля, чтоб забежать на службу к невестке и сообщить ей, что нас увозят. Агенты крепко схватлии Сережу за руки и обратились к Л. Д. с просьбой уговорить его не выскакивать из автомобиля. Прибыли на совершенно пустой вокзал. Агенты понесли Л. Д., как и из квартиры на руках. Лева кричит одиноким железно-

дорожным рабочим: «Товарищи, смотрите, как несут т. Троцкого». Его схватил за воротник агент ГПУ, некогда сопровождавший Л. Д. во время охотничьих поездок. «Ишь, шпингалет», воскликнул он нагло. Сережа ответил ему пощечиной опытного гимнаста. Мы в вагоне. У окон нашего купе и у дверей конвой. Остальные купе заняты агентами ГПУ. Куда едем? Не знаем. Вещей нам не доставили. Паровоз с одним нашим вагоном двинулся. Было 2 часа дня. Оказалось, что окружным путем мы направлялись к маленькой глухой станции, где нас должны были прицепить к почтовому поезду, вышедшему из Москвы, с Казанского вокзала, на Ташкент. В пять часов мы простились с Сережей и Белобородовой, которые должны были со встречным поездом вернуться в Москву. Мы продолжали путь. Меня лихорадило. Л. Д. был настроен бодро, почти весело. Положение определилось. Общая атмосфера стала спокойней. Конвой предупредителен и вежлив. Нам было сообщено, что багаж наш идет со следующим поездом и, что во Фрунзе (конец нашего железнодорожного пути) он нас нагонит — это значит на девятый день нашего путешествия. Едем без белья и без книг. А с каким вниманием и любовью Сермукс и Познанский укладывали книги, тщательно подбирая их — одни для дороги, другие для занятий на первое время, — как аккуратно Сермукс уложил письменные принадлежности для Л. Д., зная его вкусы и привычки в совершенстве. Сколько путешествий он совершил за годы революции с Л. Д., в качестве стенографа и секретаря. Л. Д. в дороге всегда работал с утроенной энергией, пользуясь отсутствием телефона и посетителей, и главная тяжесть этой работы ложилась сперва на Глазмана, потом на Сермукса. Мы оказались на этот раз в дальнем путешествии без единой книги, без карандаша и листа бумаги. Сережа перед отъездом достал для нас Семенова-Тяншанского — научный труд о Туркестанском крае, — в дороге мы собирались ознакомиться с нашим будущим местожи-

тельством, которое мы представляли себе лишь приблизительно. Но и Семенов-Тяншанский остался в чемодане вместе с другими вещами в Москве. Мы сидели в вагоне, налегке, точно переезжали из одной части города в другую. К вечеру вытянулись на скамьях, опираясь головами на подлокотники. У приоткрытых дверей купе дежурили часовые.

Что нас ожидало дальше? Какой характер примет наше путешествие? А ссылка? В каких условиях мы там окажемся? Начало не предвещало ничего хорошего. Тем не менее мы чувствовали себя спокойно. Тихо покачивался вагон. Мы лежали вытянувшись на скамьях. Приоткрытая дверь напоминала о тюремном положении. Мы устали от неожиданностей, неопределенности, напряжения последних дней, и теперь отдыхали. В вагоне было тихо. Конвой молчал. Мне нездоровилось. Л. Д. всячески старался облегчить мое положение, но он ничем не располагал, кроме бодрого, ласкового настроения, которое сообщалось и мне. Мы перестали замечать окружающую обстановку и наслаждались покоем. Лева был в соседнем купе. В Москве он был полностью погружен в работу оппозиции. Теперь он отправился с нами в ссылку, чтоб облегчить наше положение и не успел даже проститься с женой. С этих пор он стал нашей единственной связью с внешним миром. В вагоне было почти темно, стеариновые свечи горели тускло над дверью. Мы продвигались на восток.

Чем дальше от Москвы, тем предупредительней становился конвой. В Самаре закупили для нас смену белья, мыло, зубной порошок, щетки и пр. Питались мы обедами, которые заказывались для нас и для конвоя в вокзальных ресторанах. Л. Д., который всегда вынужден придерживаться строгой диэты, теперь весело ел все, что подавали, и подбадривал нас с Левой. Я с удивлением и страхом следила за ним. Закупленные в Самаре для нас вещи получили в нашем обиходе особые имена: полотенце имени Меньжинского, носки имени Ягоды (это заместитель

Меньжинского) и пр. Снабженные этими именами вещи получали более веселый характер. Вследствие заносов поезд шел с большим опозданием. Но все же мы день за днем углублялись в Азию.

Перед отъездом Л. Д. требовал, чтоб ему дали взять с собой двух своих старых сотрудников. Ему отказали. Тогда Сермукс и Познанский решили ехать самостоятельно, в одном с нами поезде. Они заняли места в другом вагоне, были свидетелями демонстрации, но не покидали своих мест, предполагая, что с этим же поездом едем и мы. Через некоторое время они обнаружили наше отсутствие, высадились в Арыси и поджидали нас со следующим поездом. Тут мы и настигли их. Виделся с ними только Лева, пользовавшийся некоторой свободой передвижения, но горячо радовались мы все. Вот запись сына, сделанная тогда же: «Утром направляюсь на станцию, авось найду товарищей, о судьбе которых мы всю дорогу много говорим и беспокоимся. И действительно: оба они тут как тут, сидят в буфете за столиком, играют в шахматы. Трудно описать мою радость. Даю им понять, чтоб не подходили: после моего появления в буфете начинается, как всегда, усиленное движение агентов. Тороплюсь в вагон сообщить открытие. Общая радость. Даже Л. Д. трудно сердиться на них: а между тем они нарушили инструкцию и вместо того, чтоб ехать дальше, ожидают на виду у всех: лишний риск. Договорившись с Л. Д., составляю для них записку, которую думаю передать, когда стемнеет. Инструкция такова: Познанскому отделиться, ехать в Ташкент немедленно и там дожидаться сигнала. Сермуксу ехать в Алма-Ата, не вступая в общение с нами. Сермуксу я успел на ходу назначить свидание за вокзалом, в укромном месте, где нет фонарей. Познанский является туда, сразу не находим друг друга, волнуемся, встретившись, торопимся, перебиваем друг друга. Я говорю: «ломали дверь, тащили на руках». Он не понимает, кто ломал, зачем тащили. Растолковывать некогда,

могут нас открыть. Свидание, в общем, не дало ничего» . . .

После открытия, сделанного сыном в Арыси, ехали дальше с сознанием, что в этом же поезде есть верный друг. Это было отрадно. На десятый день мы получили наш багаж и поспешили вынуть Семенова-Тяншанского. Читаем с интересом о природе, населении, яблочных садах; главное, там великолепная охота. Л. Д. с удовольствием открывает письменные принадлежности, уложенные Сермуксом. Во Фрунзе (Пишпек) приехали рано утром. Это последняя железнодорожная станция. Стоял сильный мороз. Белый, чистый, вкусный снег, облитый солнечными лучами, слепил глаза. Нам принесли валенки и тулупы. Я задыхалась от тяжести одежды и тем не менее в пути было холодно. Автобус двигался медленно по скрипучему снежному накату, ветер колол лицо. Проехавши тридцать километров, остановились. Темно. Казалось, что стоим среди снежной пустыни. Двое конвойных (сопровождало нас двенадцать-пятнадцать человек) подошли к нам и со смущением предупредили, что ночевка «неважная». С трудом высадились и, нащупывая в темноте порог почтовой станции и низкую дверь, вошли внутрь и с удовольствием освободились от тулупов. В избе, однако, холодно, не топлено. Маленькие окошечки промерзли насквозь. В углу большая русская печка, увы, холодная, как лед. Согревались чаем. Закусили. Разговорились с хозяйкой станции, казачкой. Л. Д. подробно расспрашивал ее о житье-бытье и попутно об охоте. Все любопытно, а главное — неизвестно, чем окончится. Начали укладываться спать. Конвой разместился по соседству. Лева устроился на скамье. Мы с Л. Д. легли на большом столе, подостлав под себя тулупы. Когда окончательно улеглись в темной холодной комнате с низким потолком, я громко рассмеялась: «совсем не похоже на кремлевскую квартиру!» Л. Д. и Лева меня дружно поддержали. С рассветом двинулись дальше. Пред-

стояла труднейшая часть пути. Переправа через хребет Курдай. Жестокий холод. Невыносимая тяжесть одежды, точно стена на тебя навалилась. На новой остановке разговаривали за чаем с шофером и агентом ГПУ, прибывшим навстречу из Алма-Ата. Перед нами постепенно кое-что открывалось... частица за частицей неизвестной нам жизни. Дорога для автомобиля была трудная, накат дороги часто перекрывался полосами наносного снега. Шофер управлял машиной ловко, знал хорошо свойства дороги, согревался водкой. Мороз к ночи делался все сильней и сильней. Сознавая, что все от него зависят в этой снежной пустыне, шофер отводил душу довольно бесцеремонной критикой начальства и порядков... Алма-атинское начальство, сидевшее с ним рядом, даже заискивало: только бы довез. В третьем часу ночи в полной темноте машина остановилась. Приехали. Куда? Оказалось на улицу Гоголя, в гостиницу «Джетысу», меблированные номера действительно времени Гоголя. Нам отвели две комнатки. Соседние номера были заняты конвоем и местными агентами ГПУ. Лева проверил багаж, — оказалось, нет двух чемоданов с бельем и книгами, остались где-то в снегах. Увы, снова мы без Семенова-Тяншанского. Погибли карты и книги Л. Д. о Китае и Индии, погибли письменные принадлежности. Не уберегли чемоданов... пятнадцать пар глаз.

Лева с утра вышел на разведку. Ознакомился с городом, прежде всего с почтой и телеграфом, которые заняли центральное место в нашей жизни. Нашел и аптеку. Неутомимо разыскивал всякие необходимые нам предметы, перья, карандаши, хлеб, масло, свечи... Ни я, ни Л. Д. в первые дни совсем не выходили из комнаты, потом стали совершать небольшие прогулки по вечерам. Вся связь наша с внешним миром шла через сына.

Обед нам приносили из ближайшей столовой. Лева был в расходе по целым дням. Мы с нетерпением ждали его. Он приносил газеты, те или другие

интересные сообщения о нравах и быте города. Волновались мы насчет того, как доехал Сермукс. И вдруг утром, на четвертый день нашего пребывания в гостинице, услышали в коридоре знакомый голос. Как он был нам дорог! Мы прислушивались из-за двери к словам Сермукса, тону, шагам. Это открывало перед нами новые перспективы. Ему отвели комнату дверь в дверь против нашей. Я вышла в корридор, он издали мне поклонился... Вступить в разговор мы пока еще не решались, но молча радовались его близости. На другой день украдкой впустили его в свою комнату, торопливо сообщили обо всем происшедшем и условились насчет совместного будущего. Но будущее оказалось коротким. В тот же день, в десять часов вечера пришла развязка. В гостинице было тихо. Мы с Л. Д. сидели в своей комнате, дверь была полуоткрыта в холодный корридор, так как железная печь невыносимо накаляла атмосфору. Лева сидел в своей комнате. Мы услышали тихие, осторожные, мягкие в валенках шаги в корридоре; и сразу насторожились все трое (как оказалось, Лева тоже прислушивался и догадывался о происходящем). «Пришли», мелькнуло в сознании. Мы слышали, как без стука вошли в комнату Сермукса, как сказали «торопитесь!», как Сермукс ответил: «можно надеть хоть валенки?» Он был в комнатных туфлях. Опять едва слышные мягкие шаги, и нарушенная тишина восстановилась. Потом портье запер на ключ комнату, из которой увели Сермукса. Больше мы его не видели. Его держали несколько недель в подвале алмаатинского ГПУ вместе с уголовными на голодном пайке, потом отправили в Москву, выдавая 25 копеек на пропитание в сутки. Этого не могло хватить даже на хлеб. Познанского, как выяснилось позже, арестовали одновременно в Ташкенте и тоже препроводили в Москву. Месяца через три мы получили от них вести, уже с мест ссылки. По счастливой случайности, когда из Москвы их везли на Восток, они попали в один вагон, места

их оказались одно против другого. Разлученные на время, они встретились, чтоб снова разлучиться: их сослали в разные места.

Л. Д. оказался, таким образом, без своих сотрудников. Противники отомстили им беспощадно за их верную службу революции, рука об руку с Л. Д. Милого скромного Глазмана еще в 1924 году довели до самоубийства. Сермукса и Познанского сослали. Бутова, тихого, трудолюбивого Бутова арестовали, требовали от него ложных показаний, довели до бесконечной голодовки и смерти в тюремной больнице. Таким образом, «секретариат», к которому враги Л. Д. относились с мистической ненавистью, как к источнику всякого зла, оказался наконец разгромлен. Враги считали, что Л. Д. теперь окончательно обезоружен в далекой Алма-Ата. Ворошилов публично хвалился: «если и умрет там, не скоро узнаем». Но Л. Д. не был обезоружен. Мы составили кооперацию из троих. На сына легла, главным образом, работа по налаживанию наших отношений с внешними миром. Он управлял нашей перепиской. Л. Д. называл его то министром иностранных дел, то министром почт и телеграфа. Корреспонденция у нас скоро приняла огромные размеры, и главной тяжестью лежала на Леве. Он нес и охрану. Он же подбирал нужные Л. Д. материалы для его работ: рылся в книжных залежах библиотеки, добывал старые газеты, делал выписки. Он вел все переговоры с местным начальством, занимался огранизацией охоты, присматривал за охотничьей собакой и за оружием. Кроме того, он прилежно занимался сам экономической географией и языками . . .

Через несколько недель по приезде научная и политическая работа Л. Д. уже шла полным ходом. Позже Лева нашел и машинистку. ГПУ не трогало ее, но, очевидно, обязало доносить обо всем, что она у нас писала. Очень интересно было бы послушать донесения этой девицы, мало искушенной в борьбе с троцкизмом.

В Алма-Ате хорош был снег, белый, чистый, сухой: ходили и ездили мало, он сохранял всю зиму свою свежесть. Весной он сменялся красными маками. Какое множество их там было, — гигантские ковры, степь на многие километры была покрыта ими, все было красно. Летом — яблоки, знаменитый алмаатинский апорт, большой и тоже красный. Не было водопровода в городе, света, мостовых. В центре на базаре, в грязи, на ступеньках магазинов, грелись на солнце киргизы и искали на теле у себя насекомых. Царила жестокая малярия. И чума была. И в летние месяцы необыкновенное количество бешенных собак. Газеты сообщали о нередких случаях проказы в этой области... И все же лето хорошо прожили. Наняли избу у садовода в предгорьях с открытым видом на снеговые горы, отроги Тянь-Шань. Вместе с хозяином и семьей его следили за созреванием плодов и принимали деятельное участие в сборе их. Сад пережил несколько смен. Был покрыт белыми цветами. Потом деревья стояли тяжелые, с низко опущенными ветвями на подпорках. Потом плоды лежали пестрыми коврами под деревьями, на соломенных подстилках, а деревья, освободившиеся от ноши, снова подняли свои ветви. И пахло в саду зрелым яблоком, зрелой грушей, жужжали пчелы и осы. Мы варили варенье.

В июне-июле в яблоновом саду, в домике, крытом камышевыми плетнушками, кипела горячая работа, неустанно стучала пишущая машинка — небывалое явление в этих местах. Л. Д. диктовал критику программы Коминтерна, выправлял и снова давал в переписку. Почта была обильная, 10-15 писем в день, много всяких тезисов, критики, внутренней полемики, новостей из Москвы, большое количество телеграмм по вопросам политическим и о здоровьи. Большие мировые вопросы были перемешаны с местными и мелкими, которые, впрочем, тоже казались большими. Письма Сосновского были всегда на злободневные темы, с обычным его воодушевлением и

остротой. Перепечатывали замечательные письма Раковского и рассылали другим. Маленькая комнатка с низким потолком была заставлена столами, с пачками рукописей, папками, газетами, книгами, выписками, вырезками. Лева целыми днями не выходил из своей комнатушки, расположенной рядом с конюшней: печатал, поправлял напечатанное машинисткой, запечатывал, отправлял почту, принимал ее, выискивал нужные цитаты. Почту доставлял нам из города верхом на лошади инвалид. К вечеру Л. Д. поднимался нередко с ружьем и собакой в горы, иногда я его сопровождала, иногда Лева. Возвращались с перепелами, голубями, горными курочками или фазанами. Все шло хорошо до очередного приступа малярии.

Так прожили мы год в Алма-Ата, городе землетрясений и наводнений, у подножья Тянь-шанских отрогов, на границе Китая, в 250 километрах от железной дороги, в четырех тысячах от Москвы, в обществе писем, книг и природы.

Несмотря на то, что мы на каждом шагу натыкались на скрытых друзей, — об этом рассказывать еще рано, — мы внешним образом были совершенно изолированы от окружающего населения, ибо всякий пытавшийся войти в соприкосновение с нами, подвергался каре, иногда весьма суровой»...

* * *

К рассказу жены добавьте кое-какие выдержки из тогдашней переписки. 28-го февраля, вскоре после приезда, я писал нескольким ссыльным друзьям: «В виду предстоящего переезда сюда Казакстанского правительства все квартиры здесь на учете. Лишь в результате телеграмм, посылавшихся мною в Москву по самым высокопоставленным адресам, нам, наконец, после трехнедельного пребывания в гостинице, предоставили квартиру. Пришлось покупать

кое-какую мебель, восстанавливать разоренную плиту и вообще заниматься строительством, правде, во внеплановом порядке: это легло на Наталью Ивановну и на Леву. Строительство не закончено и по сей день, ибо плита не хочет нагреваться . . .

Много занимаюсь Азией: географией, экономикой, историей и прочее . . . Ужасно не хватает иностранных газет. Я уже писал кой-куда с просьбой пересылать хотя-бы и не вполне свежие газеты. Почта доходит сюда с большим запозданием и, повидимому, очень неправильно . . .

Крайне не ясна роль индийской компартии. В газетах были телеграммы о выступлениях в разных провинциях «рабоче-крестьянских партий». Самое название порождает законную тревогу. Ведь и Гоминдан был объявлен в свое время рабоче-крестьянской партией. Как бы не оказалось повторения пройденного.

Англо - американский антагонизм прорвался, наконец, серьезно наружу. Теперь и Сталин с Бухариным как будто начинают понимать, в чем дело. Наши газеты весьма упрощают, однако, вопрос, когда изображают дело так, будто англо-американский антагонизм, непрерывно обостряясь, приведет непосредственно к войне. Можно не сомневаться, что в этом процессе будет еще несколько переломов. Слишком грозной штукой явилась бы война для обоих партнеров. Они еще сделают не одно усилие для соглашения и умиротворения. Но в общем развитие гигантскими шагами идет к кровавой развязке.

Я впервые прочитал в пути памфлет Маркса «Господин Фогт». Чтобы опровергнуть дюжину клеветнических утверждений Карла Фогта, Маркс написал книгу в двести страниц убористого шрифта, собрав документы, свидетельские показания, разобрав прямые и косвенные улики . . . Что, если бы мы стали опровергать клевету сталинцев в таком же масштабе? Пришлось бы издать, пожалуй, тысячетомную энциклопедию . . .»

В апреле я делился с «посвященными» радостями и горестями по части охоты: «Отправились с сыном на реку Или, с твердым намерением использовать весенний сезон до конца. На этот раз взяли с собой палатки, кошмы, шубы и пр., чтобы не ночевать в юртах . . . Но снова выпал снег, и снова ударили морозы. Эти дни могут быть названы днями великих испытаний. Ночами морозы доходили до 8-10°. Тем не менее, мы девять суток не входили в избу. Благодаря теплому белью и обилию теплой верхней одежды, мы почти не страдали от холода. Сапоги за ночь, однако, замерзали и их приходилось оттаивать над костром, иначе они не всходили на ноги. Первые дни охота развертывалась на болоте, потом на открытом озере. У меня на кочке был устроен скрадок (шалашик), в котором я проводил 12—14 часов в сутки. Лева стоял прямо в камышах под деревьями.

Из-за дурной погоды и недружного перелета дичи, охота, как охота, была неудачна. Мы привезли свыше сорока уток и пару гусей. Тем не менее, поездка доставила мне огромное удовольствие, суть которого состоит во временном обращении в варварство: спать на открытом воздухе, есть под открытым небом баранину, изготовленную в ведре, не умываться, не раздеваться и потому не одеваться, падать с лошади в реку (единственный раз, когда пришлось раздеться под горячим полуденным солнцем), проводить почти круглые сутки на маленьком помосте среди воды и камышей — все это приходится переживать не часто. Вернулся я домой без намека на простуду. А дома простудился на второй день и пролежал неделю . . .

Иностранные газеты стали получаться сейчас из Москвы и из Астрахани, от Раковского. Сегодня получил от него письмо. Для института Маркса-Энгельса он разрабатывает тему о сен-симонизме. Кроме того, он работает над своими воспоминаниями. Кто хоть немного знает жизнь Раковского, легко представит себе, какой огромный интерес представят его мемуары».

24 мая я писал Преображенскому, который тогда уже качался из стороны в сторону: «Получив ваши тезисы, я никому о них решительно не писал ни единого слова. Третьего дня я получил из Калпашова следующую телеграмму: «предложения и оценку Преображенского решительно отвергаем. Ответьте немедленно. Смилга, Альский, Нечаев». Вчера получил телеграмму из Усть-Кулома: «Предложения Преображенского считаем неправильными. Белобородов, Валентинов». От Раковского получил вчера письмо, в котором он вас не хвалит, а свое отношение к сталинскому «левому курсу» выражает английской формулой: «жди и бди». Вчера же получил письма от Белобородова и Валентинова. Оба они крайне встревожены каким-то посланием Радека в Москву, проникнутым прокисшими настроениями. Они рвут и мечут. Если они верно передают содержание письма Радека, то я с ними солидаризируюсь полностью. Потачки импрессионистам давать не рекомендую.

Со времени возвращения с охоты, то есть с последних дней марта, сижу безвыездно и безвыходно дома, все за книгой, или с пером, примерно с 7—8 часов утра до 10-ти вечера. Собираюсь сделать перерыв на несколько дней: охоты сейчас нет, поэтому поедем с Наталией Ивановной и Сережей (он сейчас здесь) на рыбную ловлю, на реку Или. Отчет об этом будет вам представлен своевременно.

Поняли ли вы, что произошло во Франции с выборами? Я не понял пока ничего. «Правда» не дала даже цифр общего количества участников, сравнительно с прошлыми выборами, так что неизвестно, повысился ли процент коммунистов, или понизился. Я собираюсь, впрочем, проштудировать этот вопрос по иностранным газетам, и тогда напишу».

26 мая я писал Михаилу Окуджава, одному из старых грузинских большевиков: «Поскольку новый курс Сталина намечает задачи, он несомненно представляет собою попытку подойти к нашей постановке. В политике решает, однако, не только, ч т о, но и

как и кто. Основные бои, которые решат судьбу революции, еще впереди...

Мы всегда считали, и не раз это говорили, что процесс политического сползания правящей фракции нельзя себе представлять в виде непрерывно падающей кривой. И сползание происходит ведь не в безвоздушном пространстве, а в классовом обществе, с глубокими внутренними трениями. Основная партийная масса совсем не монолитна, она просто представляет собою в огромнейшей степени политическое сырье. В ней неизбежны процессы дифференциации — под давлением классовых толчков, как справа, так и слева. Те острые события, которые имели место за последний период в партии, и последствия которых мы с вами несем, являются только увертюрой к дальнейшему развитию событий. Как оперная увертюра предвосхищает музыкальные темы всей оперы и придает им сжатое выражение, так и наша политическая «увертюра» только предвосхитила те мелодии, которые в дальнейшем будут развиваться в полном объеме, то есть при участии медных труб, контрабасов, барабанов и других инструментов серьезной классовой музыки. Развитие событий с абсолютной беспорностью подтверждает, что мы были и остаемся правы не только против шатунов и сум переметных, то есть Зиновьевых, Каменевых , Пятаковых и пр., но и против дорогих друзей «слева», ультра-левых путанников, поскольку они склонны увертюру принимать за оперу, то есть считать, что все основные процессы в партии и государстве уже завершились, и что термидор, о котором они впервые услышали от нас, есть уже совершившийся факт... Не нервничать, не теребить зря себя и других, учиться, ждать, зорко глядеть и не позволять своей политической линии покрываться ржавчиной личного раздражения — вот каково должно быть наше поведение».

9-го июня умерла в Москве дочь моя и горячая единомышленница Нина. Ей было 26 лет. Муж ее был арестован незадолго до моей высылки. Она

продоложала оппозиционную работу, пока не слегла. У нее открылась скоротечная чахотка и унесла ее в несколько недель. Письмо ее ко мне из больницы шло 73 дня и пришло уже после ее смерти.

Раковский прислал мне 16-го июня телеграмму: «Вчера получил твое письмо о тяжелой болезни Нины. Телеграфировал Александре Георгиевне (жена Раковского) в Москву. Сегодня из газет узнал, что Нина окончила свой короткий жизненный и революционный путь. Целиком с тобой, дорогой друг, очень тяжело, что непреодолимое расстояние разделяет нас. Обнимаю много раз и крепко. Христиан».

Через две недели прибыло письмо Раковского:

«Дорогой друг, мне страшно больно за Ниночку, за тебя, за всех вас. Ты давно несешь тяжелый крест революционера-марксиста, но теперь, впервые испытываешь беспредельное горе отца. От всей души с тобой, скорблю, что так далеко от тебя...

«Тебе наверное рассказывал Сережа, каким абсурдным мерам подвергнуты были твои друзья, после того, как так нелепо поступили с тобой в Москве. Я явился на квартиру полчаса спустя после твоего отъезда. В гостинной группа товарищей, больше женщин, среди них Муралов. Кто здесь гражданин Раковский? услышал я голос. — Это я, что вам угодно? — Следуйте за мной! Меня отводят через корридор в маленькую комнату. Перед дверью комнаты мне было велено поднять «руки вверх». После ощупывания моих карманов меня арестовали. Освободили в пять часов. Муралов, которого подвергли той же процедуре после меня, задержали до поздней ночи... «Потеряли голову», сказал я себе и испытывал не злобу, а стыд за собственных же товарищей».

Я писал Раковскому 14 июля:

«Дорогой Христиан Георгиевич, я не писал тебе, как и другим друзьям, уже целую вечность, ограничиваясь рассылкой кое-каких материалов. После возвращения с Или, где я впервые получил весть о тя-

желом положении Нины, мы сейчас же переехали на дачу. Здесь через несколько дней уже получилась весть о смерти Нины. Ты понимаешь, что это значило... Но нужно было, не теряя времени, подготовить к VI-му конгрессу Коминтерна наши документы. Это было трудно. Но с другой стороны, необходимость выполнить эту работу во что бы то ни стало послужила как бы оттяжным пластырем и помогла пронести ношу через первые наиболее тяжкие недели.

Мы ждали сюда в течение июля приезда Зинушки (старшей дочери). Но увы, от этого пришлось отказаться. Гетье потребовал категорически, чтобы она немедленно поместилась в санаторий для туберкулезных. Процесс у нее уже давно, а уход за Нинушкой в течение тех трех месяцев, когда Нинушка была врачами уже приговорена к смерти, сильно надломил ее здоровье...

Теперь о работах к конгрессу. Я решил начать с критики проекта программы, в связи со всеми вопросами, которые противопоставляют нас официальному руководству. В результате у меня получилась книжка в 11 печатных листов. В общем, я подъитожил то, что было плодом нашей коллективной работы за последнее пятилетие, когда Ленин отошел от руководства партией, и когда воцарилось бесшабашное эпигонство, жившее сперва на проценты со старого капитала, но скоро пустившее в расход и самый капитал.

По поводу обращения к конгрессу я получил несколько десятков писем и телеграмм. Статистика голосов еще не подведена. Во всяком случае из доброй сотни голосов только три человека высказались за тезисы Преображенского...

Весьма вероятно, что блок Сталина с Бухариным-Рыковым сохранит еще на этом конгрессе видимость единства, чтобы сделать последнюю безнадежнию попытку прикрыть нас самой «окончательной» могильной плитой. Но именно это новое усилие и

неизбежная его безуспешность могут чрезвычайно ускорить процесс дифференции внутри блока, ибо на другой день после конгресса еще обнаженнее встанет вопрос: «что же дальше?» Какой ответ будет дан на этот вопрос? После упущения революционной ситуации в Германии в 1923 году мы имели, в виде компенсации, очень глубокий ультра-левый зигзаг 1924-25 годов. Ультра-левый курс Зиновьева поднялся на правых дрожжах: борьба с индустриализаторами, роман с Радичем, Лафолетом, Крестинтерн, Гоминдан и пр. Когда ультра-левизна всюду расшибла себе лоб на тех же правых дрожжах поднялся правый курс. Отнюдь не исключено расширенное воспроизведение этого на новом этапе, т. е. новая полоса ультра-левизны, опирающейся на те же оппортунистические предпосылки. Подспудные экономические силы могут, однако, оборвать эту ультра-левизну и придать курсу решительный крен направо».

В августе я писал ряду товарищей:

«Вы, конечно, обратили внимание на то, что наши газеты совершенно не дают откликов европейской и американской печати на события внутри нашей партии. Уже это одно заставляло думать, что эти отклики не подходят к потребностям «нового курса». Теперь у меня есть на этот счет уже не догадка, а в высшей степени яркое свидетельство печати. Т. Андрейчин прислал мне страницу, вырванную из февральского номера американского журнала «Нейшен» (Нация). Изложив кратко последние наши события, виднейший леводемократический журнал говорит:

«Все это выдвигает на первое место вопрос: кто представляет продолжение большевистской программы в России, и кто — неизбежную реакцию против нее. Американский читатель всегда считал, что Ленин и Троцкий представляют то же самое дело, и консервативная пресса и государственные люди пришли к тому же самому заключению. Так, нью-иоркский «Таймс» нашел главную причину для радости в

день нового года в успешном устранении Троцкого из коммунистической партии, заявляя при этом напрямик, что «изгнанная оппозиция стояла за увековечение тех идей и условий, которые отрезали Россию от западной цивилизации». Большинство больших европейских газет писали подобным же образом. Сэр Остин Чемберлен во время женевской конференции сказал, как сообщают, что Англия не может вступить в переговоры с Россией, по той простой причине, что «Троцкий еще не поставлен к стенке до сих пор». Чемберлен должен быть теперь удовлетворен изгнанием Троцкого... Во всяком случае, представители реакции в Европе единодушны в своем заключении, что Троцкий, а не Сталин, является их главным коммунистическим врагом». Достаточно красноречиво, не правда ли?...

Немного статистики из записей сына. За апрель—октябрь 1928 г. нами послано было из Алма-Ата 800 политических писем; в том числе ряд крупных работ. Отправлено было около 550 телеграмм. Получено свыше 1000 политических писем, больших и малых, и около 700 телеграмм, в большинстве коллективных. Все это, главным образом, в пределах ссылки, но из ссылки письма просачивались и в страну. Доходило к нам в самые благоприятные месяцы не больше половины корреспонденции. Сверх того из Москвы получено было 8—9 секретных почт, т. е. конспиративных материалов и писем, пересланных с нарочными; столько же отправлено нами в Москву. Секретная почта держала нас в курсе всех дел и позволяла, хоть и с значительным запозданием, откликаться на важнейшие события.

Здоровье мое к осени ухудшилось. Слухи об этом проникли в Москву. Рабочие начали ставить вопросы на собраниях. Официальные докладчики не нашли ничего лучшего, как изображать мое здоровье самыми радужными красками.

20 сентября жена отправила тогдашнему секре-

тарю московской организации Угланову следующую телеграмму:

«В своей речи на пленуме московского комитета вы говорите о мнимой болезни мужа моего Л. Д. Троцкого. По поводу беспокойства и протестов многочисленных товарищей вы возмущенно заявляете: «Вот к каким мерам прибегают!» У вас получается, что к недостойным мерам прибегают не те, которые ссылают сподвижников Ленина и обрекают их на болезни, а те, которые протестуют против этого. На каком основании и по какому праву вы сообщаете партии, трудящимся, всему миру, что сведения о болезни Л. Д. ложны? Ведь вы этим обманываете партию. В архивах ЦК имеются заключения лучших наших врачей о состоянии здоровья Л. Д. Консилиумы этих врачей собирались не раз по инициативе Владимира Ильича, который относился к здоровью Л. Д. с величайшей заботой. Эти консилиумы, созывавшиеся и после смерти В. И., установили, что у Л. Д. колит и вызванная дурным обменом веществ подагра. Вам может быть известно, что в мае 1926 г. Л. Д. подвергся в Берлине операции, чтоб избавиться от преследовавшей его в течении нескольких лет повышенной температуры, но безуспешно. Колит и подагра — не такие болезни, от которых излечиваются, особенно в Алма-Ата. С годами они прогрессируют. Поддерживать здоровье на известном уровне можно только при правильном режиме и правильном лечении. Ни того, ни другого в Альма-Ата нет. О необходимом режиме и лечении вы можете справиться у наркомздрава Семашко, который неоднократно принимал участие в консилиумах, организованных по поручению Владимира Ильича. Здесь Л. Д. сделался сверх того жертвой малярии, которая влияет, с своей стороны, и на колит и на подагру, вызывая периодами сильные головные боли. Бывают недели и месяцы более благоприятного состояния, затем они сменяются неделями и месяцами тяжелых недомоганий. Таково действительное положение вещей. Вы сослали Л. Д. по

58 статье, как «контр-революционера». Можно бы понять, если-б вы заявили, что здоровье Л. Д. вас не интересует. Вы были бы в этом случае только последовательны — той самой гибельной последовательностью, которая, если ее не остановить, сведет не только лучших революционеров, но может свести и партию и революцию в могилу. Но тут у вас, очевидно, под напором общественного мнения рабочих не хватает духу быть последовательными. Вместо того, чтобы сказать, что болезнь Троцкого есть для вас выгода, ибо она может помешать ему думать и писать, вы просто отрицаете эту болезнь. Так же поступают в своих выступлениях Калинин, Молотов и другие. Тот факт, что вам *приходится* держать по этому вопросу ответ перед массой и так недостойно изворачиваться, показывает, что политической клевете на Троцкого рабочий класс не верит. Не поверит он и вашей неправде о состоянии здоровья Л. Д.

Н. И. Седова-Троцкая».

ГЛАВА XLIV

Изгнание

С октября наступила в нашем положении резкая перемена. Наши связи с единомышленниками, друзьями, даже родными в Москве, сразу прекратились, письма и телеграммы совершенно перестали доходить. На московском телеграфе, как мы узнали особыми путями, скоплялись многие сотни адресованных мне телеграмм, особенно в день годовщины октябрьского переворота. Кольцо вокруг нас сжималось все теснее.

В течение 1928 г. оппозиция, несмотря на необузданную травлю, явно росла, особенно на крупных промышленных предприятиях. Это привело к усугублению репрессий и, в частности, к полному прекращению переписки ссыльных даже между собою. Мы

ждали, что за этим последуют дальнейшие меры того же порядка, и мы не ошиблись.

16 декабря, прибывший из Москвы специальный уполномоченный ГПУ передал мне от имени этого учреждения ультиматум: прекратить руководство борьбой оппозиции во избежание таких мер, которые должны будут меня «изолировать от политической жизни». Вопрос о высылке заграницу, при этом, не ставился — речь, насколько я понимал, шла о мерах внутреннего порядка. Я ответил на этот «ультиматум» письмом на имя ЦК партии и президиума Коминтерна. Считаю нужным привести здесь основную часть этого письма:

«Сегодня, 16 декабря, уполномоченный коллегии ГПУ Волынский предъявил мне от имени этой коллегии в устной форме нижеследующий ультиматум:

«Работа ваших единомышленников в стране — так почти дословно заявил он — приняла за последнее время явно контр-революционный характер; условия, в которые вы поставлены в Алма-Ата, дают вам полную возможность руководить этой работой; в виду этого коллегия ГПУ решила потребовать от вас категорического обязательства прекратить вашу деятельность, — иначе коллегия окажется вынужденной изменить условия вашего существования, в смысле полной изоляции вас от политической жизни, в связи с чем встанет также вопрос о перемене места вашего жительства».

Я заявил уполномоченному ГПУ, что могу дать только письменный ответ в случае получения от него письменной же формулировки ультиматума ГПУ. Отказ мой от устного ответа вызывался уверенностью, опирающейся на все прошлое, что слова мои будут снова злостно искажены для введения в заблуждение трудящихся масс СССР и всего мира.

Независимо, однако, от того, как поступит в дальнейшем коллегии ОГПУ, не играющая в этом деле самостоятельной роли, а лишь технически выполняющая старое и давно мне известное решение уз-

кой фракции Сталина, считаю необходимым довести до сведения ЦКВКП и Исполкома Коминтерна нижеследующее:

Предъявленное мне требование отказаться от политической деятельности означает требование отречения от борьбы за интересы международного пролетариата, которую я веду без перерыва тридцать два года, т. е. в течении всей своей сознательной жизни. Попытка представить эту деятельность, как «контрреволюционную», исходит от тех, которых я обвиняю пред лицом международного пролетариата в попрании основ учения Маркса и Ленина, в нарушении исторических интересов мировой революции, в разрыве с традициями и заветами Октября, в бессознательной, но тем более угрожающей подготовке Термидора.

Отказаться от политической деятельности значило бы прекратить борьбу против слепоты нынешнего руководства ВКП, которое на объективные трудности социалистического строительства громоздит все больше и больше политических затруднений, порождаемых оппортунистической неспособностью вести пролетарскую политику большого исторического масштаба;

это значило бы отречься от борьбы против удушающего партийного режима, который отражает возрастающее давление враждебных классов на пролетарский авангард;

это значило бы пассивно мириться с хозяйственной политикой оппортунизма, которая, подрывая и расшатывая устои диктатуры пролетариата, задерживая его материальный и культурный рост, наносит в то же время жестокие удары союзу рабочих и трудовых крестьян, этой основе советской власти.

Ленинское крыло партии терпит удары, начиная с 23 года, т. е. с беспримерного крушения немецкой революции. Возростающая сила этих ударов идет в ногу с дальнейшими поражениями международного и советского пролетариата в результате оппортунистического руководства.

Теоретический разум и политический опыт свидетельствуют, что период исторической отдачи, отказа, т. е. реакции, может наступить не только после буржуазной, но и после пролетарской революции. Шесть лет мы живем в СССР, в условиях нарастающей реакции против Октября и тем самым — расчистки путей для термидора. Наиболее явным и законченным выражением этой реакции внутри партии является дикая травля и организационный разгром левого крыла.

В своих последних попытках отпора открытым термидорьянцам сталинская фракция живет обломками и осколками идей оппозиции. Творчески она бессильна. Борьба налево лишает ее всякой устойчивости. Ее практическая политика не имеет стержня, фальшива, противоречива, ненадежна. Столь шумная кампания против правой опасности остается на три четверти показной и служит прежде всего для прикрытия пред массами подлинно истребительной войны против большевиков-ленинцев. Мировая буржуазия и мировой меньшевизм одинаково освящают эту войну: «историческую правоту» эти судьи давно признали на стороне Сталина.

Если бы не эта слепая, трусливая и бездарная политика приспособления к бюрократии и мещанству, положение трудящихся масс на двенадцатом году диктатуры было бы несравненно благоприятнее; военная оборона неизмеримо крепче и надежнее; Коминтерн стоял бы совсем на иной высоте, а не отступал бы шаг за шагом перед изменнической и продажной социалдемократией.

Неизлечимая слабость аппаратной реакции при ее внешнем могуществе состоит в том, что она не ведает, что творит. Она выполняет заказ враждебных классов. Не может быть большего исторического проклятия для фракции, вышедшой из революции и подрывающей ее.

Величайшая историческая сила оппозиции, при ее

внешней слабости в настоящий момент, состоит в том, что она держит руку на пульсе мирового исторического процесса, ясно видит динамику классовых сил, предвидит завтрашний день и сознательно подготовляет его. Отказаться от политической деятельности значило бы отказаться от подготовки завтрашнего дня.

Угроза изменить условия моего существования и изолировать меня от политической деятельности звучит так, как если бы я не был сослан за 4000 километров от Москвы, в 250 километрах от железной дороги и примерно на таком же расстоянии от границ пустынных западных провинций Китая, в местность, где злейшая малярия разделяет господство с проказой и чумой. Как если бы фракция Сталина, непосредственным органом которой является ГПУ, не сделала всего, что может, для изоляции меня не только от политической, но и от всякой другой жизни. Московские газеты доставляются сюда в срок от десяти дней до месяца и более. Письма доходят ко мне в виде редкого исключения, после месяца, двух и трех пребывания в ящиках ГПУ и секретариата ЦК.

Два ближайших сотрудника моих со времени гражданской войны, т. т. Сермукс и Познанский, решившиеся добровольно сопровождать меня в место ссылки, были немедленно по приезде арестованы, заточены с уголовными в подвал, затем высланы в отдаленные углы севера. От безнадежно заболевшей дочери, которую вы исключили из партии и удалили с работы, письмо ко мне шло из московской больницы 73 дня, так что ответ мой уже не застал ее в живых. Письмо о тяжком заболевании второй дочери, также исключенной вами из партии и удаленной с работы, было месяц тому назад доставлено мне из Москвы на 43-й день. Телеграфные запросы о здоровьи чаще всего не доходят по назначению. В таком же и еще худшем положении находятся тысячи безукоризненных большевиков-ленинцев, заслуги которых перед Октябрьской революцией и международным проле-

тариатом неизмеримо превосходят заслуги тех, которые их заточили или сослали.

Готовя новые все более тяжкие репрессии против оппозиции, узкая фракция Сталина, которого Ленин назвал в «Завещании» «грубым и нелойальным», когда эти качества его еще не развернулись и на сотую долю, все время пытается через посредство ГПУ подкинуть оппозиции какую либо «связь» с врагами пролетарской диктатуры. В узком кругу нынешние руководители говорят: «это нужно для массы». Иногда еще циничнее: «это — для дураков». Моего ближайшего сотрудника Георгия Васильевича Бутова, заведывавшего секретариатом Реввоенсовета Республики во все годы гражданской войны, арестовали и содержали в неслыханных условиях, вымогая от этого чистого и скромного человека и безупречного партийца подтверждение заведомо фальшивых, поддельных, подложных обвинений в духе термидорианских амальгам. Бутов ответил героической голодовкой, которая длилась около 50 дней и довела его в сентябре этого года до смерти в тюрьме. Насилия, избиения, пытки, физические и нравственные, применяются к лучшим рабочим-большевикам за их верность заветам Октября. Таковы те общие условия, которые, по словам коллегии ГПУ, «не препятствуют» ныне политической деятельности оппозиции и моей в частности.

Жалкая угроза изменить для меня эти условия в сторону дальнейшей изоляции означает ничто иное, как решение фракции Сталина заменить ссылку тюрьмой. Это решение, как сказано выше, для меня не ново. Намеченное в перспективе еще в 1924 году, оно проводится в жизнь постепенно, через ряд ступеней, чтобы исподтишка приучать придавленную и обманутую партию к сталинским методам, в которых грубая нелойальность созрела ныне до отравленного бюрократического бесчестья.

В «Заявлении», поданном VI конгрессу, мы, как бы предвидя предъявленный мне сегодня ультиматум,

писали дословно: — «Требовать от революционеров этого отказа (от политической деятельности, т. е. от служения партии и международной революции) могло бы только в конец развращенное чиновничество. Давать такого рода обязательства могли бы только презреные ренегаты».

Я не могу ничего изменить в этих словах.

Каждому свое. Вы хотите и дальше проводить внушения враждебных пролетариату классовых сил. Мы знаем наш долг. Мы выполним его до конца. Л. Троцкий. 16 декабря 1928 г., Алма-Ата».

После этого ответа прошел месяц без перемен. Связи наши с внешним миром были совершенно оборваны, в том числе и нелегальные связи с Москвой. В течение января мы получали только московские газеты. Чем больше в них писалось о борьбе против правых, тем увереннее мы ждали удара против левых. Это метод сталинской политики.

Московский посланец ГПУ Волынский оставался все время в Алма-Ата, ожидая инструкций. 20-го января он явился ко мне в сопровождении многочисленных вооруженных агентов ГПУ, занявших входы и выходы, и предъявил мне нижеследующую выписку из протокола ГПУ от 18 января 1929 г. «Слушали: Дело гражданина Троцкого, Льва Давыдовича, по ст. 58/10 Уголовного Кодекса по обвинению в контр-революционной деятельности, выразившейся в организации нелегальной анти-советской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию анти-советских выступлений и к подготовке вооруженной борьбы против советской власти. Постановили: Гражданина Троцкого, Льва Давыдовича, — выслать из пределов СССР».

Когда от меня потребовали позже расписки в ознакомлении с этим постановлением, я написал: «преступное по существу и беззаконное по форме по-

становление ГПУ мне объявлено 20 января 1929 г. Троцкий».

Я назвал постановление преступным, потому что оно заведомо ложно говорит о подготовке мною вооруженной борьбы против советской власти. Эта формула, нужная Сталину, чтоб оправдать высылку, уже сама по себе представляет наиболее злостный подкоп под советскую власть. Если бы было верно, что опозиции, руководимая организаторами октябрьской революции, строителями советской республики и красной армии, подготовляет вооруженное ниспровержение советской власти, это само по себе означало бы катастрофические положение в стране. К счастью формула ГПУ представляет собой наглое измышление. Политика оппозиции не имеет ничего общего с подготовкой вооруженной борьбы. Мы исходим полностью из убеждения в глубокой жизненности и эластичности советского режима. Наш путь есть путь внутренней реформы.

На требование сообщить, как и куда меня собираются высылать, я получил ответ, что об этом мне будет сообщено в пределах европейской России представителем ГПУ, который выедет навстречу. В течение следующего дня шла лихорадочная работа по упаковке вещей, почти исключительно рукописей и книг. Отмечу мимоходом, что со стороны агентов ГПУ не было и тени враждебности. Совсем наоборот. 22-го на рассвете мы уселись с женой, сыном и конвоем в автобус, который по гладко укатанной снежной дороге довез нас до горного перевала Курдай. На перевале были снежные заносы, сильно мело. Могучий трактор, который должен был пробуксировать нас через Курдай, сам увяз по горло в сугробах вместе с семью автомобилями, которые тащил. Во время заносов на перевале замерзло семь человек и не малое число лошадей. Пришлось перегружаться в дровни. Свыше семи часов понадобилось, чтоб оставить позади около 30 километров. Вдоль занесенного снегом пути разбросано много саней с поднятыми

вверх оглоблями, много грузу для строющейся туркестано-сибирской дороги, много баков с керосином, занесенных снегом. Люди и лошади укрылись от метелей в ближайших киргизских зимовках. За перевалом снова автомобиль, а в Пишпеке вагон железной дороги. Идущие навстречу московские газеты свидетельствуют о подготовке общественного мнения к высылке руководителей оппозиции заграницу. В районе Актюбинска нас встречает сообщение по прямому проводу, что местом высылки назначен Константинополь. Я требую свидания с двумя московскими членами семьи, вторым сыном и невесткой. Их доставляют на станцию Ряжск, где они подпадают под общий режим с нами. Новый представитель ГПУ Буланов убеждает меня в преимуществах Константинополя. Я категорически от них отказываюсь. Переговоры Буланова по прямому проводу с Москвой. Там предвидели все, кроме препятствий, возникших из моего отказа ехать добровольно заграницу. Сбитый с направления поезд наш вяло передвигается по пути, затем останавливается на глухой ветке подле мертвого полустанка и замирает там меж двух полос мелколесья. Так проходит день за днем. Число консервных жестянок вокруг поезда растет. Вороны и сороки собираются все большими стаями на поживу. Дико, глухо. Зайцев здесь нет: осенью их скосила грозная эпидемия. Зато лисица проложила свой вкрадчивый след к самому поезду. Паровоз с вагоном ежедневно уходит на крупную станцию за обедом и газетами. В вагоне у нас грипп. Мы перечитываем Анатоля Франса и курс русской истории Ключевского. Я впервые знакомлюсь с Истрати. Мороз достигает 38° по Реомюру, наш паровоз прогуливается по рельсам, чтоб не застыть. В эфире перекликаются радиостанции и спрашивают, где мы. Мы не слышим этих вопросов, мы играем в шахматы. Но если-б и услышали, все равно не сумели бы ответить: завезенные сюда ночью, мы сами не знаем, где мы.

Так проходит 12 дней и двенадцать ночей. Здесь узнали мы из газет о новом аресте нескольких сот человек, в том числе 150 человек так называемого «троцкистского центра». Опубликованы имена Кавтарадзе, бывшего председателя совнаркома Грузии, Мдивани, бывшего торгпреда СССР в Париже, Воронского, лучшего нашего литературного критика, и других. Все это — коренные деятели партии, организаторы октябрьского переворота.

8 февраля Буланов заявляет: несмотря на все настояние со стороны Москвы, немецкое правительство категорически отказалось допустить вас в Германию; мне дан окончательно приказ доставить вас в Константинополь. — Но я добровольно не поеду и заявлю об этом на турецкой границе. — Это не изменит дела, вы все равно будете доставлены в Турцию. — Значит у вас сделка с турецкой полицией о принудительном вселении меня в Турции? Уклончивый жест: мы только исполнители.

После двенадцати суток стоянки вагон приходит в движение. Наш маленький поезд возрастает, так как возрастает конвой. Из вагона мы не имеем возможности выходить во все время пути, начиная с Пишпека. Едем теперь на всех парах на юг. Останавливаемся только на мелких станциях, чтоб набрать воды и топлива. Эти крайние меры предосторожности вызваны памятью о московской демонстрации по поводу моей высылки в январе 1928 года. Газеты в пути приносят нам отголоски новой большой кампании против троцкистов. Между строк сквозит борьба на верхах вокруг вопроса о моей высылке. Сталинская фракция спешит. У нее для этого достаточно оснований. Ей приходится преодолевать не только политические, но и физические препятствия. Для отправки из Одессы назначен пароход «Калинин». Но он замерз во льдах. Все усилия ледоколов оказались тщетны. Москва стояла у телеграфного провода и торопила. Срочно развели пары на пароходе «Ильич». В Одессу наш поезд прибыл 10-го ночью. Я глядел

через окно на знакомые места: в этом городе я провел семь лет своей ученической жизни. Наш вагон подали к самому пароходу. Стоял лютый мороз. Несмотря на глубокую ночь, пристань была оцеплена агентами и войсками ГПУ. Здесь предстояло проститься с младшим сыном и невесткой, разделявшими наше заточение в течение двух последних недель. Мы глядели в окно вагона на предназначенный для нас пароход, и вспоминали другой пароход, который тоже отвозил нас не по назначению. Это было в марте 1917 года, под Галифаксом, когда британские военные моряки на глазах многочисленных пассажиров снесли меня на руках с норвежского парохода «Христианиафиорд». Мы находились тогда в том же семейном составе, только все были моложе на 12 лет.

«Ильич» без груза и без пассажиров отчалил около часу ночи. На протяжении 60 миль нам прокладывал дорогу ледокол. Свирепствовавший здесь шторм лишь слегка захватил нас последним ударом крыла. 12-го февраля мы вошли в Босфор. Турецкому полицейскому офицеру, который явился в Биюк-Дере на пароход для проверки пассажиров, — кроме моей семьи и агентов ГПУ на пароходе пассажиров не было, — я вручил для пересылки президенту турецкой республики Кемаль-Паша следующее заявление:

«Милостивый Государь. У ворот Константинополя я имею честь известить Вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору и что перейти эту границу я могу лишь подчиняясь насилию.

Соблаговолите, господин президент, принять соответственные мои чувства. Л. Троцкий. 12 февраля 1929 г.».

Последствий это заявление не имело. Пароход проследовал дальше на рейд. После 22-х дневного пути, покрыв расстояние в 6 000 километров, мы оказались в Константинополе.

ГЛАВА XLV

Планета без визы

Мы — в Константинополе, сперва в здании консульства, затем на частной квартире. Несколько строк из записей жены, относящихся к этому первому периоду: «Не стоит, пожалуй, останавливаться на мелких приключениях, связанных с нашим поселением в Константинополе: мелких обманах и мелких насилиях. Отмечу только один эпизод. Еще в поезде, по пути в Одессу, когда уполномоченный ГПУ Буланов излагал всякого рода соображения (совершенно бесполезные) насчет того, как обеспечить безопасность заграницей, Л. Д. прервал его словами: «да вы отпустите со мной моих сотрудников, Сермукса и Познанского, — это единственная хоть сколько-нибудь действительная мера». Буланов немедленно передал эти слова в Москву. На одной из следующих станций он торжественно принес ответ, полученный по прямому проводу: ГПУ, т. е. политбюро, согласно. Л. Д. сказал ему смеясь: «все равно обманете». Буланов, повидимому, искренне задетый, воскликнул: «тогда вы назовете меня негодяем!» — «Зачем мне вас обижать, ответил Л. Д., — обманете не вы, обманет Сталин». По приезде в Константинополь Л. Д. запросил о Сермуксе и Познанском. Представитель консульства через несколько дней принес телеграфный ответ Москвы: они не будут отпущены. В таком же роде было и все остальное».

То, что обрушилось на нас сразу по приезде в Константинвополь через газеты, это бесконечная цепь слухов, предположений и вымыслов о нашей судьбе. Печать не терпит пробелов в своей информации и работает, не скупясь. Чтобы проросло семя, природа бросает на ветер множество семян. Так же поступает и пресса. Она подхватывает и разносит слухи, умножая их без конца. Сотни и тысячи сообщений отмирают, пока достоверная версия не укрепится. Иногда

это происходит лишь через ряд лет. Но бывает и так, что для правды время вообще не наступает.

Что поражает во всех тех случаях, когда общественное мнение захвачено за живое, так это человеческая лживость. Я говорю об этом без какого-либо морального негодования, скорее тоном естествоиспытателя, который констатирует факт. Потребность во лжи, как и привычка к ней отражает противоречия нашей жизни. Можно сказать, что газеты говорят правду скорее в виде исключения. Этим я вовсе не хочу обижать журналистов. Они не очень отличаются от других людей. Они являются их рупором.

Золя писал о французской финансовой печати, что она делится на две группы: продажную и так называемую «неподкупную», т. е. такую, которая продает себя в исключительных случаях и по очень дорогой цене. Нечто подобное можно сказать о лживости газет вообще. Желтая уличная печать лжет походя, не задумываясь и не оглядываясь. Газеты, как «Times» или «Temps» говорят во всех безразличных и маловажных обстоятельствах правду, чтобы иметь возможность в нужных случаях обмануть общественное мнение со всем необходимым авторитетом.

«Таймс» печатал позже сообщения о том, что я выехал в Константинополь по соглашению со Сталиным, чтобы подготовлять здесь военный захват стран Ближнего Востока. Шестилетняя борьба между мною и эпигонами изображалась, как простая комедия с заранее распределенными ролями. «Кто поверит этому?» спросит иной оптимист, — и ошибется. Многие поверят. Черчилль может быть и не поверит своей газете. Но Клайнс непременно поверит, на половину, по крайней мере. Вот в этом и состоит механизм капиталистической демократии, вернее сказать, в этом одна из наиболее существенных ее пружин. Однако, это лишь мимоходом. О Клайнсе речь впереди.

Вскоре по прибытии в Константинополь я прочитал в одной из берлинских газет речь поезидента

рейхстага, сказанную им по поводу десятилетия веймарского национального собрания. Речь кончалась следующими словами: «Vielleicht kommen wir sogar dazu, Herrn Trotsky das freiheitliche Asyl zu geben (Lebh. Beifall bei der Mehrheit).» Слова г. Лебе были для меня полной неожиданностью, так как все предшествовавшее давало основание думать, что германское правительство решило вопрос о моем въезде в Германию отрицательно. Таково было, во всяком случае категорическое утверждение агентов советского правительства. Я вызвал 15 февраля представителя ГПУ, сопровождавшего меня в Константинополь, и сказал ему: «Я должен сделать тот вывод, что меня ложно информировали. Речь Лебе произнесена 6 февраля. Из Одессы мы выехали с вами в Турцию только ночью 10 февраля. Следовательно речь Лебе была в это время известна в Москве. Я вам рекомендую телеграфировать немедленно в Москву и предложить им на основании речи Лебе действительно обратиться в Берлин с просьбой о визе для меня. Это будет наименее постыдный путь для ликвидации той интриги, которую Сталин видимо соорудил вокруг вопроса о моем допущении в Германию». Через два дня уполномоченный ГПУ принес мне следующий ответ: «На мою телеграмму в Москву мне только подтвердили, что германское правительство категорически отказало в визе еще в начале февраля; новое обращение не имеет никакого смысла; речь Лебе носит безответственный характер. Если желаете проверить, обратитесь сами с просьбой о визе».

Этому изложению я не мог поверить. Я считал, что президент рейхстага должен лучше знать намерения своей партии и своего правительства, чем агенты ГПУ. В тот же день я дал телеграмму Лебе о том, что, на основании его слов, я обратился в германское консульство с просьбой о визе. Демократическая и социалдемократическая пресса не без злорадства выставляла на вид то обстоятельство, что

стороннику революционной диктатуры приходится искать убежища в демократической стране. Некоторые выражали даже надежду на то, что этот урок научит меня более высоко ценить учреждения демократии. Мне оставалось только выждать, как сложится урок на деле.

Демократическое право убежища состоит не в том, разумеется, что правительство оказывает гостеприимство своим единомышленникам — это делал и султан Абдул-Гамид. Также и не в том, что демократия впускает изгнанников лишь с разрешения того правительства, которое их изгнало. Право убежища (на бумаге) состоит в том, что правительство дает приют и своим противникам под условием соблюдения законов страны. Я мог въехать в Германию, разумеется, только как непримиримый противник социалдемократического правительства. Константинопольскому представителю германской социалдемократической печати, который явился ко мне за интервью, я дал необходимые разъяснения, которые привожу здесь в таком виде, в каком записал их немедленно после беседы:

«Так как я ходатайствую сейчас о допущении меня в Германию, где большинство правительства состоит из социалдемократов, то я прежде всего заинтересован в ясном определении своего отношения к социалдемократии. В этой области ничто не изменилось. Мое отношение к социалдемократии остается прежним. Более того, моя борьба с центристской фракцией Сталина есть лишь отражение моей общей борьбы с социалдемократией. Неясность или недомолвки не нужны ни мне, ни вам.

«Некоторые социалдемократические издания пытаются найти противоречие между моей принципиальной позицией в вопросе о демократии и моим ходатайством о допущении меня в Германию. Здесь нет никакого противоречия. Мы вовсе не «отрицаем» демократию, как «отрицают» ее анархисты (на словах). Буржуазная демократия имеет преимущества

по сравнению с предшествующими ей государственными формами. Но она не вечна. Она должна уступить свое место социалистическому обществу. Мостом к социалистическому обществу является диктатура пролетариата.

«Коммунисты во всех капиталистических странах участвуют в парламентской борьбе. Использование права убежища принципиально ничем не отличается от использования избирательного права, свободы печати, собраний и пр.»

Насколько знаю, это интервью не было опубликовано. Удивительного в этом нет ничего. В социалдемократической печати раздавались тем временем голоса о необходимости предоставить мне право убежища. Один из социалдемократических адвокатов д-р К. Розенфельд взял на себя, по собственной инициативе, хлопоты по обеспечению мне права въезда в Германию. Он, однако, сразу натолкнулся на сопротивление, так как через несколько дней я получил от него телеграфный запрос о том, каким ограничениям я согласен подвергнуться во время своего пребывания в Германии. Я ответил: «Намерен жить совершенно изолированно, вне Берлина, ни в каком случае не выступать на публичных собраниях; ограничиваться писательской деятельностью в рамках немецких законов».

Таким образом, речь шла уже не о демократическом праве убежища, а о праве проживания в Германии на исключительном положении. Урок демократии, который мне собирались преподнесть противники, получил сразу ограничительное истолкование. Но дело на этом не остановилось. Через несколько дней я получил новый телеграфный запор: не согласен ли я приехать в Германию только для целей лечения? В ответ я телеграфировал: «Прошу, по крайней мере, предоставить мне возможность провести абсолютно необходимый мне лечебный сезон в Германии».

Таким образом, право убежища на этом этапе сжималось до права лечения. Я назвал ряд известных немецких врачей, которые лечили меня в течение последних десяти лет, и помощь которых мне сейчас необходима более, чем когда либо.

Ко времени пасхальных праздников в немецкую печать проникла новая нота: в правительственных кругах считают-де, что Троцкий все же не так болен, чтобы безусловно нуждаться в лечебной помощи немецких врачей и немецких курортов. 31-го марта я телеграфировал д-ру Розенфельду:

«Согласно газетным сообщениям я недостаточно безнадежно болен, чтобы получить возможность доступа в Германию. Я спрашиваю: предлагал ли мне Лебе право убежища, или право кладбища? Я согласен подвергнуться любому испытанию любой врачебной комиссии. Обязуюсь после завершения лечебного сезона покинуть Германию».

Таким образом, в течении нескольких недель демократический принцип подвергся трехкратному усечению. Право убежища превратилось сперва в право проживания на исключительном положении; затем — в право лечения; наконец — в право кладбища. Но это значило, что оценить преимущества демократии в их полном объеме я мог бы уже только в качестве покойника.

Ответа на мою телеграмму не было. Выждав несколько дней, я снова телеграфировал в Берлин: «Рассматриваю отсутствие ответа, как нелойальную форму отказа».

Только после этого я получил 12-го апреля, т. е. по истечении 2-х месяцев, извещание о том, что германское правительство отклонило мое ходатайство о праве въезда. Мне не оставалось ничего другого, как телеграфировать президенту рейхстага Лебе: «Сожалею, что не получил возможности обучиться на практике преимуществам демократического права убежища. Троцкий».

Такова краткая и поучительная история этой первой моей попытки найти в Европе «демократическую» визу.

Разумеется, если бы мне было предоставлено право убежища, это само по себе ни в малейшей мере не означало бы ниспровержения марксистской теории классового государства. Режим демократии, вытекающий не из самодовлеющих принципов, а из реальных потребностей господствующего класса, в силу внутренней своей логики включает в себя и право убежища. Предоставление приюта пролетарскому революционеру нисколько не противоречит буржуазному характеру демократии. Но сейчас нет надобности в этой аргументации, так как никакого права убежища в Германии, руководимой социалдемократами, не оказалось.

Сталин через ГПУ предлагал мне 16-го декабря отказаться от политической деятельности. Такое же условие было выдвинуто с немецкой стороны, как само собою разумеющееся, во время обсуждения в печати вопроса о праве убежища. Это значит, что правительство Мюллера - Штреземана считает опасными и вредными те самые идеи, против которых борятся Сталин и его Тельманы. Сталин дипломатически, а Тельманы агитаторски требовали от социалдемократического правительства не впускать меня в Германию — надо думать во имя интересов пролетарской революции. С другого фланга Чемберлен, граф Вестарп и им подобные требовали, чтоб мне отказали в визе — в интересах капиталистического порядка. Герман Мюллер мог, таким образом, одновременно доставить необходимое удовлетворение своим партнерам справа и своим союзникам слева. Социалдемократическое правительство стало соединительным звеном единого международного фронта против революционного марксизма. Чтобы найти образ этого единого фронта, достаточно обратиться к первым строкам коммунистического манифеста Маркса и Энгельса: «для священной травли этого призрака (ком-

мунизма) соединились все силы старой Европы, — папа и царь, Метерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». Имена другие, но суть та же. То, что немецкими полицейскими являются сегодня социалдемократы, меньше всего меняет дело. Они охраняют по сути то же самое, что охраняли полицейские Гогенцоллерна.

Разнообразие причин, по которым демократии отказывают в визе, очень велико. Норвежское правительство исходит, видите ли, исключительно из соображений о моей безопасности. Я никогда не думал, что имею в Осло заботливых друзей на столь ответственных постах. Норвежское правительство стоит, разумеется, целиком за право убежища, совершенно также, как и германское, французское, английское и все другие. Право убежища есть, как известно, священный и незыблемый принцип. Но изгнанник должен предварительно представить в Осло свидетельство о том, что он не будет никем убит. Тогда ему будет оказано гостеприимство... если, разумеется, не найдется других препятствий.

Двукратные прения стортинга по поводу моей визы представляют собою ни с чем несравнимый политический документ. Чтение его, по крайней мере, на половину вознаградило меня за отказ в визе, которой добивались для меня в Норвегии мои друзья.

Норвежский премьер, по вопросу о моей визе беседовал, разумеется, прежде всего с начальником сыска, компетентность которого в демократических принципах — признаю это заранее — неоспорима. Начальник сыска, по рассказу господина Мовинкеля, выдвинул то соображение, что разумнее всего предоставить врагам Троцкого расправиться с ним не на территории норвежского государства. Выражено это было менее точно, но мысль была именно такова. Министр юстиции, со своей стороны, разъяснял норвежскому парламенту, что охрана Троцкого легла бы слишком большой тяжестью на норвежский бюджет. Принцип государственной экономии, тоже один из бесспорных

демократических принципов, оказался на сей раз в непримиримом противоречии с правом убежища. Вывод во всяком случае получился тот, что наименьше шансов на убежище имеет тот, кто больше всего в нем нуждается.

Значительно остроумнее поступило французское правительство: оно просто сослалось на то, что приказ Мальви о высылке меня из Франции не отменен. Совершенно непреодолимое препятствие на пути демократии! Я рассказал выше, как после этой высылки и несмотря на неотмененный приказ Мальви, французское правительство предоставило в мое распоряжение своих офицеров, как меня посещали французские депутаты, послы и один из министров-президентов. Но эти явления разыгрывались, очевидно, в двух непересекающихся плоскостях. А сейчас положение таково: убежище во Франции мне было бы предоставлено наверняка, если бы в архивах полиции не имелось приказа о моей высылке из Франции по требованию царской дипломатии. Известно, что полицейской приказ это нечто вроде полярной звезды: ни упразднить, ни переместит ее нет никакой возможности.

Так или иначе, но право убежища оказывается изгнанным и из Франции. Где же та страна, в которой это право нашло свое... убежище? Не Англия ли?

5-го июня 1929 г., Независимая рабочая партия, членом которой состоит Макдональд, официально и по собственной инициативе пригласила меня в Англию для доклада в партийной школе. Приглашение, подписанное генеральным секретарем партии, гласило: «с образованием здесь рабочего правительства мы не можем предполагать, чтоб возникли какие-либо затруднения в отношении вашего приезда в Великобританию с этой целью». Тем не менее, затруднения возникли. Мне не было дано не только выступить с докладом перед единомышленниками Макдональда,

но и воспользоваться помощью английских врачей. Мне было начисто отказано в визе. Клайнс, лайбористский министр полиции, защищал этот отказ в палате. Он разъяснил философскую сущность демократии с такой непосредственностью, которая сделала бы честь любому министру Карла II-го. Право убежища, по Клайнсу, состоит не в праве изгнанника требовать убежища, а в праве государства отказывать в таковом. Определение Клайнса замечательно в том отношении, что оно единым взмахом ликвидирует самые основы так называемой демократии. Право убежища в духе Клайнса всегда существовало в царской России. Когда персидскому шаху не удалось перевешать революционеров и пришлось покинуть пределы дорогого отечества, Николай II не только предоставил ему право убежища, но и довольно комфортабельно обставил его в Одессе. Но никому из ирландских революционеров не приходило в голову искать убежища в царской России, конституция которой целиком исчерпывалась принципом Клайнса: граждане должны довольствоваться тем, что им дает или что у них отнимает государственная власть. Муссолини предоставил недавно афганскому падишаху право убежища в точном соответствии с этим самым принципом.

Благочестивый мистер Клайнс должен был бы, по крайней мере, знать, что демократия унаследовала в некотором смысле право убежища от христианской церкви, которая, правда, в свою очередь, унаследовала его, вместе со многим другим, от язычества. Преследуемым преступникам достаточно бывало проникнуть внутрь храма, иногда только дотронуться до дверного кольца, и они уже оказывались огражденными от преследований. Таким образом, право убежища понималось церковью, именно как право преследуемого на убежище, а не как произвол языческих священников и христианских жрецов. До сих пор я думал, что благочестивые лайбористы, мало сведущие в социализме, должны быть по крайней мере боль-

шими знатоками церковных традиций. Сейчас убеждаюсь, что и этого нет.

Почему, однако, Клайнс останавливается на первых строках своей теории государственного права? Напрасно. Право убежища есть лишь составная часть системы демократии. Ни по историческому происхождению, ни по юридической природе, оно не отличается от свободы слова, собраний и проч. Мистер Клайнс, надо надеяться, прийдет вскоре к тому выводу, что свобода слова означает не право граждан высказывать те или иные мысли, а право государства запрещать своим подданным иметь таковые. В отношении свободы стачек этот вывод уже фактически сделан британским законодательством.

Беда Клайнса в том, что ему пришлось объяснять свои действия вслух, так как в составе лайбористской фракции парламента нашлись депутаты, поставившие министру, хотя и почтительные, но все же неудобные вопросы. В том же неприятном положении оказался и норвежский премьер. Немецкое министерство было избавлено от такого неудобства. В рейхстаге не нашлось ни одного депутата, который поинтересовался бы вопросом о праве убежища. Этот факт приобретает особенно знаменательный характер, если вспомнить, что председатель райхстага, при аплодисментах большинства, обещал предоставить мне право убежища, когда я об этом еще не просил.

Октябрьская революция не провозглашала абстрактных принципов демократии, в том числе и права убежища. Советское государство открыто основывалось на праве революционной диктатуры. Это не помешало Вандервельде, как и другим социалдемократам, приезжать в Советскую республику и даже выступать в Москве в роли защитников тех лиц, которые совершали террористические покушения на руководителей Октябрьской революции.

Приезжали к нам и нынешние британские министры. Я не могу припомнить всех приезжавших, —

справок под руками у меня нет, — но помню, что в числе их находились Сноуден и миссис Сноуден. Это было, должно быть, в 1920 г. Их принимали не просто, как туристов, а даже, как гостей, что, пожалуй, было уже излишним. В Большом театре им отводили ложу. Вспоминаю это в связи с маленьким эпизодом, который не мешает сейчас рассказать. Я прибыл в Москву с фронта и мыслью был очень далек от британских гостей, не знал даже, кто такие эти гости, так как почти не читал газет, — слишком был поглощен другими заботами. Во главе комиссии, принимавшей Сноудена, миссис Сноуден, кажется Бертран Ресселя, кажется Вильямса и еще ряда других, стоял Лозовский. По телефону он сообщил мне, что комиссия требует моего появления в театре, где находятся английские гости. Я пытался уклониться, но Лозовский настаивал на том, что его комиссия имеет все полномочия от политбюро, и что я должен другим подавать пример дисциплины. Скрепя сердце, я отправился. В ложе было около десятка британских гостей. Театр был битком набит. На фронте у нас были победы. Театр бурно рукоплескал победам. Британские гости окружили меня и тоже рукоплескали. Среди них был мистер Сноуден. Сейчас он, конечно, стесняется этого приключения. Но вычеркнуть его нельзя. А между тем и я рад бы был вычеркнуть его, ибо «братание» мое с лайбористами было не только недоразумением, но и политической ошибкой. Отделавшись, как можно скорее от гостей, я отправился к Ленину. Он был возбужден: верно-ли, что вы с этими господами (Ленин употребил другое слово) показывались в ложе? Я сослался на Лозовского, на комиссию ЦК, на дисциплину, а главное на то, что не имел никакого понятия о том, кто таковы гости. Ленин был возмущен Лозовским и всей вообще комиссией беспредельно, а я долго не мог простить себе своей неосторожности.

Один из нынешних английских министров приезжал в Москву, кажется, несколько раз, во всяком слу-

чае, отдыхал в Советской республике, жил на Кавказе, и посещал меня. Это мистер Ленсбери. Последний раз я виделся с ним в Кисловодские. Меня настойчиво просили заехать хоть на четверть часа в Дом отдыха, где жили члены нашей партии и несколько иностранцев. За большим столом сидело несколько десятков человек. Это было нечто вроде скромного банкета. Первое место принадлежало гостю, Ленсбери. Гость провозгласил после моего прибытия спич, а затем пел: «For he's a jolly good fellow». Вот какие чувства выражал мистер Ленсбери по моему адресу на Кавказе. Он тоже, вероятно, не прочь был бы сегодня позабыть об этом...

Должен сказать, что, возбудив ходатайство о визе, я особыми телеграммами напомнил и Сноудену и Ленсбери о том, что они пользовались советским, в том числе и моим гостеприимством. Телеграммы мои вряд ли оказали на них большое действие. Воспоминания в политике имеют такой же малый вес, как и демократические принципы.

Мистер Сидней Вэб и миссис Беатрисса Вэб любезнейшим образом нанесли мне визит совсем недавно, в начале мая 1929 г., уже на Принкипо. Мы говорили о вероятности прихода к власти рабочей партии. Я заметил мимоходом, что немедленно же после образования правительства Макдональда, потребую визу. Мистер Вэб высказался в том смысле, что правительство может оказаться недостаточно сильным и, вследствие зависимости своей от либералов, недостаточно свободным. Я ответил, что партия, которая недостаточно сильна, чтоб отвечать за свои действия, не имеет права брать власть. Наши непримиримые разногласия, впрочем, не нуждались в новой проверке. Вэб оказался у власти. Я протребовал визу. Правительство Макдональда отказало мне в ней, но вовсе не потому, что либералы помешали ему проявить свой демократизм. Наоборот. Лайбористское правительство отказало в визе несмотря на

протесты либералов. Этого варианта мистер Вэб не предвидел. Надо, впрочем, отметить, что он тогда еще не был бароном Пасфильдом.

Некоторых из этих людей я знаю лично. О других могу судить по аналогии. Мне кажется, что я себе довольно правильно представляю их. Эти люди подняты автоматическим ростом рабочих организаций, особенно после войны, и политическим истощением либерализма. Они полностью утратили тот наивный идеализм, который был у некоторых из них 25—30 лет тому назад. Взамен этого, у них прибавилось политической рутины и неразборчивости в средствах. Но по своему кругозору они остались тем, чем были: робкими, мелкими буржуа, методы мышления которых отстали неизмеримо больше, чем производственные методы британской угольной промышленности. Сегодня они больше всего боятся, что придворная знать и крупные капиталисты не захотят их брать в серьез. И не мудренно: придя к власти, они слишком непосредственно чувствуют свою слабость. У них нет и не может быть тех качеств, какие есть у старых правительственных клик, где традиции и навыки господства, передаваясь из поколения в поколение, заменяют нередко и ум и дарование. Но у них нет и того, что могло бы составить их настоящую силу, т. е. веры в массы и способности стоять на собственных ногах. Они боятся масс, которые подняли их на высоту, как они боятся консервативных клубов, которые поражают их бедное воображение своим величием. Чтоб оправдать свой приход к власти, им необходимо показать старым господствующим классам, что они не какие-нибудь революционные выскочки — боже упаси, — нет, они вполне заслуживают доверия, они преданы церкви, королю, палате лордов, титулам, т. е. не только священной частной собственности, но и всему мусору средних веков. Отказ революционеру в визе — для них в сущности счастливый случай еще раз обнаружить свою респектабельность. Я очень рад, что доставил им этот слу-

чай. В свое время и это учтется. В политике, как и в природе, ничто не пропадает даром...

Не нужно много воображения, чтоб представить себе объяснение мистера Клайнса с подчиненным ему шефом политической полиции. Во время этой беседы Клайнс чувствует себя, как на экзамене, и боится показаться экзаменатору недостаточно твердым, государственным, консервативным. Шефу политической полиции не нужно при этом большой изобретательности, чтоб подсказать Клайнсу то решение, какое встретит завтра полное сочувствие консервативной прессы. Но консервативная пресса не просто хвалит. Она хвалит убийственно. Она издевается. Она не дает себе труда скрывать свое пренебрежение к людям, которые так униженно ищут ее одобрения. Никто не скажет, например, что «Дэйли Экспресс» принадлежит к самым умным учреждениям в мире. И тем не менее, эта газета находит очень ядовитые слова, когда одобряет лэйбористское правительство за то, что оно так заботливо оградило «обидчивого Макдональда» от присутствия революционного наблюдателя за спиною.

И эти люди призваны положить основание новому человеческому обществу? Нет, они составляют только предпоследний рессурс старого общества. Я говорю о предпоследнем, потому что последним является материальная репрессия.

Не могу не признать, что перекличка западноевропейских демократий, произведенная по вопросу о праве убежища, доставила мне, сверх всего прочего, немало веселых минут. Иногда казалось, что присутствуешь на «пан-европейской» инсценировке одноактной комедии, на тему о принципах демократии. Текст мог бы быть написан Бернардом Шоу, если-б к фабианской жидкости, которая течет в его жилах, подлить хоть пять процентов крови Джонатана Свифта. Но кто бы ни составлял текст, пьеса остается на редкость поучительной: Европа без визы. Об Америке нечего и говорить. Соединен-

ные Штаты не только самая сильная, но и самая перепуганная страна. Недавно Гувер объяснял свою страсть к рыбной ловле демократическим характером этого занятия. Если это и так, — в чем сомневаюсь, — то это во всяком случае один из немногих пережитков демократии, которые еще остаются в Соединенных Штатах. Права убежища там нет давно. Европа и Америка без визы. Но эти два континента владеют тремя остальными. Это значит — планета без визы.

Мне с разных сторон объясняют, что мое неверие в демократию есть основной моей грех. Сколько на эту тему написано статей и даже книг. А когда я прошу, чтоб мне дали небольшой предметный урок демократии, охотников не обнаруживается. Планета оказывается без визы. Почему же я должен верить, что неизмеримо больший вопрос — тяжба между имущими и неимущими — будет разрешен со строгим соблюдением форм и обрядностей демократии?

* * *

А разве же революционная диктатура дала те результаты, какие от нее ожидались? слышу я вопрос. Ответить на него можно только учетом опыта октябрьской революции и попыткой наметить дальнейшие ее перспективы. Для такой работы не место на страницах автобиография. Я постараюсь дать этот ответ в особой книге, над которой я работал уже во время пребывания в Центральной Азии. Но я не могу закончить эту повесть о своей жизни, не сказав, хотя бы на нескольких десятках строк, почему я полностью и целиком остаюсь на прежнем пути.

То, что произошло на памяти моего поколения, ныне достигшего зрелости или приближающегося к старости, может быть схематически изображено так. В течении нескольких десятилетий — конец прошлого века, начало нынешнего — европейское население су-

рово дисциплинировалось индустрией. Все стороны общественного воспитания были подчинены принципу производительности труда. Это дало величайшие результаты и как-будто открыло перед людьми новые возможности. Но на самом деле это привело лишь к войне. Правда, через посредство войны человечество убедилось в том, что оно совсем не вырождается, наперекор карканью малокровной философии, наоборот, полно жизни, сил, мужества и предприимчивости. Через посредство той же войны он с небывалой ранее силой убедилось в своем техническом могуществе. Вышло так, как если бы человек, для того, чтоб увериться, что у него дыхательные и глотательные пути в порядке, стал бы перед зеркалом резать себе горло бритвой.

После окончания операций 1914—18 годов было объявлено, что отныне высшим нравственным долгом является залечивание тех ран, нанесение которых объявлялось высшим нравственным долгом в предшествующие четыре года. Трудолюбие и бережливость снова были не только восстановлены в правах, но взяты в стальной корсет рационализации. Так называемым «восстановлением» руководят те самые классы, партии и даже лица, которые руководили разрушением. Там, где произошла смена политического режима, как в Германии, восстановлением руководят на первых ролях те, которые разрушением руководили на вторых и третьих ролях. В этом, собственно, и состоит вся перемена.

Война снесла целое поколение, как бы для того, чтоб создать перерыв в памяти народов, и чтоб не дать новому поколению слишком непосредственно заметить, что в сущности оно занимается повторением пройденного, только на более высокой исторической ступени и следовательно с еще более угрожающими последствиями.

Рабочий класс России, под руководством большевиков, сделал попытку перестроить жизнь так, чтобы исключить возможность периодических буйных

помешательств человечества и заложить основы более высокой культуры. В этом смысл Октябрьской революции. Разумеется, задача, поставленная ею, не разрешена; но эта задача по самому существу рассчитана на ряд десятилетий. Более того, Октябрьскую революцию нужно брать, как исходную точку новейшей истории человечества в целом.

К исходу тридцатилетней войны, немецкая реформация должна была представляться делом людей, вырвавшихся из сумасшедших домов. До известной степени так это и было: европейское человечество вырвалось из средневекового монастыря. Современная Германия, Англия, Соединенные Штаты, да и все вообще человечество, не были бы, однако, возможны без реформации с неисчислимыми жертвами, которые она породила. Если вообще жертвы допустимы, — хотя у кого спрашивать разрешения? — то это именно те, которые движут человечество вперед.

Тоже надо сказать и о французской революции. Узкий реакционер и педант Тэн воображал, что делает, бог весть, какое глубокое открытие, устанавливая, что через несколько лет после обезглавления Людовика XVI, французской народ был беднее и несчастнее, чем при старом режиме. В том то и дело, что такие события, как великая французская революция, нельзя рассматривать в масштабе «нескольких лет». Без великой революции была бы невозможна вся новая Франция, и сам Тэн оставался бы клерком у одного из откупщиков старого режима, вместо того, чтобы чернить революцию, открывшую перед ним новую карьеру.

Еще большей исторической дистанции требует Октябрьская революция. Уличать ее в том, что в течение 12 лет она не дала всеобщего умиротворения и благополучия, могут только безнадежные тупицы. Если брать масштабы немецкой реформации и французской революции, которые были двумя этапами в развитии буржуазного общества на расстоянии почти трех столетий друг от друга, то придется выразить

удивление по поводу того, что отсталая и одинокая Россия, через 12 лет после переворота, обеспечила народным массам уровень жизни не ниже того, который был накануне войны. Уж это одно является в своем роде чудом. Но, конечно, значение Октябрьской революции не в этом. Она есть опыт нового общественного режима. Этот опыт будет видоизменяться, переделываться заново, возможно, что с самых основ. Он получит совсем иной характер на фундаменте новейшей техники. Но через ряд десятилетий, а затем и столетий, новый общественный режим будет оглядываться на октябрьскую революцию так же, как буржуазный режим оглядывается на немецкую реформацию или французскую революцию. Это так ясно, так неоспоримо, так незыблемо, что даже профессора истории поймут это, правда, лишь через изрядное количество лет.

Ну, а как же насчет вашей личной судьбы? слышу я вопрос, в котором любопытство сочетается с иронией. Тут я немного могу прибавить к тому, что уже сказано в этой книге. Я не меряю исторического процесса метром личной судьбы. Наоборот, свою личную судьбу я не только объективно оцениваю, но и субъективно переживаю в неразрывной связи с ходом общественного развития.

Со времени моей высылки я не раз читал в газетах размышления на тему о «трагедии», которая постигла меня. Я не знаю личной трагедии. Я знаю смену двух глав революции, Одна американская газета, напечатавшая мою статью, сделала к ней глубокомысленное примечание в том смысле, что, несмотря на понесенные автором удары, он сохранил, как видно из статьи, ясность рассудка. Я могу только удивляться филистерской попытке установить связь между силой сужденья и правительственным постом, между душевным равновесием и коньюнктурой дня. Я такой зависимости не знал и не знаю. В тюрьме с книгой или пером в руках я переживал такие же часы высшего удовлетворения, как и на мас-

совых собраниях революции. Механика власти ощущалась мною скорее, как неизбежная обуза, чем как духовное удовлетворение. Но обо всем этом, пожалуй, короче сказать хорошими чужими словами.

26-го января 1917 года Роза Люксембург писала из тюрьмы своей приятельнице:

«Это полное растворение в пошлости дня для меня вообще непонятно и невыносимо. Погляди, например, как Гете, со спокойным превосходством, возвышался над вещами. Подумай только, что он должен был пережить: великую французскую революцию, которая с близкого расстояния должна была казаться кровавым и совершенно бесцельным фарсом, а затем с 1793 до 1815 года непрерывную цепь войн... Я не требую, чтобы ты писала стихи, как Гете, но его взгляд на жизнь — универсализм интересов, внутреннюю гармонию — всякий может себе усвоить или по крайней мере стремиться к ней. А если бы ты сказала: Гете ведь не был политическим борцом, — то я думаю: борец то как раз и должен стремиться стоять над вещами, иначе он увязнет носом во всякой дряни — разумеется, я имею в виду при этом борца большого стиля... (стр. 192—193).

Прекрасные слова! Я прочитал их впервые на днях, и они сразу сделали мне фигуру Розы Люксембург ближе и дороже, чем раньше.

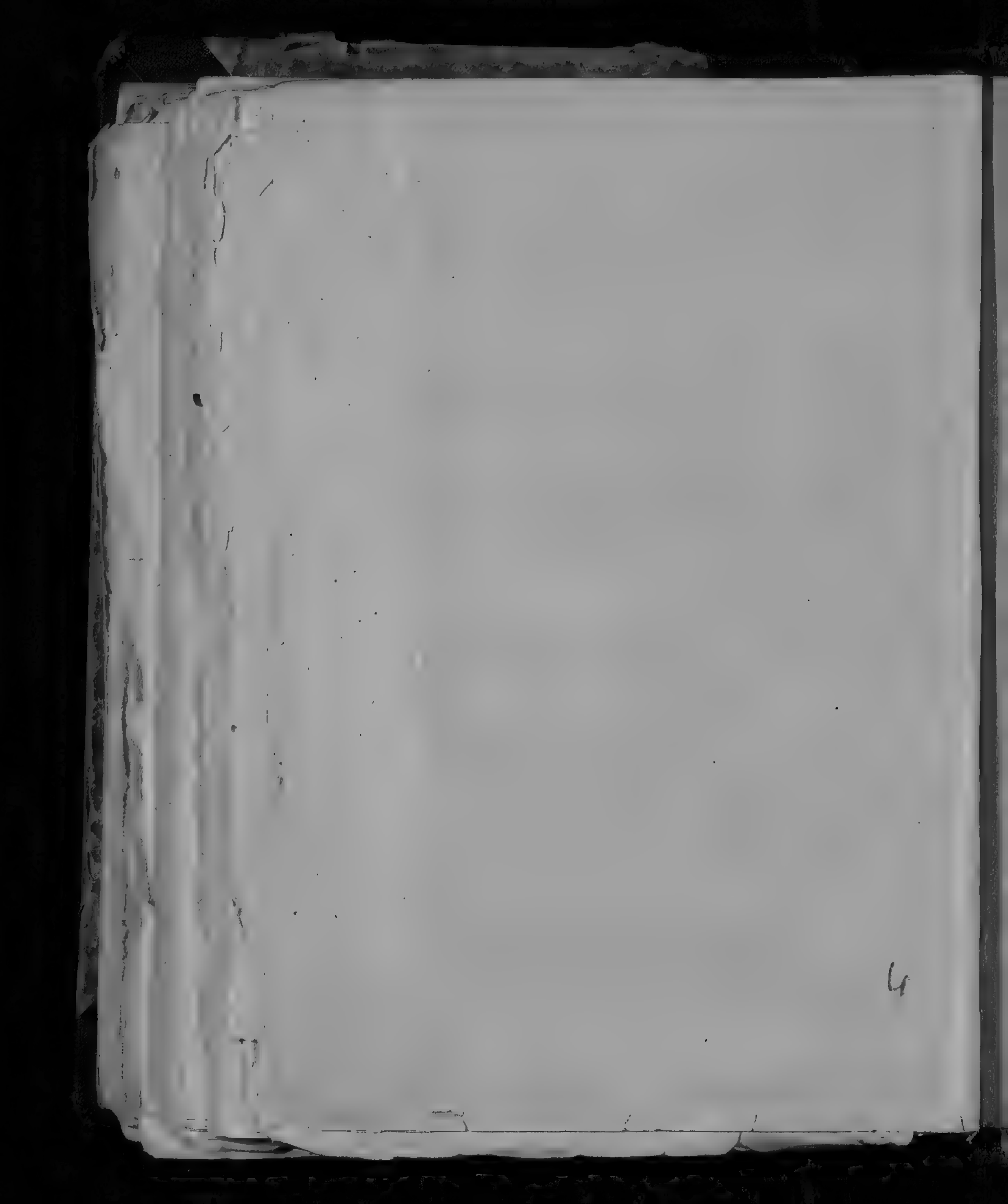
По взглядам своим, по характеру, по всему мироощущению, Прудон, этот Робинзон Крузо социализма, мне чужд. Но у Прудона была натура борца, было духовное бескорыстие, способность презирать официальное общественное мнение, и, наконец, в нем не потухал огонь разносторонней любознательности. Это давало ему возможность возвышаться над собственной жизнью с ее подъемами и спусками, как и над всей современной ему действительностью.

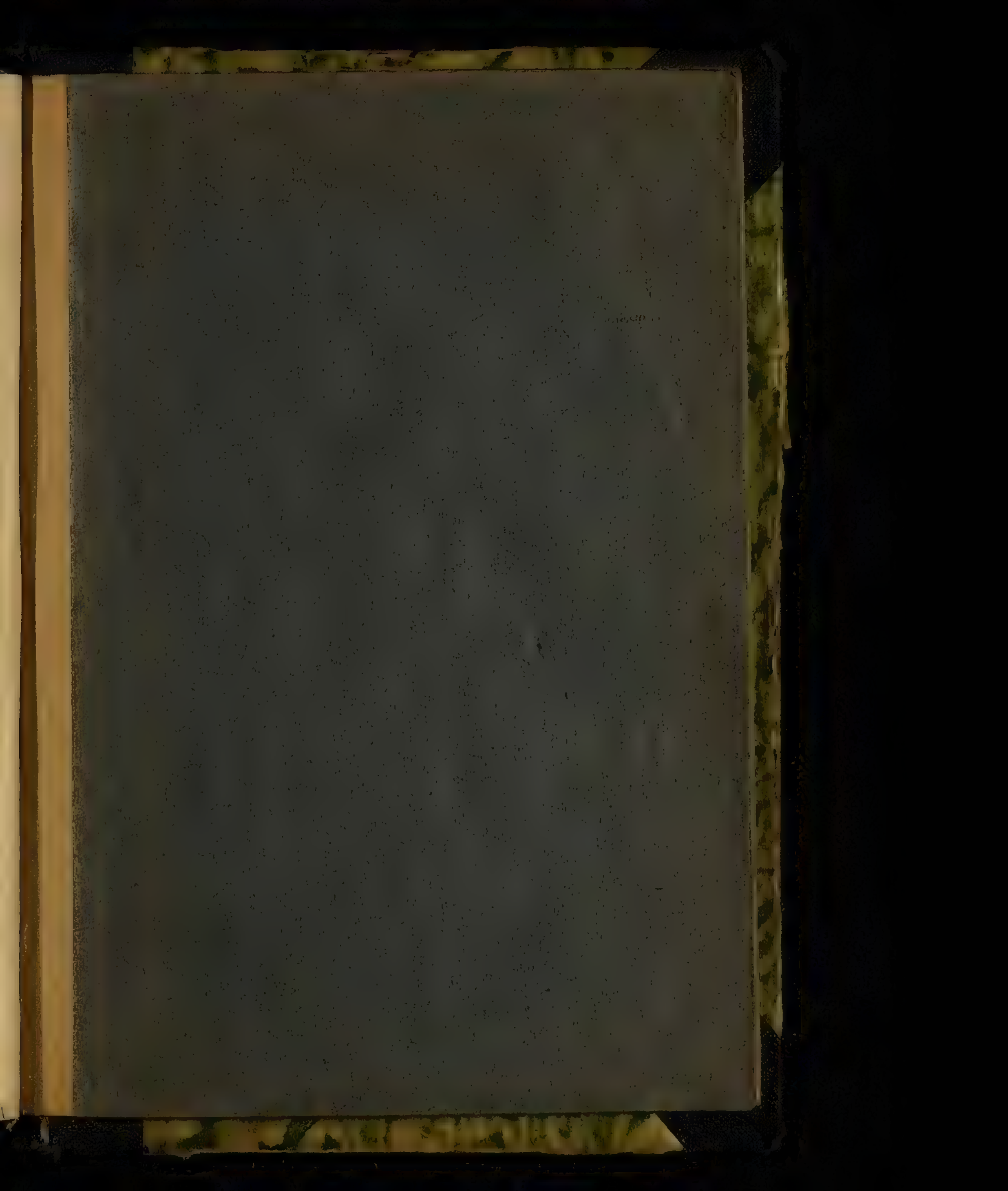
26-го апреля 1852 года Прудон писал из тюрьмы одному из своих друзей: «Движение не является без сомнения, правильным, ни прямым, но тенденция постоянна. То, что делается по очереди каждым пра-

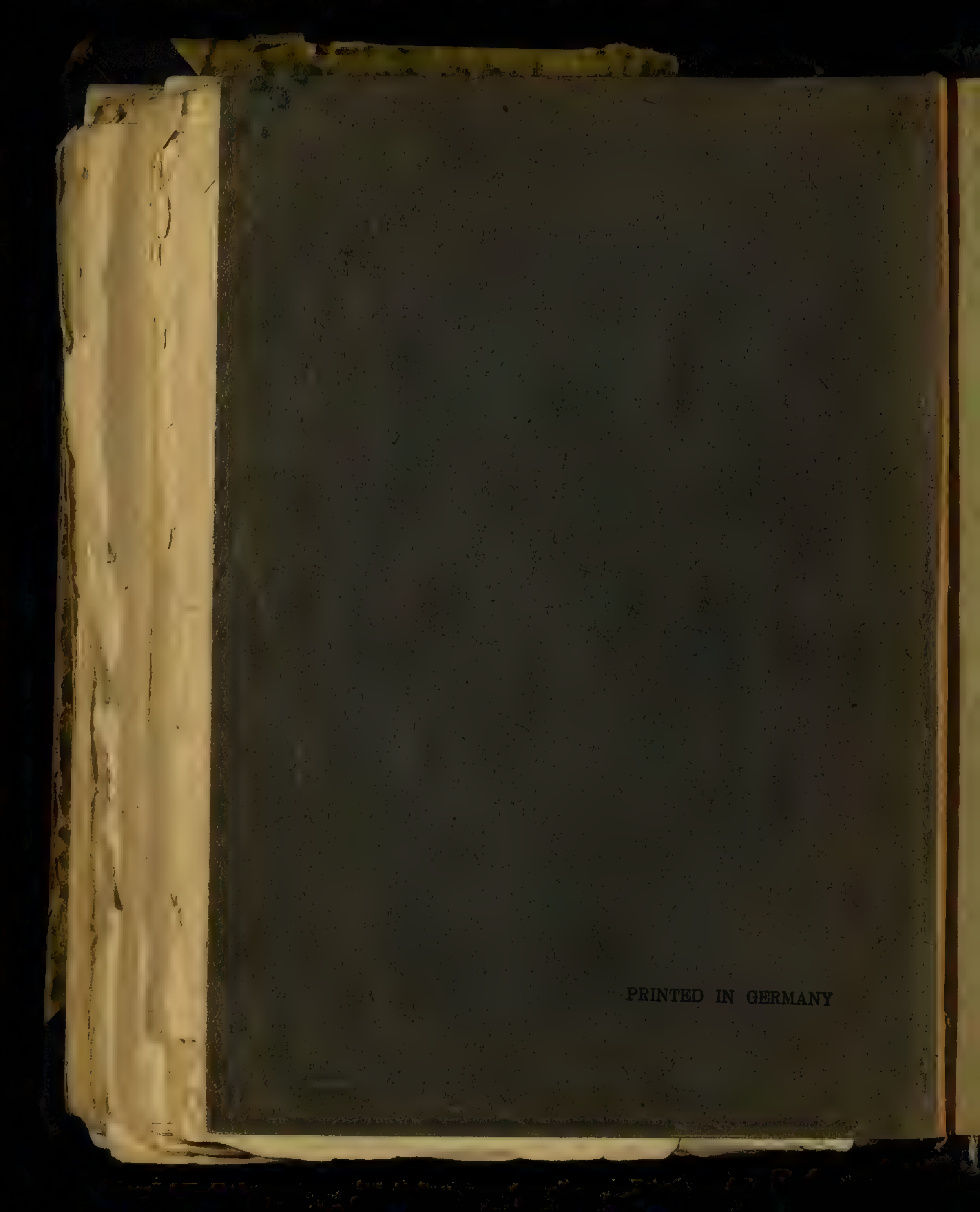
вительством в пользу революции, становится неотъемлемым; то, что пытаются делать против нее, проходит, как облако; я наслаждаюсь этим зрелищем, в котором я понимаю каждую картину; я присутствую при этих изменениях жизни мира, как если бы я получил свыше их объяснение; то, что подавляет других, все более и более возвышает меня, вдохновляет и укрепляет: как же вы хотите, чтоб я обвинял судьбу, плакался на людей и проклинал их? Судьба, — я смеюсь над ней; а что касается людей, то они слишком невежды, слишком закабалены, чтоб я мог чувствовать на них обиду». (Grasset, стр. 149).

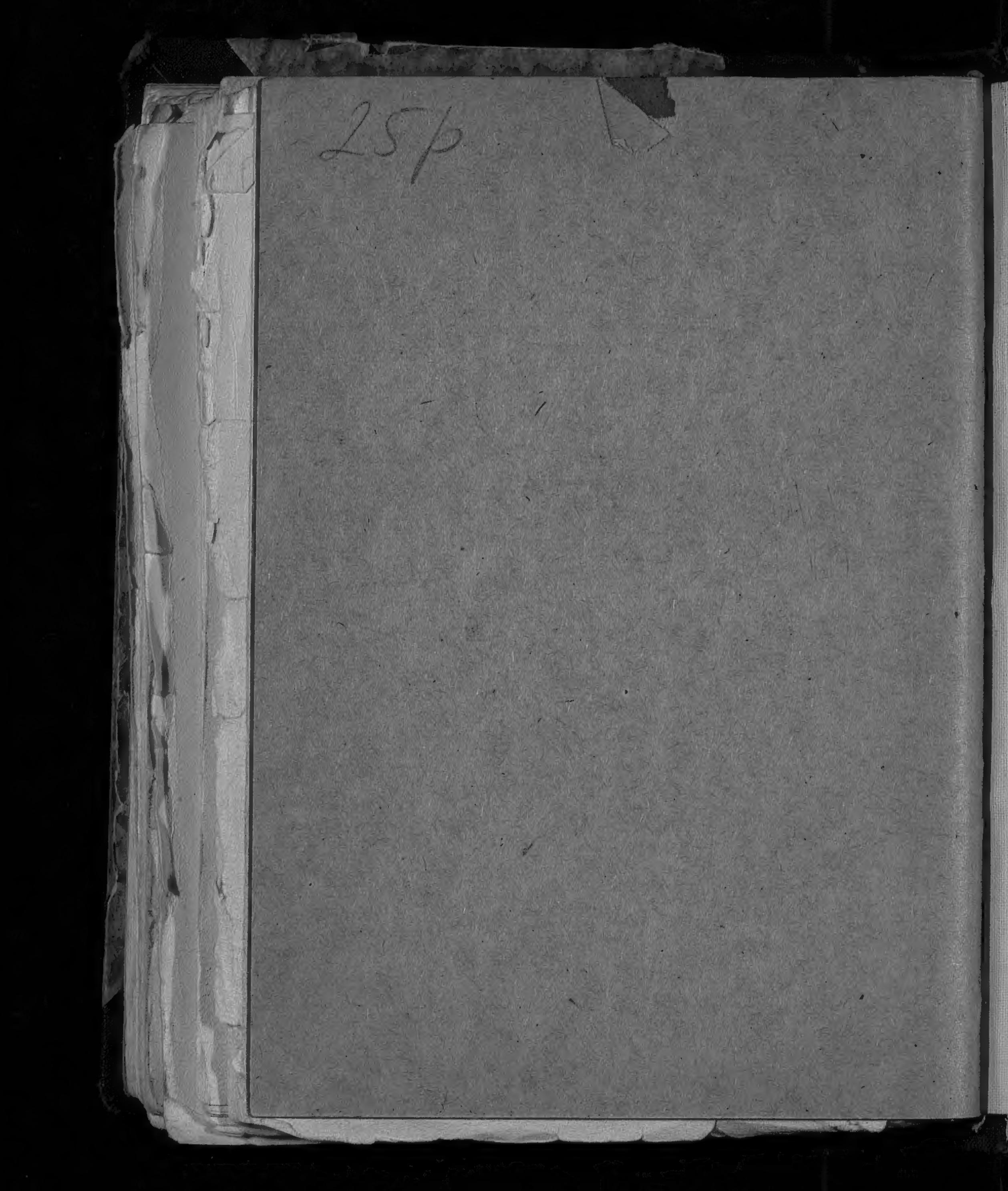
Несмотря на некоторый привкус церковной патетики, это очень хорошие слова. Я подписываюсь под ними.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА






PRINTED IN GERMANY


25p

